



НЕВА

1
2020

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Евгений МАТВЕЕВ**
Стихи • 3
- Алина МИТРОФАНОВА**
Возвращение. Поклонение онлайн. *Рассказы* • 6
- Павел ПУШКИН**
Стихи • 12
- Алексей ЛУКАВИН**
Приложения. *Рассказ* • 15
- Мария ЗАТОНСКАЯ**
Стихи • 22
- Алексей КОМАРОВ**
«Ливерпуль» забьет первым. Ясны далекие звезды.
Рассказы • 26
- Аман РАХМЕТОВ**
Стихи • 38
- Иван КАТКОВ**
Маньяк. *Повесть* • 42
- Роксана НАЙДЕНОВА**
Стихи • 74
- Александр ПЯТКОВ**
За торфяными болотами. Черт. Черемшанка.
Сенокосы. *Из пышминских рассказов* • 77
- Кирилл САФРОНОВ**
Стихи • 91
- Виталий АШИРОВ**
Освобожденное слово. *Рассказ* • 96
- Артем ТРЕТЬЯКОВ**
Стихи • 103
- Иван ВОЛОСЮК**
Стихи • 107
- ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ**
- Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ**
Бог не фраер. *Повесть* • 110
- ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА**
- Дмитрий ЛАГУТИН**
Обруч медный. *Повесть* • 131

12+

МОЛОДЫЕ. О МОЛОДЫХ

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ВИННИЧУК

Основной вопрос метафизики
и «ограничители реальности» • 170

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 100-летию Федора Абрамова

Олег ТРУШИН

«Премии — это бизнес...» • 177

К 230-летию Александра Грибоедова

Вячеслав ВЛАЩЕНКО

«Бог знает, в нем какая тайна скрыта...»
(Новая интерпретация образа Молчалина) • 200

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Анатолий Смирнов. Стивен Кинг. Мастерство жуткого. **Рецензии.** Владимир Спектор. Потрясающая книга о потрясших мир. Мария Бушуева. На тяжелых дорогах XX века. Игорь Шумейко. Отрясающая реалити. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой • 224

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Обители Афона. Часть 6 • 245

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Евгений МАТВЕЕВ

* * *

Мы думали, что были рождены
Для доблести, для подвигов, для славы,
А жизнь банальна: редко видим сны,
Сидим по офисам, меняем авы,
По клубам ходим и ругаем власть,
В которую не суждено попасть.
Трагично, что трагедии не будет.

Такое бы могли устроить мы,
Сверхчеловечишки, суперлюдишки,
Поработив незрелые умы,
Людей на площадь вывести, как фишки,
И до того, как наша смерть придет,
С трибуны к бунту призывать народ!
И лучше, что трагедии не будет.

* * *

Упустивший счастье, сбившийся со света,
Бегает по полю, как дурак, ей-богу!
Кажется все время, что еще немного,
И ухватит что-то — он разводит руки,
Шорохи услышит и бежит на звуки,
Все поймать пытаюсь прошлогодний ветер.

Пронеслось над миром несколько столетий,
А дурак считает, что вчера все было —
На губах остались отблески улыбок.
Словно вечно юный, вечно безрассудный,
Ловит ветер в поле, только чует смутно,
Что грядущий вечер для него последний.

* * *

Когда я шел по саду, где цветы
Сияли неестественным огнем
И каждый куст оградой обнесен,

Евгений Александрович Матвеев родился в 1982 году в Рыбинске. Публиковался в журналах «Пролог», «Переводчик», «Кит умер». Переводы публиковались в книгах Э. А. Робинсон «Дом на холме» (2015), Х. Берли «Ты слушал реки по ночам?» (2017). Автор книги «Крест никому» (2019). Участник Форума молодых писателей России, стипендиат Министерства культуры РФ. Руководитель Клуба поэтического перевода (г. Рыбинск).

Я слышал то ли стук, а то ли стон,
Но где? откуда звук? когда кругом
Лишь камни да избыток темноты.

Вокруг так много было темноты,
Как будто бы я под землей лежал,
Стучался в крышку гроба и стонал,
Пытаясь хоть какой-то дать сигнал,
Но, забываясь сном, воображал,
Что я брожу по саду, где цветы...

* * *

Братская могила нелюбимых
Зарастает в памяти травой,
К ней не ходят мысли-пилигримы
И не пьют вино за упокой.

В голове твоей гуляет ветер
И качает мыслящий камыш,
Неспособный каждому ответить,
Ты и сам в таких могилах спишь.

Глубоко, почти у изголовья,
Там, докуда не доходит свет,
Вечно спят пылавшие любовью,
Встретившие холодность в ответ.

В облаках сознания, бывает,
Промелькнет вечерняя звезда,
Но гораздо реже отражает
Звездный свет озерная вода.

ПЕРЕВОДЫ

Суровый Брюсов делал переводы,
В них страсть свою выплескивал Маршак,
Фривольность в них любил певец свободы,
Горбатился над ними Пастернак.

Они пленяют многих в наши годы:
Ирландец Хини не попал впросак,
Когда заставил древние народы
Вещать на современных языках.

Под сенью Альп, в Гриньяне отдаленном,
Швейцарец, чуждым слогом вдохновленный,
На переводы расточает пыл.

Их чествуют под нашим небосводом:
Поэт Кружков свои стихи забыл
Ради своих чудесных переводов.

КЛАДБИЩЕ В САРАЕВО

Над городом, который обступили
Заснеженные горы, есть вершина

Еще одна: наполовину — крепость,
Наполовину — вечная гора.
Меж городом и крепостью — могилы,
Как будто эту крепость штурмовали
Отряды храбрецов, и там, где смерть
Их находила, — там же хоронили.
Смотрю на даты — грозная осада
Три года длилась: в девяносто пятом
Иль крепость пала, иль героев больше
Поверх камней в том войске не осталось.
Ощерилась остывшая земля
Рядами белых стел, под ними спят
Рожденные при братстве и единстве,
Погибшие во злобе и вражде.

Три года город, запертый на цепь
Отчаянных солдат и злых орудий,
Оборонялся, целая страна
Три года защищалась, но все тщетно.
Двадцатый век, тот самый, настоящий,
Закончился, и люди убегают
Прочь, будто бы от Вавилонской башни,
Закрывшей небо мороком своим.
Не видно неба, брат идет на брата,
Стреляют люди, льется кровь за кровь,
Влюбленные, бежавшие отсюда,
В объятиях упали на мосту.
Да, Бошко обещал Адмире встречу
Однажды после бомб и разрушений,
И все сбылось — они в одной могиле,
Их родина в могиле по соседству.

С годами это кладбище поблекло,
Но хризантемы, розы и гвоздики
Живые — распускаются в садах,
Как будто не построен дом цветов.
От морока уже очнулся город,
И здания, побитые войной,
Регенерируют, и камни под ногами
Бескровны, словно руки у людей.
Ползет по небу солнце каждый день
И над долиной, как паук, плетет
Недобрый мир для раненых сердец,
Покорность для входящих и ушедших.
Забвение порой идет дождем,
Стучась по плитам и сочась под землю,
Где нет уже различий меж врагами,
Где в сводной армии скелеты спят.

Алина МИТРОФАНОВА

РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Долгие улицы бесконечного города. В них завязла, запуталась и окончательно заблудилась жизнь Марины. Как будто все вокруг не для нее, как будто она живет чьей-то совсем другою жизнью.

Вот идет она в свой чайный магазин по длинным улицам рано утром. Вот весь день кружится по магазину, улыбается покупателям, взвешивает чаи, вдыхает их ароматы. Вдыхает. Ароматы убаюкивают ее, пытаются завлечь в дальние страны, пробудить к жизни. Но нет такого аромата, ради которого захотелось бы ей пробудиться.

А вот и вечер, предпоследняя электричка. Одинокая съемная квартира — на нее-то и уходит большая часть зарплаты. Вернуться бы домой, в свой далекий маленький город. Но нет, ей кажется, все о ней там давно забыли. Даже родители. Даже друзья. Только соседи вспомнят на мгновение, если она все-таки приедет. Посмотрят ехидно в ее сторону, скажут, вон еще одна вернулась, не вышла замуж, не по зубам пришелся большой город.

Марина морщится, как только это представит. Ну уж нет — только не домой! Нет на свете ей дома. Только длинные бесконечные улицы бесконечного города.

И так ходит она в свободные дни, свободные, дождливые и серые. Лета не было уже несколько лет. Только маленький дождик, неловкий целовальщик ее худых щек.

А все целовальщики, кроме дождя, внушают ей легкое отвращение. Как будто бы давно надо и хочется целоваться, но душа от поцелуя не расцветает, не поет, а, наоборот, сжимается, скукоживается. А все, от кого пела хоть чуть-чуть, растворились в этих долгих улицах, заворожив, околдовав и исчезнув намного раньше всяких поцелуев. Нет ей в этом городе дорог ответной любви.

Все не то! Дождь стучит по крышам. Серая долгая Миллионная, Нева проглядывает между домами, маня и отталкивая своим девятнадцатым веком.

Путь Марины лежит в Эрмитаж. Когда она не думает ни о чем, ей хочется идти туда, точно она забыла там что-то. И вот одинокая Марина бродит по длинным-длинным залам. Смотрит на гордые портреты, смотрит на старый мир, на душный Неаполь. «Нет-нет, не мое» — говорит она сама себе, не думая ни о чем. Смотрит на страстные лица Эль Греко... «Нет, я не оттуда! Я не Мария Магдалина и не испанская сеньора». А длинные залы тянутся, переплетаются. А за окном Нева все так же говорит о девятнадцатом веке. Марина ходит, не думая, ей кажется, что и глаза можно закрыть, картины сами окликнут ее, позовут. Но время, уже, время... Надо идти домой на съемную квартиру, спать где-то в глубоко спальном районе.

Алина Валерьевна Митрофанова родилась в 1992 году в Тихвине. Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры. По образованию библиотекарь. Состоит в Санкт-Петербургском союзе литераторов. Публиковалась в журналах «Невский альманах», «Нева», «Балтика», «Окно». Автор книги стихов «Непокой». Живет в Санкт-Петербурге.

Ах, если бы хоть раз кто-то встречал ее в квартире. Свет был бы зажжен, а на столе накрыто. Тогда бы можно было почувствовать себя здесь дома!.. Но нет, только тишина, тишина. Одно время в квартире с ней жила кошка, но и та сбежала, когда Марина выпустила ее погулять. И след простыл. Лучше скитаться по подвалам, чем жить в этой тихой, одинокой квартире. Или нет, не скитаться, а просто найти свой дом, вернуться домой.

И снова тянутся длинные длинные прямые улицы. Длинные, как жизнь, прямые, как чужая судьба. Кто она? — иногда сквозь полудрему думает Марина. Откуда? И ноги снова ведут ее в Эрмитаж. И снова она бродит среди картин и все ищет, ищет то, чего сама не знает.

Серый дождь целует ее лицо, нежно касается бледных губ. И ей тоже хочется целоваться. Но как ответить дождю, воздуху, миру? Быть может, нужно просто найти правильные губы?

— Мужчина, какой чай вы предпочитаете? «Улун», «Эрл Грей»? Я бы посоветовала их. Молочный «Улун» — подойдите, понюхайте, — Марина подносит открытую баночку с чаем к своему носу и манит к себе покупателя. Мужчина подходит, склоняется над баночкой, Марина стремительно целует его. Изумленный, он не знает, что сказать.

А Марина:

— Нет, это не вы, простите.

Губы ищут другие губы, но все встречные губы не те. Поцелуй в жизни и поцелуй на экране — разные поцелуи. Может, она просто пересмотрела слишком много фильмов?

— Девушка, да что вы себе позволяете! Я женат и приключений не ищущу!

— Извините, вы были одеты слишком элегантно. Просто подумала, может, это вас я ищущую всю жизнь.

— Вы сумасшедшая, девушка!

* * *

— Ты милая, Марина, но странная. Тебе не надо ничего от отношений, кроме поцелуев? Да? — пытается уяснить красивый хипстероватый парень.

— Нет, мне теперь и поцелуев не надо. Твоих.

* * *

— Марина, вы уволены, слишком много жалоб от покупателей.

Марина молчит, хотя отчего-то ей смешно.

— Ну, вы хоть скажете что-нибудь? Вы хорошо разбираетесь в чаях, но целовать всех встречных мужчин на рабочем месте?!

Марина снова улыбается чему-то. Это все ей снится. Нет ни работ, ни зарплат, только серые улицы заплетаются большими узлами площадей, только голуби летают над ними, высматривая случайные хлебные крошки. И серое, серое небо. И лета нет уже несколько лет.

* * *

Денег становится меньше день ото дня. На этот месяц еще оплачена тихая квартира в спальном районе. А потом?

Отчего в этом ненастоящем мире есть аппетит? Есть холод, стужа среди вечной поздней осени? Листья снова опали, голые брейгелевские ветки тихо тоскуют на сером небесном фоне о своем несбывшемся.

— Девушка, отчего вы тут стоите?
— Нет, я не проститутка и не попрошайка.
— Зачем же вы тогда лезете целоваться?
— Зачем вы сказали «лезете» — это пошлое слово. Нет, вы не тот. Простите, я больше не буду вас целовать.

Поиск новой работы затягивается. Что-то она упустила. Поэтому все и идет не так. Нужно совсем немного. Но что?

И снова, снова тянутся долгие залы Эрмитажа. За окнами бьется в осенней истерике Нева. Нева, это древнее чудовище, стянутое смиренной рубашкой из гранита. Нет, ей не Неву. Ей...

Она оглядывается по сторонам. И видит, вон он — ее мужчина с умными карими глазами. На темном фоне в гофрированном воротнике. Написано: «Неизвестный художник. Портрет молодого человека». Но погодите, погодите... Она закрывает глаза. Осталось сделать совсем немного.

Она подходит все ближе, ближе. Дотрагивается до полотна руками.

Издали уже бежит музейная бабушка:

— Девушка, девушка, что вы делаете? Вы заплатите штраф. Это же вандализм.

Но Марина уже не слышит ее. Она хватает из угла стул. Забирается на него. И прежде чем бабушка выбьет стул из-под ее ног, она целует мужчину. И проваливается в картину.

Бабушка в ужасе замирает, только была перед ней Марина, и вдруг ее нет. Зато на картине рядом с мужчиной теперь находится благородная дама в строгом платье с гофрированным воротником.

ПОКЛОНЕНИЕ ОНЛАЙН

День был приторный какой-то. Солнце не просто припекало, а оглушало. Но Власа с толку не сбить даже солнцу. У каждого человека талант есть. И он его ведет. Вот и Власа он вел в пустынном дворе, образованном хрущевками, спортивной площадкой и зарослями шиповника.

Шиповник отцвел. Шиповник ему не в помощь. На дворе глупый месяц июль.

Навстречу идет широкая старушенция, идет, ковыляет, хмуро глядит на него. Нет, она не подходит. Нужно отойти в сторону. Подождать. Кто ждет, тот обязательно дождется.

Старушенция прошла. Завернула во двор спешащая женщина в цветастом костюме.

— Женщина, женщина, извините... — начал он, вставая у нее на пути.

— Я вас извиняю, — отмахнулась женщина и продолжила спешить.

Затем во двор вошли два подвыпивших философа, они ему точно не подходили. Влас напрягал все внутренние силы, чтоб их выпроводить из двора. Минут через пять, допив из бутылки, они наконец кончили разговор и двинулись каждый по своим делам.

Власу уже стало надоедать сидеть. Никогда нельзя начинать разговор с «извините», как будто ты виноват. Ты, между прочим, в беду попал. Не поверят твоему тону. Тон настраивать надо. И «женщина» — тоже звучит грубовато. Нужна девушка.

И вот, на его счастье, во двор вошла та самая девушка. «Та самая», потому что, по представлениям Власа, она подходила идеально для его таланта. Миловидная, хрупкая, с длинными, чуть вьющимися волосами, в легком летнем сарафане. И никуда она не спешила, думала о чем-то своем.

— Девушка, добрый день! — вынырнул он ей навстречу. И, не давая ничего сказать в ответ, начал песню:

— Девушка, я попал в трудную ситуацию, мне нужна помощь.

«Только не убегай, не убегай!» — параллельно гипнотизировал ее он внутренним диалогом.

Девушка остановилась.

— Что у вас случилось? — спросила она вежливо.

— Спасибо, что не прошли мимо. А то все проходят, отмахиваются. Такие равнодушные люди.

Она вопросительно взглянула на него, как бы говоря: «Продолжайте».

— Девушка, я из другого города. Здесь был по работе, на один день. Днем жена позвонила, сказала, что родила на два дня раньше, чем ожидалось. Ну, я на радостях и подвыпил с товарищем. Переборщил чуток, заснул на скамейке. Просыпаюсь — ни товарища, ни денег, ничего. Можете мне хоть немного денег одолжить на билет домой? Я вам переведу.

Девушка посмотрела на него с легким сомнением:

— И сколько же вам нужно денег одолжить?

— Ну, рублей пятьсот. Вы меня очень выручите.

— А заработать их не пробовали? Вагоны поразгружать, тут вокзал рядом. Или листовки пораздавать?

«Не все так легко», — пронеслось в голове у Власа. Надо продолжать наступление.

— Не все так легко, девушка. Кстати, как вас зовут?

— Регина.

— Не все так легко, Регина. Жена беспокоится. Тут меня и обманут скорее, я же не местный. Выручите меня? Я вам здоровьем мамы своей клянусь, все вам верну. Только скажите, куда прислать, перевести.

Девушка вздохнула.

Влас нервно разминал себе пальцы. Оглядывался по сторонам, благо двор оставался все таким же пустынным.

— Значит, вам деньги нужны, — медленно и как-то неожиданно уверенно заговорила девушка. — Я могу, конечно, предложить вам позвонить жене, но вы наверняка и номера телефона ее не помните.

— Отчего же, помню, но я уже просил несколько раз позвонить, не дозвонился. Может, случилось что... — Влас изобразил испуг. Ему уже и в самом деле начало казаться, что где-то ждет его жена с новорожденным сыном. Этакая слегка располневшая блондинка с кудрями. Лежит она на большой кровати, прижимает сына к себе и плачет, плачет. В комнате не убрано, душно. На стене висит ветхий ковер. Никак нельзя такой женщине оставаться без мужчины.

— Хорошо, — вдруг прервала девушка поток его мыслей. — Я дам вам деньги.

— Спасибо! — тут же машинально выпалил Влас.

— Но вам их придется-таки заработать.

— Каким образом?

— Вы же в беде. Вы на все согласны? — она как-то озорно улыбнулась.

— Смотря на что... — помедлил Влас.

— Не беспокойтесь, изменять жене я вас не попрошу, — рассмеялась девушка.

— Так что я должен сделать?

— Ничего особенно сложного. Поклонитесь мне три раза.

— Поклониться? Вы что? — Влас стал настораживать такой поворот событий. — Человек в беду попал, а вы его кланяться себе заставляете?

— Это что, так сложно? Да, за пятьсот рублей, может, и сложно. Но, — она порылась в своей маленькой аккуратненькой сумочке и достала банкноту размером в пять

тысяч рублей, — а вот так вполне себе. Сможете даже улететь к себе домой. Вы же недалеко живете.

— Нет, село Жеребьевка, двести пятьдесят километров на северо-восток. Аэропорта, правда, нет.

— Ну, на такси доедете, как раз хватит. С комфортом. Только поклонитесь мне трижды.

— Регина, — он еле вспомнил, как зовут девушку, — у вас все в порядке? Такое просите...

Девушка усмехнулась:

— Какое вам дело? У вас проблемы, а я могу вам помочь.

Влас воровато озирался по сторонам. Пять тысяч ему, конечно, не помешали бы. Вокруг никого не было, может, просто вырвать у девушки кошелек и убежать?

Девушка будто поймала его мысль и убрала кошелек в сумочку.

— Значит, вы не хотите? Что ж, ничем вам помочь не могу.

Она развернулась и сделала пару шагов.

Влас бросился ее догонять.

— Девушка... Регина, вы только так мне помочь готовы?

— Да, — отрезала она.

— Что ж, я готов.

Лицо ее расплылось в блаженной улыбке.

— Чудесно!

Тут шагах в пятидесяти из-за угла показался один из пьяных философов.

— Погодите, люди...

— Да что ж вы так смущаетесь! Люди, подумай! Я сейчас еще и онлайн-трансляцию в контакте заделаю!

— Вы что?

«Нет легких денег!» — подумалось Власу с грустью. Но где-то в его воображении уже плотно засела жена с младенцем, дожидавшаяся его возвращения. Вот она встает с кровати, кладет сына в люльку, идет кипятить чай. Напечет блинов к его приезду, он будет вкушать их. А после входить в ее обильное тело, откроет окно в душевной комнате, и хорошо там будет...

— Пять тысяч с онлайн-трансляцией... всего?

Девушка посмотрела на него совсем зло, достала из кошелька еще пять тысяч.

— Больше у меня нет, — и как-то грустно, даже наивно добавила: — Вся повышенная стипендия...

— Так-то лучше, — буркнул Влас, забыв про свою роль. — И после двух поклонов, пожалуйста, первую купюру мне. Вторую после третьего? О'кей? А то вдруг вы меня надуть решили, пользуетесь моим несчастным положением.

— Хорошо, хорошо, начинаем.

Девушка достала айфон и навела камеру на себя. Потом на Власа и начала:

— Дорогие друзья, привет-привет! Всех люблю! Сейчас будет забавное представление. Этот человек говорит, он попал в беду. Ему нужны деньги на поезд домой. Его обокрали. Я отдам ему в двадцать раз большую сумму только за то, что он сейчас в онлайн трижды поклонится мне... — она чуть помедлила, видимо, отвечая на комментарий. — Да-да, прямо как искушение Христа сатаной. Я сегодня в роли сатаны! — она хихикнула.

«Тоже мне отличница, хорошистка, дьяволица, сатаница», — зло подумал Влас.

— Прошу, — девушка торжественно выпрямилась, вытянула руку с телефоном.

«Даже на меня не смотрит, все в гаджет свой богомерзкий!»

Влас громко вздохнул. Как будто ему не кланяться приходилось, а в деревенский унитаз прыгать.

И моментально склонился. Перед глазами был асфальт, так близко он его не видел лет с пятнадцати, когда подрался с мальчишками и был порядком избит. Маленький муравьишка полз по своим делам. Вдали за ногой девушки плелась улитка. У девушки были удивительно белые ступни, вены просвечивали сквозь кожу.

— Хорошо. Один раз есть.

Влас поднялся.

Огляделся все так же опасно вокруг.

Пьяный философ издали смотрел на него прифигившим взглядом. Откуда ни возьмись стал появляться народ.

— Итак, друзья, первый поклон есть! Еще два, и наш друг сможет спокойно вернуться домой даже на такси. И еще ему и на украшенице для своей супруги хватит. Да-да, ставка возросла до десяти тысяч... Вот на что Регина тратит свою стипендию.

Влас снова глубоко вдохнул. И быстро упал на колени головой в асфальт второй раз. Ее ноги весело переминались, далеко сверху доносился ее голосок:

— Второй раз! Йо-хо-хо!

И тут же ему на голову полетела первая пяти тысячная купюра.

Он быстро схватил ее. Поднялся. Просветил на солнце, проверяя на подлинность. Засунул в карман.

— Смотрите, наш друг нам не очень верит. Проверяет. Все верно, приятель. Я честная девушка.

«Да, все верно! Рвануть уже домой к жене. Нет, еще пять тысяч, и можно неделю вообще не думать о деньгах... — и как бы оправдываясь перед самим собой: — В копилку на семейный отпуск. Жена будет рада. Все ради семьи».

Тут один из пьяных философов выскочил:

— Эй, что ты делаешь? Ты же ей кланяешься.

Влас передернуло. Он вдруг прильнул к девушке, пытаясь ее поцеловать.

— Прощать не хочет, кланяйся, говорит, — импровизировал он.

— Все равно не дело, — заметил философ.

— Вранье! — беспощадно перебила Регина. — Ему нужны деньги. Я дам их. Только пусть трижды поклонится мне.

— Да это же душу продавать — называлось в старые времена...

— Сейчас у нас времена другие. Какая разница, кому поклониться, если тебе сразу денег дадут. Удобнее, чем своему начальнику. Быстро и результативно.

— Девушка, — вдруг выскочил второй философ. — А это у вас единичная акция? Я бы тоже присоединился.

— И вы душу хотите за десять тысяч продать? — рассмеялась она.

— Я и за пять готов. Даже за тысячу. Да что там?! И за двести рублей... Мне бы опохмелиться. Не выпью — умру, тоже ведь трудная ситуация? — он театрально закатил глаза.

— Вы опоздали, простите. Больше денег у меня нет. Итак, продолжим, — сказала она уже в камеру. — Наш друг продолжает на дорогу домой зарабатывать. Последний третий раз!

Асфальт был горячим-горячим, почти обжигал ладони. Улитка давно уже уползла, муравьишка исчез и подавно. Белые ступни пританцовывали. В ушах шумело. Сигналила машина, которой их действие не давало припарковаться.

Влас медленно поднялся, как будто ничего не слыша вокруг.

Вот девушка протянула ему вторую купюру. Она что-то еще говорила своим подписчикам, подмигивала, смеялась. Влас не слышал. Засунув вторую купюру в карман, он бросился бежать. С добычей. На электричку. В село Жеребьевка. К жене.

Павел ПУШКИН

**МЫ ИДЕМ В ТИШИНЕ
(по мотивам творчества
Вадима Кузьмина)**

Весна убита
И не воскреснет.
Давно забыты
Все наши песни.

Спектакль кончен,
Но мы идем.
Не бойся ночи,
Сражаясь с днем.

Не бойся выжить,
Когда ты сдох.
Я ненавижу,
Что умер Бог.

Мужайтесь слышать,
Учитесь плавать.
Взрывайте крышу,
Грядет облава.

ТРИУМФАЛЬНАЯ ДЫРКА

Месяц в меня подозрительно зыркал,
Я отвечал веселое «Never».
Это твоя триумфальная дырка,
Это моя ориентация — Север.

Улица будто зеленая миля,
Ты — насекомое в чьей-то коллекции.
Ты подарить хотел ей фамилию,
Но подарил половую инфекцию.

Ведь прорывая тюрьму человечности,
Было забавно встречать и притягивать
Души с калечеными конечностями,
Им интересно с тобой разговаривать.

Павел Александрович Пушкин родился в 1994 году в городе Тобольске Тюменской области. Окончил Институт государства и права Тюменского университета. Произведения ранее в печати не публиковались. Живет в городе Тюмени, работает юристом в области банкротства.

Пьяные рожи ржали и фыркали,
Проданный разум стремился в безумство.
Это твоя триумфальная дырка,
Это моя судьба и искусство.

УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ

Улица Республики, ходим, будто жулики,
Ходим неприкаянные и благополучные,
Никому не нужные, с лицами натужными,
Словно обреченные пропадать беззвучно.

Потеряю веру, правда, слишком поздно
В то, что в этой жизни можно быть любимым.
Только непонятно, кто же нас так создал,
Что кому-то нужными быть необходимо.

И в глазах у публики улицы Республики
Разыскать пытаюсь позабытый свет.
Вижу лишь молчание и хочу в отчаянии
Каждому прохожему прокричать в ответ:

Ты чего-то стоишь! Ты чего-то значишь!
Ты зачем-то создан! Ты кому-то нужен!
Все равно я верю, не могу иначе,
Что кусочек счастья нами был заслужен.

Впереди непросто, в настоящем пусто,
Вероятность счастья очень небольшая.
И идешь по жизни, жалкий Заратустра,
А ночная улица яростно внушает:

Ты пустое место и дыра от бублика,
А любовь всей жизни — просто дело случая.
На бетонной плахе улицы Республики
Смерть сквозит безжалостно сквозь благополучие.

ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВГЕНИЮ ГОЛОВИНУ

А что поел, что радио слушал.
Музыка волн —
Не лучше чем русский шансон.
Ветер заложит мне уши, как будто беруши.
Я утопил месяц март.
Солнце висит, как будто военный штандарт.

Я из Тюмени, здесь не болеют за «Шинник»,
А у соседей пес — ночной матерщинник.
Пытались дрессировать — оттяпал руку по локоть.
Хочешь большой любви, а выходит жалкая похоть.

Месяц на небе как будто опасный карниз:
Как ни держись, но можно грохнуть вниз.
Восемь секунд, и хрясь!
Зачем ты со мной развелась...

НОЯБРЬСКИЙ ДЖАЗ

Как в коматозе, стоять на морозе
И, принимая трагичную позу,
Думать о том, как могло получиться,
Что от судьбы невозможно лечиться.

Даже всего лишь ехать в автобусе
Или пропить планету, как глобус.
В субботу я дрался с приятелем шваброй
За то, что не смотрит в лицо судьбе храбро.

Случаи мимо летают, как пули,
Что же вы лица так хмуро надули?
Жизнь — девка мрачная, дура заразная,
Но и в чистилище есть место празднику:

За то, что он редко от святости светится,
За то, что земля так медленно вертится,
За то, что не видит надежды вдали
И что облака — это не корабли.

* * *

Надейся на светлую радость,
Пока не окажешься в морге.
Много ли нам осталось
Поводов для восторга?

Сказка не стала былью,
Надежды не так уж и жалко.
Мечты, поросшие пылью,
Выброшены на свалку.

А как же наивное детство?
Забыто как наглая ложь.
И больше некуда деться,
Хотя и порой невтерпеж.

Порой очень весело ночью,
Но утром бывает стыдно.
А жизнь с каждым годом короче,
Но горизонта не видно.

Проснешься в какой-то квартире,
Не помнишь, как там оказался.
Но день, открывавшийся миру,
Тебе что-то не улыбался.

Один из подъезда спустился,
Глядя на мир злобным ящером,
Ребенок, что заблудился
В поисках настоящего.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рассказ

Опя-я-ять пиликает...

И запах лилий этот прилипчивый, зачем он только их взял по акции! Хотелось пройтись с цветами по улице, словно бы есть кому их дарить.

Пиликает...

У него за эту неделю случилось уже пять отбоев, и этот заказ нужно принять. А спать-то как хочется... Вчера только прикинул, что вызовы дают отключки ему в среднем не более пяти часов кряду.

Пиликает...

Да что же, нет никого больше в районе по этой специальности?!

— Василий, заказ на Таврической улице, двадцать пять автоматически был назначен вам. Согласно SLA, срок реакции три минуты, — раздался механический женский голос.

— Алиса, я принял. Набери клиента.

— Набираю Веру Ивановну, заявка второго уровня по направлению сантехники.

— Алло.

— Здравствуйте, — ответила женщина, судя по голосу, лет семидесяти.

— Сантехник Василий. Вера Ивановна, расскажите, пожалуйста, что случилось, чтобы я мог взять нужный инструмент.

— Да вы знаете, молодой человек, что-то течет опять из-под раковины. Приходил уже из Кликсервиса парень, две минуты поковырялся и убежал. Починил вроде. Я ему пять звезд даже поставила, и вот снова течет. Был-то он только вчера.

— Ясно. А не сказал он, что там было?

— Сказал, что подтянул что-то, а что, я уж не знаю. Течет-то только, если я воду включаю, так не течет.

— Ясно. Вера Ивановна, я буду минут через двадцать.

На часах уже полночь, в онлайн-транспорте автобусов нужного направления не видать. Проверил каршеринг — на большом перекрестке свободный «пегас». Нажал кнопку бронирования, ввел личный номер («пегас» — это партнеры, и будет скидка), взял свою базовую сумку с инструментами и вышел за дверь.

Квартира Веры Ивановны была в старом здании с огромной трещиной, с нашлепками маячков по всей ее длине. Дом — махина из той эпохи, что мама называла «при царе». Лифт здесь предусмотрели, поэтому подъем на пятый этаж мучений ослабшего организма не вызвал. Хозяйка открыла в старом халате поверх какой-то другой одежды, повела по длинному коридору и через холл с паркетом елочкой, который Василий видел когда-то в детстве, в расположенную за углом ванную комнату.

Вода, как только ее включили, с готовностью потекла прямо на пол из-под раковины. Сантехник вытянул в середину фаянсовую ногу, формы, которой почти уже и не встретишь, пошевелил, покопался в суставах водопровода, попросил ведро и ловко заменил прокладку конусом. Задвинул, прискрипнув, обратно белую ногу.

— Готово, прокладка у вас совсем истлела, я поменял.

— Спасибо, — сказала хозяйка с недоверием, — а это надолго? Ванну-то еще при царе Горохе делали, может, опять полетит?

— Почти уверен, что еще лет на десять, — сказал он с улыбкой на это вот «при царе».

Они потрепались еще несколько минут, и, попрощавшись корпоративным девизом, на том же «пегасе» он подъехал домой. Счетчик суток в рабочем приложении перешелкнулся, когда он завершал аренду авто, и Василий с облегчением нажал на кнопку «Выход с линии». Засыпая, он не мог понять, откуда взялась легкая тревожная несбалансированность.

«Тревожно-хорошая или тревожно-плохая?.. Ух, пора спать».

* * *

Очнувшись на следующее утро, он взял телефон, палец при этом впился в дактилодатчик. Схватил картину мира, пробежав по заголовкам из топа новостей, глянул, что там у «друзей» в ленте, проверил, что пишут в любимых чатах: в очередной раз переносилась встреча выпускников в его уральской школе, а смешные картинки перемежались новостями о сотнях убитых.

Календарь напомнил о дне рождения двоюродного брата, Василий нашел подходящее видео и отправил вместе с поздравлением. И сейчас же сообразил, что теперь воскресенье — такой выходной — штука, давно позабытая.

Уже сидя за чашечкой растворимого кофе и электронной сигаретой почти без дыма, он прикинул баланс минувшей недели: выходило плюс три да еще плюс четыре за квартал на пяти звездах, что ему позволяло излишества. Сегодня изящным излишеством стал запуск приложения Дейтинг, где Василий с удовольствием создал свидание с некой Марией, за профилем которой послеживал уже с месяц.

Двоюродный брат ответил «спасибо», и Василий оставил его в зоне нотификаций непрочитанным сообщением. Через это он зато вспомнил маму. Она пришла к нему теперь в виде образа, захваченного пять лет назад на кухне старенького домишки. Все воспоминания о маме у него хранились по уголкам как набор открыток (по одной за каждые несколько лет): вот она провожает его на одичавшей железнодорожной станции; вот следующая, где оперлась на лопату на раскученной по-осеннему грядке; а вот на могиле отца; и еще одна, где она машет ему из окна автобуса, отходящего от упомянутой станции. Тощая стопка открыток.

Молниеносный пролет до Урала и обратно в Питер — умозрительное путешествие, от которого потеплело на пару градусов. И нежность, и жалось, и споткнувшееся на мгновение сердце. Мама в теплой валяной обуви, с шалью, в жакете и заботах уездного препода.

И вот уже открыт на экране агрегатор билетов, и среди всех возможных способов передвижения ищется оптимальный. Ищется, но нет вариантов на этот месяц, кроме дорогого бизнес-класса. Зато р-р-раз, и пришел купон на то, чтобы споловинить по стоимости путешествие на популярный морской курорт, где все из ленты давно побывали. Да, дороже, чем бизнес-класс к маме, но счетчик на страничке уже на излете, девяносто минут — и конец предложения. Чего тут взвешивать, на Урал он еще успеет. Пять кликов, код из текстового сообщения, и все — через месяц он наслаждается пляжной жизнью! Да! Выходные начались неплохо. Даже забыл позвонить маме.

* * *

Еще добывая завтрак, он схватил «пегаса» поблизости и кинул на страницу статус: «Еду на вейк в Озерки. Кто со мной?» Новая забава — мчаться по пруду на утлой дощечке, держась за веревку и прыгая вошью. Двое откликнулись. Одного из них Василий знал.

До Озерков — сорок минут, электронный навигатор сказал, что по этой стороне канала стоит уже вскоре пробка, поэтому с небольшим нарушением Василий переметнулся на другую. Глядя оттуда сквозь ажурную ограду, увидел, что затора нет, опять приключение его обмануло. Что-то зачатило. Додумать не успел, все та же карта намекнула на заправку, расположенную дальше по течению, там сегодня акция на кофе. Кофе после завтрака не был уж так необходим, но заканчивалась курительная ампула, да и машина просила бензина. Хорошо, что поехал здесь — получилось удобно. Заправился, купил жидкий табак. Купил кофе. По акции.

Катание вышло отменное. Было весело. Позже страницы у него и обоих знакомцев расцвели короткими видео и снимками острых моментов на вейке со смешными ярлычками под ними; снимками с последующей посиделки в новой кофейне, ударявшей по уличной еде; снимками просто так, с сериями мелких картинок, призванных заменить слова. Договорились повторить как-нибудь.

Таксист по пути домой пересказывал дрянные забавы из шоу «Отцы и дети», где дети учились строить родителям каверзы. Василий слушал сквозь дрему, пока не получил сообщение с часом прибытия курьера из сервиса доставки еды. Коммутация в голове после этого события прошла как-то необычно, и он опять вспомнил маму. Запустил агрегатор билетов в родном направлении — не было даже бизнес-класса. До прихода курьера было еще время, и он попросил таксиста завернуть к аэрокассам.

В прошлый визит несколько лет назад здесь сидели рядом застекленные девушки и с удовольствием совали в окошки билеты. А сейчас помещение осиротело, не потеряв, правда, при этом функционала. Даже прибавило — теперь можно выбрать любой способ передвижения, а в шеренгу стоят на широких ногах красавцы автоматы, говорящие на разные голоса. По залу же слоняется одинокая погонщица их, помогая новичкам делать запросы.

Василий дождался, когда освободится один из электроклерков, авторизовался и умело забил даты и названия населенных пунктов. После чего убедился, что распорядительство билетами ведется централизованно: и здесь, и в приложении на телефоне результат — один и тот же. Попробовал с пересадками, попробовал даже с того морского курорта. Как-то странно все это. Размышления были прерваны вибрацией телефона. Звонила Мария, которая приняла свидание и просила с этим ускориться, потому что ей завтра выходить на линию в своем call-центре. Договорились встретиться у него прямо сейчас.

К дому подошли трое: Василий, парень из доставки и незнакомая девушка, одетая словно незаурядная личность. Курьер передал пакеты с отмеренной на неделю провизией и попрощался одним из фирменных слоганов. А Василий остался стоять удивленный, глядя, как тонкие (даже в перчатках) пальцы набирают на домофоне номер его квартиры. Он свидания кое с кем ждал, конечно, но тот образ из профиля отличался от тыкающей по кнопкам действительности.

— Вы Мария из дейтинга? Это вы мне звонили?

— Да... А вы что — Василий?

— Да.

— Какая-то ошибка, мой Василий должен быть рыжим.

— Хм. Да уж... И вы не моя Мария.

На пару минут оба уткнулись в свои приложения. Выяснилось, что накладка из-за совпадения имен. Идентификаторы ряда пользователей перемешались в базе и часть свиданий сегодня обрабатывали вручную из-за локальной аварии на сервисе.

— Похоже, все отменилось, — сказал Василий как бы разочарованно.

— Вообще, — с лукавой улыбкой сказала Мария, — вы мне подходите.

— Да и вы мне, — не обидел он девушку.

— Давайте поднимемся?

— Чё, пошли, — согласился он.

Далее действовали по рекомендациям Дейтинга: вино — душ поочередно — вино — любовная схватка — душ опять по отдельности. После, допивая вторую бутылку, поговорили немного. Картонно-прекартонно.

— Мне понравилось, что не попала к рыжему Василию.

— Рад стараться.

— Если не возражаешь, я тебя еще арендую как-нибудь, — и пальцами так при «арендую», словно бы прищелец с раздвоенными культяпками.

— Да и я тебя не прочь.

Поулыбались друг другу.

— Ты слышал про Турбобанк?

— Это у которых все операторы — боты?

— Ага. У них сейчас хорошая кредитная линия. Ты там зареган? — спросила она и закопалась в телефоне.

— Нет еще, люблю больше с людьми общаться.

— Да ну, брось. Деньги не пахнут. Тем более электронные. Ха-ха-ха. Короче, лови мой промокод. По нему первый квартал на половине процентов.

— О'кей.

Опустошая бокалы, поковырялись еще в телефонах. Опустошили. И разошлись.

В темнеющей до гнилоты вечерней комнате, липкий и удовлетворенный, он повалился немного в обнимку с планшетом, а засыпая, договорился с самим собою завтра на перекурах исследовать тему с билетами. И опять сквозь запах лилий навернулась непонятная тревога, которая сделала сальто где-то в груди и успела юркнуть за ним следом в облако грез.

* * *

Нет ничего хуже, чем проснуться, понимая, что не в порядке что-то, и пытаться это припомнить. Он припомнил. Еще до утренних ритуалов открыл агрегатор билетов, но тут поступил корпоративный вызов. Даже не сообщением, а личным звонком диспетчера. Срочно! Срочно! Авария у привилегированного клиента со всеми вытекающими последствиями. Буквально вытекающими!

Не завтракая, схватил расширенный набор инструментов и отбыл по адресу, где проваландался до самого вечера. Хех, эта работа стоила недельного заработка, и он его получил буквально сразу вместе с серией предложений партнеров в корпоративном приложении относительно вариантов растраты: и вейк, и загородный клуб, и курева на месяц, и курсы йоги, и лекции по саморазвитию. Чего только не было!

А еще получил звонок с незнакомого номера.

— Привет, будьте добры Василия, — приятный и честный женский голос.

— Здравствуйте, это я, — неужто из клиентов кто-то?

— Я Маша, вы меня приглашали вчера.

— Да, но там был сбой какой-то, пришла другая Мария.

Растеклось как лужа молчание.

— Извините за беспокойство. Пока, — честный разочарованный голос.

— Подождите, Маша!

И все — бег коротких гудков — отрезвляющий. Да нет, не было гудков. Не то время, не тот аппарат. Соединение разорвалось по инициативе абонента.

Перезвонил, но без ответа. Послonyaлся прямо с инструментами вокруг квартала, не зная, куда податься. И, вдруг звонок!

— Алло, простите, телефон на вибрации в сумке. Я гуляю по парку.

— Гуляете? — словно бы вспоминал значение слова Василий. — А в каком именно парке? Можно я к вам приеду?

И не успел ничего объяснить, попросить. Не потребовалось никаких уговоров:

— В Таврическом, это на «Чернышевской».

Заминка, потому что опешил от прямолинейности, что ли.

— М-м-мне т-туда и ехать не нужно, пешком дойду.

Порылся в картах в поисках ближайшего супермаркета, забежал, кинул в камеру сумку в обмен на ключ с огромным номерным лепестком из пластика. Отправил обновляемые в реальном времени координаты в общий с девушкой мессенджер и полетел.

Маша вышла из густеющих сумерек парка, сливаясь отчасти с ним синим коротким плащом при широком поясе, от чего первыми появились осенняя светлость одетых капроном ног, переходящая в точеные кораблики туфель; затем перчатки, гордящиеся стройностью хозяйкиных рук; и только потом — бережно-красная помада и то, чего Василий давно не видел, — платочек искусной расцветки вокруг головы и шеи.

— Привет. Я здесь озябла, хотите чаю? — простое и честное признание.

— Не откажусь, — и машинально достал телефон. Но запустить приложение не успел.

— Стойте, не надо искать. У меня здесь знакомый работает, у него есть чайник и чай.

Он большой поклонник чая. А рядом кондитерская — купим пирожных.

«Большой поклонник», а не «угорает по чаю», подумал Василий. И это ему сильно понравилось. Захотелось увидеть этого знакомого.

Когда пирожные были куплены, зашли через двор старого дома в каморку, набитую деревянными изделиями самого разного толка. В беспорядке везде стояли настенные украшения, скульптурки, мебель кое-какая свежая и так далее.

— Лет пятнадцать назад это барахло не задерживалось, — басовым смехом вдруг пояснил вышедший из соседнего помещения бородатый мужик — чистый Левша из детской книжки. Маша представила его другом своего папаши (так и сказала — «папаша!»).

И разлили по одномастным, словно коты с одного двора, чашкам чай (вкусный-превкусный), и выпили его, и съели пирожные, и поговорили. В основном в бородатобасовом ключе.

— Вот мне шестьдесят уже, и что? Так? Работаю, копчу потихоньку. Так? Да только что? Никому это теперь не надо. Не надо никому ничего наяву щупать и смотреть. Кому сейчас нужны-то поделки эти? Так? Наберешь ты их, возникнет вдруг обстановка дома. Нужно ее поддерживать и заботиться. Так? А куда проще фотографий приятных где-то наделать да на страничку к себе. Тут тебе и компания счастливая, и интерьеры приятные, и в тарелке красиво. И делать-то ничего не надо. Никто тебя настоящего-то, живого не видит. Так?

Вот и перевелась у меня клиентура. Так? Машка-то знает, это она мне и сайт сделала, и планшет всучила, вон он валяется. Думала, очередь тут ко мне выстроится, продажи пойдут, ха-ха-ха. Так? Да никто ничем не хочет владеть, все хотят попользоваться и бросить. Да только не понимают, что как только выключат свет, так этим «попользоваться» нельзя будет попользоваться! Так?

Он словно знал, какое впечатление производит, словно видел себя со стороны. Поэтому и глаза его были во время ворчания строго-лукавыми.

— Почему никому ничего не надо? Потому что заботиться ни о чем не хотят. Ничего не хотят поддерживать. Так? Ни себя, ни порядок, ни других. Какая семья там? За чем? В приложении нашел девуку, встретился, удовлетворились и разбежались. Благодарить! Так? Я вот только думаю что? Что раньше-то ты с семьей сильный был. Семейный со всем мог справиться. Оступился — поднимут. Захандрил — пинка дадут и взбодрят. Самому не справиться — родственники помогут: советом, деньгами, участием. Так? Мешает кому-то сильно семья-то. Бессмейному-то кредит легче всучить. Он ведь без кредита ничего и не стоит. Так? Только не понимает, дурак, что с кредитом он еще и со знаком минус ничего не стоит. Так?

Когда вышли со двора, он, не зная, как сказать лучше, произнес:

— Может, ко мне?

— Нет, милый, нехорошо так сразу. Проводи меня лучше до дома — это здесь, через Невский.

Когда он отошел от этого «милый» и выровнял пульс, нашлась и тема для разговора:

— Слушай, а я ведь не могу купить билет к маме.

И промежуток от Радищева до Марата они наполнили сочувствием и парой идей. А общие идеи сцепляют не хуже цемента.

— Позвони мне завтра, — сказала она, прощаясь.

Но он набрал уже через час, после того, как забрал сумку из супермаркета и, скособоленный, добрался до своей квартиры.

— Слушай, я позвонил им в call-центр, мы пробовали с оператором купить билет, но их опять не было! Я просил ее сделать это на другое имя — нельзя по закону о персональных данных.

— Вообще, я сейчас проверяла это направление. Билеты есть...

— Почему-то я так и думал. Как же раньше легко было с этим. До введения обязательной авторизации в Интернете. Что угодно я мог посмотреть обезличенно, без тонны заточенной под меня рекламы, без дурацких предложений якобы нужных мне направлений. Подозреваю, что при попытке купить на мое имя билет ты получала ошибку.

Пауза.

— Да. Тебе теперь нужно решить, что делать, милый: изучать вопрос (советоваться, спрашивать на форумах) или действовать.

— Я не хочу изучать. Зачем? Вряд ли здесь недоразумение или стечение обстоятельств. Тебе не кажется, что уже и саморегулирование закончилось, что идет прямое управление? Никто почему-то не хочет обсуждать это. Нужно действовать, но как, я не знаю еще. Для начала нужно выбраться из этого механизма и посмотреть на потроха со стороны. Но пусть это завтра. Ладно?

— Хорошо.

— Расскажи, если не хочешь спать, о себе.

Речь ее была чистой, без междометий и сорных слов. И были здесь: виденный им старый домик в стороне от Марата, гимназия с языковым уклоном, технический вуз, работа в сервисе ШколаРго, папа-ученый, мама, ушедшая слишком рано, и бабушка, без которой уже месяц. И было еще глубже: про деда и фронт, про ветхую мельницу в Псковской области, про дачу в Токсово, про старый-престарый велосипед «Старт-шоссе». И про то, как накопившееся в разгаре молодости одиночество привело ее в Дейтинг.

— Милый, позвони маме, — сказала Маша в конце беседы.

Да куда сейчас звонить-то — на Урале уже полвторого. Так и заснул не раздеваясь, не ставя телефон на зарядку. Зато совершенно безмятежно, наверное, потому что выбросил наконец лилии.

* * *

А наутро все было просто. Он не включил сдохший за ночь телефон, не завтракая, вышел из дома и снял в банкомате за много транзакций и с дикой комиссией все свои накопления, и это был самый важный пункт. И самый тревожный. Купил зажигалку и сигареты. На автобусе проехал несколько остановок. Взял на Разъезжей двадцать пять роз. Расположился, подпирая еще не начавшую работать кондитерскую напротив знакомого со вчерашнего дня двора. И закурил. В десять, как он и ожидал, Маша вышла весело и уверенно на тротуар, перешла дорогу и — ух — удивилась, увидев его и цветы.

И началась череда изменений для них обоих, обещавшая закрутить надолго. Они позавтракали вместе и договорились обо всем, словно бы сто лет планировали. А когда шли уже к автосалону, он с ее телефона набрал маму. Сняла тетя Валя — продавщица в сельском магазине, где мама вчера позабыла телефон.

Они приобрели подержанную, сильно подержанную машину (эх, вот бы он не брал путевку на тот морской курорт!). А затем разошлись по домам собирать вещи.

* * *

— Знаешь, милый, польза приложений неоспорима, — весело сказала она следующим утром, — я вчера сдала квартиру на время, пока отец в экспедиции. Он разрешил, если при условии, что запрю его комнату. Получила плату вперед, поэтому девушка я состоятельная, не жалею бензина, дави на газ.

— Отлично! У меня теперь только горстка наличных и нет телефона. Я постараюсь тебя не терять.

Они не представляли еще, каким будет этот автопробег, что выкинет их машина, кого они встретят на своем пути, чем займутся и чем будут жить дальше, когда приедут.

Василий, думая об этом, улыбнулся: тепло и спокойно было от последнего осеннего солнца, от работающей со звуком печки, от уверенности, которую давала близость девушки, его девушки. И впервые они поцеловались, отстегнув ремни и потянувшись друг к другу. И было это словно бы привычным, словно женаты они не один год.

Ранняя вечерняя дымка разлилась над мегаполисом и окрестностями, когда они продырявили КАД. Давно уже перемещения из точки А в Б — удел приложений, но на загородной дороге, неуверенно подняв руку, остановил их коротко стриженный парень с рюкзаком для долгих странствий. И рассказал в несколько километров свою историю. О том, как не смог купить билета, чтобы вернуться домой.

Василий попросил тогда телефон у Маши:

— Мама, это я. У тебя все хорошо? Ты знаешь, я еду к тебе.

Мария ЗАТОНСКАЯ

ВЫРАСТУ

1

Мечтала, вырасту,
кончится суп из куриных лапок,
толкучка в прихожей, масляный свет лампы,
мама перешивает платье,
у папы снова от рук пахнет бензином.
Когда-нибудь я откушу хрустящую корочку жизни!
Внутри — изюм, орехи и много чего еще.
Только тридцатилетней девочке в новом плаще
как-то не по себе.

2

Помню, бабушка жарит блинчики.
Как хорошо жить.
Велосипедное стрекотание
слышится со двора.
Целая жизнь до следующего утра,
длинная жизнь до следующей.

3

Соседка собирает жимолость в фартук,
ветки скворчат по-птичьи
о личном,
чувствую: все вокруг — мой необъятный дом.
А завтра проснусь на восходе
и буду смотреть, как время ходит
по стене.
Как синева раздета.
Никому не отдам это.

* * *

Нужно повзрослеть наконец, перестать повторять «душа».
Кто мне теперь поверит, что я и так хороша?

Мария Затонская родилась в 1991 году в городе Сарове. Публиковалась в журналах «Белая скала», «Арион», «Нева», «Кольцо А», «Волга XXI век», «Литературный Крым», «Формаслов» и других. Обладатель Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2017), дипломант и лауреат Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» (2018, 2019), победитель Национальной премии «Русские рифмы» (2019). Член Союза писателей России.

Они не знают, что я нашла в тебе озеро. Как поплавок,
по теплой воде плыл зеленый листок,
плыла я, небо плыло вокруг меня.
Но захотела нырнуть и — не достала дна,
и стало страшно, что не успею и все пройдет.

Это мне все еще снится,
а кажется, что вот-вот.

БАРАК

1

Когда мне было четыре года,
я боялась, что умрет мама.
Если бы кто-то сказал мне: Богу молись,
я, наверное, стала бы истовой христианкой.
Отче, хныкала бы, упаси.
Но мне не сказали.
Сейчас
иногда нашептываю: Боже, Боже.
Я ему привираю,
но это спасает, похоже.

2

Плачет хрупкое человеческое
у меня на плече:
продавщица Люда,
автомеханик Вова,
военный контрактник Максим.
Плачут матерными словами,
плевками,
всем прочим.
По-разному выживают,
как-то выкручиваются,
вечером встречаются на пятиметровой кухне,
а с ними я — вроде бы как в придачу,
на моих коленях живот собачий,
и всем хорошо,
и все хорошо плачем.

3

Летом у нас всегда весело: лавочка, песенка.
Ленка в темных очках, у нее со вчера судимость,
затягивается, отхлебывает из горла:
«Он сильно меня обидел, вот я его избил», —

радио трещит: ла-ла-ла,
она: «Ду-ду-ду...
а вообще, я всегда хотела работать в детском саду,
футболочки, юбочки, щечки...
Дочку...»

4

Смотрю на Катьку, Катька мне говорит: — Страшно,
страшно, — говорит, — Машка.
Она сжала зубы и смотрит в стол,
но все еще говорит —
вон пошутила про вчерашнюю попойку мужа.
Я думаю: «Могло быть хуже,
все могло быть хуже, хорошо, что вот так».
Молчу ей:
— Мне тоже страшно, но по-другому никак.

5

Дождь выпрыгивает, с разбега
падает на человека.
Семенит по детской площадке,
деревянной лошадке.
И кажется человеку: ничего нет,
кроме всего этого, что поет.
Люди из окон смотрят, как я открываю рот,
стою тут.

И тоже поют.

АЗИЯ

1

Прижалась ухом к окну своего купе.
Сначала мир подрагивал и скрипел,
потом я услышала, рельсы начали петь:
то ли японка в храме, то ли мантры в ашраме,
а дальше — индийские танцы браслетами забренчали.
Играла музыка, запечатанная в куске стали, —
поезд был исполнителем.
И я заметила,
что меня во мне больше нет,
что я вся снаружи,
а внутри — пустота, широта, свет.

2

Смуглый маленький туркменистанец
яблочные хвостики подметает,
арбузные шкурки.

Ночью

араб из соседнего номера
заносит коробку с котятами:

— Бэйби, — шепчет, идет
показывать детям.

В темноте гранаты кажутся черными,
слепыми глазами глядят,
хочется их сорвать,
но ты не срываешь, смотришь.

3

Восток проезжает мимо автобуса,
земля — надтреснутой коркой,
гор синие языки — кажется, так горизонт горит,
как газовая конфорка.

Русские воробьи оккупировали провода,
расселись на раскаленных жердочках,
турецкий лавочник зазывает по-русски,
и на родном море поет на спуске.

Алексей КОМАРОВ

РАССКАЗЫ

«ЛИВЕРПУЛЬ» ЗАБЬЕТ ПЕРВЫМ

Ставка ты моя, ставочка, мерзкая сволочь, распоследняя гадина, камень на шее, лучик света в непроглядной тьме. Ненавижу тебя, проклиная тебя, молюсь на тебя...

Я недолго колебался, прежде чем начал играть на ставках. Причины у всех одинаковы. Желание быстро и легко разбогатеть. Поднять деньги и забыть наконец про нищенские акции в «Пятерочке», душные вагоны метро, поношенную обувь и долги за квартиру.

Было это и в моей жизни. После университета я отчаялся найти работу и сидел на шее у отца с матерью. Главным образом — у отца, брокера в крупной фирме. Мама писала любовные рассказы и рассылала их в литературные журналы, скорее из удовольствия, чем ради серьезных доходов. Мы не шиковали, но и не бедствовали, словом, гордились принадлежностью к среднему классу.

Однажды отец рано вернулся со службы. Обычно безукоризненно причесанный и выбритый, в тщательно выглаженном костюме и сверкающих ботинках, в тот момент он напоминал бродягу. Галстук сбился набок, волосы растрепались, пиджак помялся, на брюках зияли свежие прорехи. По коридору расплывалась вонь дешевого алкоголя.

Позднее отец поведал, что их компания не прошла аудиторскую проверку, а в его деятельности обнаружили серьезные нарушения законодательства. Итог — аннулирование лицензии и лишение аттестатов. Отца выгнали вон. Без денег и перспектив. Вот тогда мы и узнали, почем фунт лиха. Началась борьба за выживание. Пришлось и мне вносить свою лепту. Но после ряда случайных подработок я понял, как сложно найти дело, приносящее удовлетворение и финансово, и морально. В минуты тяжких раздумий решение нашлось само собой.

Досуг я коротал за просмотром сериалов. Они не требовали напряженных умственных усилий, развеивали мрачное настроение. И сколько бы серий я ни запускал, ни разу мне и в голову не пришло обратить внимание на вступительную рекламную заставку. Две блондинки под залихватский хип-хоп-бит рассекали в кабриолете и разбрасывали вокруг купюры. Короткий клип выглядел тошнотворно, и я всегда отключал звук. А тут, поглощенный мыслями о нашем бедственном положении, промедлил и впервые узнал, что же с таким воодушевлением рекламировали девицы. Букмекерскую контору IncredibleBet, сокращенно IncBet — «Невероятные ставки на спорт».

Я покопался в Интернете. Часть подобных контор признавались вполне легальными, хотя раньше я считал их чем-то подпольным (как и беттинг — игру со ставками).

Алексей Константинович Комаров родился в 1992 году в г. Коврове Владимирской области. Окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова (кафедра новой и новейшей истории Франции). С 2013 года публиковался в журнале «Rolling Stone Russia» сначала в качестве переводчика, а затем в качестве автора-кинокритика (по настоящее время). Также писал для журналов «Empire», «Hollywood Reporter», «Time Out», «Мир фантастики».

Просто создать аккаунт на сайте было недостаточно. Требовалось подтвердить личность с помощью паспорта в офисе. Обычно я опасался светить документами. Однако углубленный поиск компромата на IncBet не принес результатов. Негативных отзывов или обвинений в мошенничестве я не обнаружил. Все казалось относительно прозрачным и внушало умеренный оптимизм. Я решился.

На следующее утро я напел родителям, что иду на собеседование, а сам поехал в ближайший офис IncBet. Приветливая дама быстро проделала необходимые процедуры. Я скачал на телефон приложение и пополнил баланс на символические пятьсот рублей. Первые пятьсот рублей, влитые мной в IncBet.

В помещении царил пыльный полумрак, пахло табаком и застарелым потом. По стенам светились плазменные телевизоры с трансляциями. Ставили абсолютно на все, вплоть до регби и хоккея на траве. Кто-то сидел за компьютером и шерстил инкбетовский сайт, кто-то расположился на диванчиках и тарачился в экраны. По одному из них крутили футбол, а напротив было свободное место. Я присел возле элегантного молодого человека и внимательнее пригляделся к происходящему.

«Ювентус» принимал «Милан». Вообще я не очень внимательно следил за футбольными баталиями, но еще со школы помнил, что туринский клуб является грозной силой. Шла пятидесятая минута. «Юве» уступал 0:1. В приложении победа хозяев шла по коэффициенту 3,5. Я решил рискнуть. Выиграю — возьму дармовой куш, проиграю — тоже не беда. Не Бог вещь какая сумма.

Матч выдался скучный. Вальяжное перекачивание мяча да вялые атаки. Я вышел покурить, а когда вернулся, счет внезапно сравнялся. Чуть позже «Юве» реализовал пенальти и вырвался вперед, а остаток времени грамотно сыграл на удержание. Я палец о палец не ударил и за сорок минут поднял больше полутора тысяч. Недурной старт. Наверное, я аж засветился от радости. Мой сосед подмигнул мне и понимающе улыбнулся.

Захотелось упрочить успех. Я торжественно прошелся по залу. Меня удивили бесстрастные лица присутствующих. То ли им не везло, то ли было просто наплевать — во всяком случае, я не понимал, как они сохраняли спокойствие. Выигранная ставка воспламенила мое воображение, заставила кровь бурлить, а сердце — ликующе биться в предвкушении новых и, кажется, не слишком тяжелых заработков.

Я понаблюдал за теннисным поединком. Златокудрый юноша противостоял массивному гиганту и уже провалил первый сет. Я нашел эту встречу в приложении, прикинул, на что бы поставить. Блондин отдал свою подачу, и теперь громила вел 3:1 во втором сете. Сомнений в его победе не возникало, и я загрузил на нее весь банк по скромному коэффициенту 1,2. Солидные ставки на низкие коэффициенты казались безопасным способом зашибить пару лишних сотен.

Я попил кофейку, полистал журналы, потрепался с женщиной на ресепшне. Она работала в IncBet три года и повидала немало грандиозных триумфов и сокрушительных фиаско. Один старичок, например, много лет копил пенсию для ставки на финал Лиги чемпионов. Прогноз оправдался, старичок стал миллионером, но от пережитых потрясений его прямо на месте хватил инфаркт. Он скончался до приезда «скорой».

В другой раз скромная девушка дрожащими руками вытащила из сумочки толстые пачки пятидесятирублевых купюр и поставила на исход одновременно нескольких событий. В том числе — на гол футбольного клуба «Бавария», экзаменовавшего на своем поле аутсайдера немецкой Бундеслиги, по ничтожному коэффициенту 1,05. Он был включен в экспресс для повышения общего коэффициента, но именно этот исход и не сработал. «Бавария» уступила всухую. Трансляцию матча девушка смотрела здесь и за все время не проронила ни слова. Потом она молча встала, вышла на улицу. Пять минут спустя в офис влетел охранник и сообщил, что девушка бросилась под грузовик.

— Вы не ощущаете вину, когда происходит такое? — спросил я.

— С чего бы? — отозвалась женщина, надраивая пилочкой ногти. — Мы же никого не заставляем делать ставки. И результаты не подтасовываем. Мы как банк, принимаем деньги, выдаем деньги. А распоряжается ими каждый по-своему. Мы ответственности не несем.

Пока мы болтали, я и думать забыл о том, что изначально зарегистрировался в IncBet для помощи семье. Азарт и адреналин отменили разумные доводы, и даже стремление выиграть утихло. Меня полностью захватил сам процесс. Напряженное ожидание, страх, искушение, надежда... Я занимался беттингом не больше часа, но уже чувствовал себя наркоманом.

Я вновь запустил приложение, ожидая увидеть оповещение о зашедшей ставке. Но игра продолжалась. Я вернулся к экрану и обнаружил, что гигант умудрился слить пять геймов подряд. Второй сет остался за блондином. Я рухнул на диван.

В третьем сете гигант взялся за ум, и дело дошло до тай-брейка, укороченной партии до семи очков. Блондинчик дважды подал навылет. Здоровяк взял очко на своей подаче, затем допустил двойную ошибку и расклеился окончательно. 7:1 на тай-брейке, 7:6 в сете — блондин одержал верх. А я потерял полторы тысячи в погоне за тремя сотнями.

— Охренеть, — только и мог прошептать я.

— А знаешь, почему так получилось?

Я обернулся. Ко мне обращался щеголеватый молодой человек, которого я заметил раньше. Он выглядел немногим старше меня, но падавшие на лоб темные волосы и черневшая на бледном лице эспаньолка придавали ему взрослой солидности.

— Что получилось?

— Ну, почему ты продул?

— А с чего ты взял, что я продул?

— Видел, как ты потел и грыз ногти, — он рассмеялся.

— Допустим. Не повезло. И что дальше?

— Дальше умнее будешь. Ты совершил главную ошибку в беттинге. Поддался эмоциям. И полез в теннис, хотя ни черта в нем не смыслишь. Знаешь, против кого ты ставил? Против Саши Зверева, седьмой ракетки мира. А второй мужик — ничтожество из второй сотни рейтинга. Саша мог бы прицелкнуть его одним ногтем. Но он любит валять дурака.

— Ты тоже беттингом занимаешься?

— Занимаюсь. Я профессиональный каппер.

— А я только сегодня тут зарегистрировался. Слушай, может, ты дашь мне пару советов, объяснишь тонкости? Я тебя пивком угощу.

— Пиво не пью. Но за бутылочкой вина готов пообщаться.

Мы отправились в ближайший бар, где мой новый знакомый по имени Олег поведал немало интересного. За семь лет беттинга благодаря особой стратегии он сколотил целый капитал.

Главный залог процветания, по мнению Олега, — стабильность. Выбери фиксированный размер ставки и придерживайся его, пока не сочтешь необходимым изменить в ту или иную сторону. Важно также делать строго определенное количество ставок в день. Чем больше пари ты заключаешь, тем выше риск проигрыша. Олег убежден: лучше идти к намеченной цели медленно, но верно. Невысокий постоянный доход в беттинге ценнее шальных джекпотов.

Мы приговорили бутылочку красного и расстались приятелями. Я снова пополнил баланс и принялся осваивать методику Олега. Ставить решил только на футбол и по-

тому плотно окунулся в футбольную реальность. Мониторил трансферы, изучал статистику команд, следил за европейскими, американскими и азиатскими лигами... Вскоре я заделался неплохим экспертом и при желании мог бы устроиться журналистом в любое спортивное издание. Но обычная работа по-прежнему не прельщала. Новый мир поглотил меня целиком.

С утра я садился за анализ линии дня и выбирал два-три события, казавшихся надежнее прочих. Сначала ставил по двести-триста рублей, был крайне осторожен, и через пару месяцев мой банк ощутимо возрос, позволив увеличить размеры ставок. Периодически мы встречались с Олегом, и тот охотно обучал меня хитрым трюкам.

Родителям я ни словом не обмолвился о новом увлечении, а почти постоянное присутствие дома объяснял тем, что активно фрилансил и переводил тексты с английского. Благо финансы мои стабилизировались, и спустя полгода после дебютной ставки я спокойно отстегивал двадцать-тридцать тысяч в семейный бюджет ежемесячно.

А потом над безукоризненно просчитанным проектом сгустились тучи. Однажды вечером мы ужинали перед телевизором. Вдруг отец задрожал и уронил поднос. Попытавшись встать, он скорчился и, смертельно-бледный, повалился на ковер. Мать вызвала «скорую». Привести отца в чувство не удавалось. Изо рта хлестала кровь, прерывистое дыхание могло оборваться в любую секунду. Врачи погрузили его в машину, мы помчались в больницу. Машины причитания и вой сирены смешивались в inferнальную какофонию.

Анализы выявили рак желудка в критической стадии. Однако, по заверениям онколога, операция все равно имела смысл и давала крошечный шанс. Хотя времени почти не оставалось. Необходимая подготовка осуществлялась за месяц, в ускоренном режиме — последние технологические разработки позволяли существенно форсировать процесс. Малейшее промедление было смертельно.

Сумму на химиотерапию мы нашли быстро. Обзвонили родных, друзей, знакомых. Благодаря богатому мамину брату и состоятельным родителям моей бывшей девушки, с которой я поддерживал хорошие отношения, удалось собрать несколько десятков тысяч евро. Предстояло самое сложное. Оплата операции. Даже с учетом скидки от клиники требовалось пять миллионов рублей.

На моем счету в IncBet числилось полмиллиона. Выходные обещали насыщенную линию. Я решил состряпать экспресс с коэффициентом 10 и пойти ва-банк. Это был наш единственный шанс спасти отца. Прочие средства мы исчерпали. Я позвонил Олегу и вкратце обрисовал ситуацию. Мы договорились пересечься пораньше на следующий день и четко выбрать матчи. Меня глубоко тронуло горячее стремление Олега помочь, искреннее сочувствие и бескорыстное содействие.

Мы встретились у входа в IncBet. Первый матч стартовал через полчаса. Я изложил свои соображения.

— «Челси» — «Арсенал»? — Олег покачал головой. — Не советую. И те и другие не стабильны.

— На «обе забьют» можно поставить? У «Челси» сильнейший состав. Жиру, Педро, Виллиан. А у «Арсенала» — Ляказетт с Обамеянгом.

— Ладно, в принципе, можно, — согласился Олег. — Бери еще и «Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Что «Уотфорд» положит больше одного мяча. Команда в отличной форме, один точно заколотит, а там и второй заскочит. В худшем случае получишь возврат.

— Возврат не годится, — возразил я. — А то не соберем нужную сумму. Должны срабатывать все исходы.

— Я понял, — кивнул Олег. — Тогда обрати внимание на Францию с Германией. «Марсель» — «ПСЖ», например. Марсельцы хороши, но парижане их гарантированно

дернут. Смело ставь на победу. «Герта»—«Боруссия» — аналогично. «Боруссия» сейчас всех раскатывает.

— «Вольфсбург»—«Байер»? — я мыслил вслух. — Или «Нант»—«Лион»? И в обоих случаях — больше двух голов. Травм ни у кого нет, настрой боевой...

— А у тебя, друг мой, как настрой? — поинтересовался Олег. — Тут, понимаешь, удача тоже имеет значение. Ты полностью уверен, что тебе повезет?

— Уверен, — твердо ответил я. Мог ли ответить иначе?

Между нами с отцом никогда не наблюдалось чрезмерной близости. Он не баловал меня подарками, не рассказывал страшилок на ночь, редко помогал с уроками, не давал советов по общению с девочками. Да и я нечасто изливал ему душу. Но стоило подумать о том, что его скоро не станет, и я осознавал беспощадную истину: мне будет его не хватать. И я сделаю все возможное, чтобы он остался со мной.

Мы сложили экспресс с нужным коэффициентом. «Челси» с «Арсеналом» порадовали сразу, обменявшись голами в первом тайме. Не подвел и «Уотфорд» — вел 1:2 к шестидесятой минуте. Я воспрял духом. Моя задумка оправдывала себя.

Перед вечерними событиями мы прогулялись. Олег безмятежно рассуждал о политике и автомобилях. Я старался поддерживать разговор, но по мере приближения матчей на душе скребли кошки. Логика подсказывала, что мои ставки относительно безопасны, Олег и вовсе на этом настаивал... Но люди и в преддверии апокалипсиса верны привычным занятиям, не подозревая о приближении конца.

Мы вернулись в офис и расположились перед экраном на том же диване, где пересеклись в первый раз. Вечность назад. Я пришел сюда в поисках легкого побочного дохода, а теперь от IncBet зависела жизнь одного из самых близких мне людей. Я понял, насколько обманчиво равнодушие здешних игроков. Внешне и я был предельно сосредоточен. Глаз не дергался, ладони не потели, по телу не пробежала дрожь. Опыт создавал видимость хладнокровия. Но внутри — и у меня, и у остальных, я ничуть не сомневался — клочкотал вулкан.

За следующие часы я постарел лет на десять. Лидер «ПСЖ» Неймар получил травму, а вундеркинд Мбаппе отсиживался в запасе. Только благодаря мячу под занавес второго тайма Париж выцарапал победу. «Боруссия» разгромила соперника в пух и прах, но другие поединки протекали нервозно. Голы забивались неохотно. Бывают моменты, когда элементарно оправдываются безумные прогнозы, а в иные дни верняк заходит со скрипом. Я буквально прилип к экрану и, как одержимый, смотрел футбол, будто в гнетущей лихорадке.

Олег же блаженно потягивал коктейль и болтал с заскучавшими клиентами. Я напроць забыл о его существовании, пока не завершилось предпоследнее событие по линии. И для меня оно завершилось успехом. Я в изнеможении откинулся на диван. Девять ставок из десяти оказались фартовыми. Осталась последняя. Самая надежная. Я сделал ее по прямой рекомендации Олега и считал железобетонной. Кубок Англии. Ответный матч. «Саутгемптон»—«Ливерпуль». «Ливерпуль» забьет первым. Лучшего и пожелать нельзя.

Неужели мне в кои-то веки по-настоящему повезет? Неужели я буду обязан идиотской рекламе из Интернета спасением отца? Рекламе — и Олегу. Я повернулся пожать ему руку, но в этот момент он взвился и устремился к выходу.

— Олег! — крикнул я вслед. Тот не обернулся.

Я встал, собираясь последовать за ним, и тут же снова сел — мощный детина толкнул меня обратно на диван. За его спиной маячили еще двое.

— Куда пошла эта гнида? — рывкнул он.

— Понятия не имею, — ответил я. — А в чем дело?

— Он нам денег должен. Много. Наколоть нас решил, урод. Серега, беги за ним.
— В смысле — наколоть? — переспросил я, пока бородатый Серега неуклюже топал прочь. — Он же обычный каппер, не мошенник.
— Приколись, Вован, — хохотнул третий. — Очередной лох.
— Почему... лох? — кажется, впервые за вечер я потерял самообладание.
— Твой Олег — сотрудник этой конторы. Неофициальный, конечно. Находит необстрелянных птенцов, втирается в доверие, ждет, чтобы у вас банк вырос. Потом ловит момент, когда вы его целиком на кон ставите. Рано или поздно ставят все. Жадность человеческая безгранична. И одним обманным советом он тебя разоряет.
— Ты гонишь. У меня почти весь экспресс сработал. В чем проблема?
— Почти весь? То есть последняя ставка осталась?
— Ну да. На «Саутгемптон» с «Ливерпулем». Что «Ливер» откроет счет.
Детина смотрел на меня то ли насмешливо, то ли сочувственно. Матч между тем уже начался.

— Дружище, ты составы команд видел?
— Нет. Слушай, ну это же «Ливерпуль», он мощно выступает...
Я запнулся, ошущая подвох. Вообще я всегда изучал и составы, и комментарии тренеров, и даже социальные сети футболистов. Но сегодня Олег так страстно распинался о неизбежности ливерпульского гола, что я проигнорировал привычные ритуалы. Хотя знал же, знал, как важно следовать принципам беттинга, не изменяя им ни на секунду!..

— Мощно, вот и вынес «Саут» у себя дома 5:0. А сейчас в основе сплошь молодняк. Лидеры отдыхают. Зачем рисковать, если Лига чемпионов на носу. И как, по-твоему, «Ливер» забить должен? Да они и в атаку-то не пойдут, отсилятся в защите. А «Саут» перед своими болельщиками не захочет позориться, домашний гол обязательно закатит.
— Почему же на гол «Ливерпуля» такой низкий коэффициент?
— Уловка букмекеров. Не все ставки с низким кэфом легко проходимы. Да ты сам посмотри.

Детина кивнул на экран. Несколько минут хватило, чтобы понять: у «Саутгемптона» серьезные намерения. «Ливерпуль» же явно собирался сушить игру: он в любом случае оказывался в следующей стадии кубка.

Во мне закипела звериная ярость. Я выскочил на улицу, огляделся, задыхаясь от бешенства. Я убил бы Олега голыми руками, но его и след простыл. Уверен, он сменил и номер телефона. У него их небось было несколько. Отдельный номер для каждого... лоха.

От бессилия и отчаяния я завыл, рванул к кирпичной стене дома и принялся вновь и вновь впечатывать в нее кулаки, пока вернувшийся несолоно хлебавши Серега не оттащил меня силой. Тогда я бросился обратно в офис, облокотился на стойку ресепшна и потребовал продать мою ставку. Я знал, что в IncBet предусмотрена такая возможность, позволяющая компенсировать часть средств, если ты решил не дожидаться окончания события. Однако тетка отказалась, сославшись на внутренние правила, запрещающие продажу в случае формирования экспресса на пять и более событий. Она предъявила экземпляр договора, подписанный лично мной при регистрации. Наверное, я действительно его подписал. Глупо спорить.

Я схватил бумагу и, шатаясь, поплелся на прежнее место. Чтобы не упасть, я хватался за стены, оставляя кровавые отпечатки. В голове навязчиво пульсировала единственная мысль. Отец. Папа. Папочка. Как же я тебя подвел. Прости, пожалуйста. Прости. Спасение было близко. Хотя... почему было? Ведь счет до сих пор не открыт! У «Ливерпуля» еще есть шанс! И у нас он тоже есть!..

Я взмолился Богу и всем известным мне святым, взмолился так горячо, что из глаз хлынули слезы — пожалуйста, пусть они забьют один гол, больше не надо, а после я завяжу с азартными играми, удалю к дьяволу проклятый IncBet, мы вылечим папу и проживем вместе много счастливых лет...

Воображение нарисовало столь красочные картины нашего будущего, что фантазии на время отвлекли от реальности. Я вытер слезы разбитой рукой и обратился к экрану.

«Саутгемптон» исполнял пенальти.

Вратарь «Ливерпуля» прыгал из стороны в сторону, надеясь отвлечь бьющего. Тот неторопливо установил мяч на точку. Стены офиса расплылись и превратились в бесформенное цветное пятно, звуки голосов и шум трансляций слились в оглушительно вибрирующий гул, небо пылало, планета разлетелась на куски, словно расколотый грецкий орех, а я непрерывно повторял спасительную мантру: «Ливерпуль» забьет первым.

Судья дал свисток.

«Ливерпуль» забьет первым.

Игрок разбежался.

«Ливерпуль» забьет первым.

Удар.

«Ливерпуль». Забьет. Первым.

ЯСНЫ ДАЛЕКИЕ ЗВЕЗДЫ

Жалобно мычит теленок. С травой спуталась, натянулась веревка, в ловушке, бедняга. Хрипит-задыхается, рвется, а петля все туже. Нас не подпускает, боится. Тихо крадется Анюта, пучок травы дергает и в сторону. Телячьи глазенки хлопают влажно, страх тает, растворяется в их агатовой густоте. Пока не испугался опять, Анюта — пальчиком по носу, и по шелковой маковке. Ужас клубится в агатах, теленок прочь, но Анюта, ликуя, уже обратно, кричит:

— Я погладила его! Погладила теленка!

— Великое достижение, — усмехаюсь. И правда: в наших грузинских каникулах знакомство с теленком — не самый яркий эпизод. Не этим запомнилась мне крохотная деревенька Т., куда скользили мы по нитке горного серпантина от земли до небес.

Добрых два часа таксист болтал нас по кочкам. Богатырь внедорожник ревел, ругался, но послушно тарыхтел над пропастью, где распахнулась в роскошной наготе своей вся страна, цветущая, полногрудая, пышущая здоровьем и силой. Призрачно мерцала полоска тумана, стирая косую черту горизонта, вдалеке, белым по зеленому, затейливые узоры овец. Чумазные лопухие мальчишки, сыновья пастухов, за машиной со смехом и камушками по крыше, в окна заглянуть пытались, но быстро отставали, и после только собаки да крупная птица молнией сквозь облака — орел, что ли?

Широкое озеро сверкает лазурью, и Т. под бочком у него. Сгрызла вода лоскут суши, и там заливчик теперь, лягушатник для ребятни. На другом берегу подпирают небо хмурые горы, молчаливые стражи. Одурили от жары кузнечики, знай себе скрипят лениво, на озере кашляет двигатель моторки, моя девочка щелкает фотоаппаратом — и все равно тишина вокруг, благословенная тишина.

В Т. полторы сотни семей. Уедут на заработки, а затем обратно. Удить рыбу, пасти скот, за детьми следить. Натуральное хозяйство, скотоводство да земледелие. Драгоценная невинность уединенного мирка ослепляет, оглушает, страшно осквернить ее. Но пока бредем вдоль берега под убаюкивающий шепот волн, бычок в тени забора при-

чмокивает жвачкой, старая лодка ржавеет в траве, и фиолетовые, желтые, белые цветы разбрызганы по ней пестрыми кляксами, я верю, я знаю: мы — одно целое, созданное Всевышним, чтобы родиться, созреть и увянуть в положенный срок.

Вот диковинное сооружение — отель, сказали местные. Над низкими, к земле склоненными хибарами торчит угловатой башней. Шатко склеены три этажа, стены с пустыми глазницами окон не побелены, мусор кругом. Недостроена башня и необитаема, похоже. Толкаю дверь с опаской. Чудо — просторная комната, уютная, ремонт приличный. Печка, удобные кресла рядом, сыто урчит холодильник, на стенке роутер, по плазме кино с приглушенным звуком. Де Ниро с ружьем в телевизоре, а на диване грузин, тощий, кургузый, загорелый, прикорнул, и сладко спится ему, видать, аж причмокивает.

- Это хозяин? — Анюта шепотом.
- Не думаю. Грязноват для хозяина. Рабочий, скорее.
- Интересно, здесь вообще живут?
- Черт знает. Если это не отель, у нас проблемы.

Озираемся, разглядываем то да се, и вдруг котенок шмыг на грузина, грузин вздрагивает, просыпается, а тут мы. Вскакивает, глаза пучит — снимся, что ли, или все взаправду? Ждем. Приходит в себя наконец.

- Вы кто? Чего пришли?
- Можно у вас переночевать? — спрашиваю.
- Хозяина сейчас нету, — тянет грузин. — Вчера гости были, он поехал их провожать. И попросил посторожить.

Хорош сторож, дрыхнет и мышей не ловит.

— Мы останемся? — повторяю. — До завтра. Нам больше некуда идти.

— До завтра... ну ладно. Пойдем, покажу, где спать будете.

Лестница крутой спиралью, мы на второй этаж, за грузином следом. Пять комнат, берем одну наугад. Пара кроватей, стол, стул, стены голые, заляпаны сыростью. Старенькое белье на постелях в заплатках, но опрятное. Словно дома у бабушки. И балкончик с видом на озеро. Остаемся. За двоих пятьдесят лари. По рукам. Грузина Антоном зовут, как и меня.

Разобрать чемоданы, одежду сменить — раз плюнуть, полчаса, и гуляем. Но обойти деревушку не успеваем. Дождь. Разорвались тучи, ледяной ливень водопадом. Повезло: перед нами магазинчик. Заперто. Жмусь лбом к стеклу. Что внутри? Пылинки в полумраке, а на прилавке сигареты, зажигалки, дезодоранты, презервативы, расчески, карты, погремушки. Бесформенная куча хлама. Продавца нет, никто нас не впустит.

Торчим снаружи. Дождь по крыше уныло, в кустах шелестит. Под козырьком лавочка. Садимся. Рядом тормозит машинка. Забавная — горбатая, сплошь в кляксах от грязи.

— Эй, молодежь! Давай подвезу.

В тельняшке, пожилой. Стекло опускает, сигналил призывно мохнатая лапа.

— Да ничего, мы сами... — Анюта робко, а дядька отмахивается.

— Дождь надолго зарядил. Залезай, дочка, не стесняйся.

Пожимаю плечами, и мы на заднем сиденье.

Водитель в зеркале. Небритый, волосы сединой серебрятся, взъерошены брови, взгляд плутоват, а лицо доброе, простое, смешливые морщинки от глаз паутиной.

— Мне Антон передал, во дворец юноша с девушкой заселились. Это вы?

— Во дворец?

— Ну да. Я так нашу берлогу называю. В шутку, конечно.

— Заселились мы, верно. А вы с Антоном знакомы?

— Тут все друг с другом знакомы. Дворец — это бывший охотничий домик, мы с товарищем его купили и обычно никому не сдаем. Антона просим постеречь, пока нас нет. Он, наверное, деньги с вас потребовал?

Ухмыляется, блестят редкие зубы. Я хмыкаю. Похоже, дал маху.

— А нас уверяли — гостиница ... — сокрушается Анюта.

— Иногда здесь останавливаются. Важные люди, чиновники да бизнесмены. Платы ни с кого не беру. Но Антон подрабатывает. Я разрешаю. Главное, много не требует. Меня, кстати, Петром звать.

Мы тоже представляемся. Подкатываем к домишку, и внутрь. Когда мы приехали, нас встречали курчавые облачка, от солнца румяные, точно младенцы, а теперь они разбежались, гром заворчал сердито.

Тепло во дворце. Рассаживаемся, Антон рядом хлопочет. На столе огромное блюдо с сыром, рыбешки от мала до велика, пунцовые раки, огурцы, помидоры, колечки лука... Снедь нехитрая, но хозяева с такой горячностью спешат поделиться ею с нами, что я, глубоко тронутый, выставляю бутылку тбилисской чачи. Бледнеет, охает Антон:

— Поднабрался вчера. Еле отошел.

— Так, может, и не надо пить? — предлагает Анюта. Антон не согласен.

— Что ты, милая! Надо вас поприветствовать. Мы плохо одеты, но хорошо воспитаны.

— Не давай мне чачу с вином мешать, — прошу Анюту. — А то мигом вырублюсь.

— Мы с вином и не мешаем, — рявкает Петр и тут же хлоп на стол еще бутылку. Трехлитровая, пузатая, мутно-желтая жижа внутри.

— Разве это не вино? — подозрительно кошусь на бутылку.

— Нет, дорогой. Не вино — сущий нектар. Свой, домашний. Все, что вы видите, делаем мы. Сыр наш. Рыба и раки — из озера. Оно самое глубокое в Грузии. Раньше в нем только форель водилась. Потом привезли корюшку, форели на корм. Сига завезли. Сазана — из Армении. Карась появился. И неизвестная рыбешка — мы ее хромой называем. Вы сейчас ее кушаете.

— Рыбка — супер, — признаю. — В Москве такой не достать.

— Боюсь, и у нас скоро не останется, — Петр наливает нам вина. — Мы регулярно выпускаем мальков, но деревенские не дают им вырасти. Ловят, сети ставят... Ну ладно, хватит языком трепать. Давайте за гостей наших выпьем. Не ждали мы вас, да и вы, наверное, не знали, что здесь окажетесь. Но раз уж так вышло — мы очень рады. Надеюсь, и вы довольны.

Хрупким звоном смеются бокалы. Чокаемся, пьем. Вино кисловатое и ядреное, крепче привычного саперави. Антон щелкает каналы. На «Живой планете» пингвинята, комочки пуха, пригрелись под материнским крылом. Петр наблюдает за ними задумчиво, встает.

— За детей хочу выпить. У Антона и внучка есть. Сколько ей, Антон?

— Шесть месяцев.

— А у вас дети есть?

Переглядываемся с Анюткой, улыбаемся чуть смущенно.

— Нет, — говорю, — но обязательно будут.

— Добро, — Петр кивает, отпивает вина, и мы вслед за ним тоже. — У меня сын. Но внука нету. Седьмой год женат, да все без толку. Я сыну твержу: поторопись, иначе я второго сделаю. Вы вообще знаете, почему за детей пьют? Да, они самые маленькие, самые любимые... Но главное — потому, что они и хорошего, и плохого человека одинаково воспринимают. Они не грешники. В них зла нет.

— А давайте и за родителей выпьем, — Антон встает, подливает. — Тем, кто жив, дай Бог здоровья. Тем, кого нет, вечная память.

Замолкаем, каждый о своем раздумывает. Телевизор отвлекает. За пингвиньей передачей грибная. Дедок в панаме раскрывает тайны мастерства. Петр гасит звук, плюется.

— Шулер, а не грибник. Любой мелюзгой хвастает. Я вам покажу настоящие грибы.

Копается в телефоне. Снимок белого шара размером с пять футбольных мячей. Гордится собой, конечно.

— Дождевик, — объявляет торжественно Петр. — Десять кило весил. Такие неподалеку растут. Катишь на рыбалку, из окна выглядываешь, а они по холмам раскиданы. Охотиться вот не люблю. Не могу без нужды убивать. Дикие звери у нас, конечно, водятся. Однажды медведицу с медвежатами встретил. По ночам волки вокруг шныряют. Хотите, съездим посмотреть?

В Петровых глазах огоньки азарта, в Анютиных — усталость, и в моих тоже, наверное.

— Куда ж мы поедим? — восклицает Аня. — Вы ведь выпили. И дороги размыло, не пробраться.

— Твоя правда, дочка, — Петр сдается без боя, вино дает о себе знать, он отяжелел, обмяк, Антон и вовсе клюет носом над рыбьими костями. Со вчерашнего-то не протрезвел, и опять пить приходится, до дна каждый тост, иначе не положено. — Эй, Антон! Скажи напоследок что-нибудь толковое и спать иди, не мучайся.

— Я скажу, — вздрагивает Антон, трясет головой, дремоту сгоняя, доликает остатки вина. Быстро ушла бутылочка. — Раньше наше озеро было прозрачнее зеркала. Выйдешь к причалу, умоешься, и сразу жить хочется. Но сейчас оно загажено. Рыба вверх брюхом плывет. Попав к людям, горная река грязнеет. Они портят ее. Оскверняют. А вы, дорогие гости, как река у истока. Вы еще не испорчены. Хочу выпить за то, чтобы так долго продолжалось. За чистоту.

В глазах дымовая завеса, на губах соль и пот. А я понимаю с тоской, что на самом деле нет во мне ни чистоты, ни праведности, были когда-то, да сгнули, спалил их дотла безжалостный город, вдребезги разбила проклятая взрослость. Выжженной пустошью темнеет поле иллюзий, надежд, глупой романтики юности, и цинизм ползет по нему смрадным ядом. Но ради той, чья рука сонным зверьком легла на мое колено, я готов, я должен, я буду меняться, я стану лучше, вновь стану чистым, клянусь, клянусь...

Пошатываясь, уходит Антон. Анюту в щеку клюет, а меня по волосам пятерней. Петр обреченно тянется к чаше. Анютин локоть мне в ребра.

— Хочу напомнить...

— Да плевать, — отмахиваюсь. — Пить так пить.

— Тогда не говори, что я не предупреждала, — бурчит Аня, а я ее все равно люблю, такие дела.

Лампочка с потолка моргает, огонек блуждает по рюмке. От чачи запах персиков. Поднимаем одну за братьев, за сестер — другую, третью — за красивый футбол. Я теряю счет стопкам, рассудок утекает сквозь щели в полу, густая, горькая духота, падаю в пустоту и краешком сознания не слышу, скорее, чувствую, как вздыхает Петр, и покосившийся домишко наш скрипит досками, кряхтит, с ним вместе вздыхает...

— Проснись, Антон!

Петр трясет за плечо. Очертания предметов тают, размываются.

— Наши Антоны не в форме, — улыбается Аня.

— Я чего спросить-то хотел. У тебя сигаретки не найдется?

Киваю. Выходим на улицу.

— Тыщу лет не курил, а сейчас прямо потянуло. Жене, главное, не растрезвоньте.

Пока мы пили, дождь перестал. Озеро исчезло, ускользнуло невидимкой в прохладу горной ночи. Черное небо растворилось в черной воде, огоньки дворца в густой бархатной тьме порхают светлячками.

— Спасибо, что приютили. Без вас мы бы пропали.

— Да брось, — Петр затягивается. — Уж извините за разруху. Приехали бы годика через полтора, мы бы вас приняли как подобает. Шутим вот — дворец, дворец. А он скоро и правда дворцом станет. Все этажи достроим, пляж сделаем, комнаты с панорамными окнами, балконы, каминны... Мой товарищ очень хочет оживить это место. Он и дороги прокладывает, и деньгами ссужает, если нужно кому, материалы, людей присылает. Мы любим Т. Не представляю, как еще где-то жить можно. Хотя родом я из Бакуриани, и жена там осталась. Жалко, некому завещать мое дело. Сыну неинтересно. А внука уж и не дождусь, наверное...

— Не надо так. Вы прекрасный, светлый человек, судьба не посмеет несправедливо с вами обойтись.

— Молодой ты, Антон. Веришь в лучшее.

— А как иначе? Мне кажется, только в Грузии-то и стоит в лучшее верить. Мы здесь ни одного злого слова не слышали. Никто не скандалил, не ругался, зато все Анькой восхищались, помогали советами, и так искренне, знаете, по-доброму, без задней мысли...

— Сынок, просто нам важно, чтобы вы по-настоящему Грузию полюбили. Не пришеивая ни политику, ни национальную вражду. Жить бы в мире, без конфликтов, детей да внуков воспитывать... Дай-ка еще сигаретку.

Я забыл, куда сунул пачку, шарю по куртке, и внезапно — маленький квадратик в кармане. Удивляюсь вначале, потом вспоминаю. Полыхает закатом Джвари, Кура и Арагви слились в поцелуе, белокурая девчушка с дедовых плеч смотрит вдаль, где серая молния дороги искрится блестками автомобилей и вершины призывно синеющих гор окроплены багрянцем... А я на холмике с книжицей Лермонтова, крошечной, с ладошку, внутри — стихи, и шепот портрета с обложки: спасибо, что взял, привез в родные края мои, запомни их, как я запомнил когда-то...

— В благодарность за ваше гостеприимство, — говорю, — примите, пожалуйста, скромный подарок.

Ложится книжка в руку Петра. Он листает, бережно гладит ее, и к сердцу, голову выше, произносит мечтательно:

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны, как счастье ребенка...

А я эхом:

О! Для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое...

Стекает одна звезда в этот миг, и еще, и еще, перламутровые бусины среди разлитых чернил, Петр дрожит, плачет как будто этот сильный и смелый отшельник, тяжело на плечо мое давит. Неважно, сколько дней, недель, месяцев вы знакомы, чтобы стать друзьями, и часто случайный приют служит пристанищем надежнее отчего дома. Пропасть из прожитых лет меж нами, но оба мы с одинаковым страхом ждем будущего и с одинаково робкой надеждой пытаемся удержаться в седле. Много ли полуночные ковбои просят от жизни?..

Возвращаемся во дворец. Анята дремлет.

— Знаешь, как она тебя любит? — Петр мне. — Сильнее любит, чем ты. Не потеряй ее. Слышишь? Не потеряй.

— Не потеряю, — пытаюсь говорить твердо, но язык спиралью заплелся, рот полон ваты. На боковую пора.

— Спасибо за подарок, Антоша. Добрых снов.

Петр удаляется, книжечка возле сердца. Подхватываю Аняту, по ступенькам вверх. Непроглядная темень. На ощупь иду. Стена, стена, стена, кровать. Аняту сюда, сам на соседнюю, хочу помолиться в благодарность за жизнь, великий дар, за знакомство с Петром, за честь его и великодушие, но отключаюсь, не успев навести порядок в мыслях, падаю в тихие объятия забвения.

Утро. Кавардак в голове, пожар в животе. Но вставать надо. Собираемся, кофейку на дорожку, Антону денежку за ночлег, и вскоре вновь ухабы. Петр подвозит, хоть ему тоже несладко. Одна Петрова таратайка в порядке, бодро скачет вверх-вниз, до нас ей никакого дела. Оборачиваюсь, молча прощаюсь с дворцом. Поник он, съезжился понуро под дождиком. И мне жаль, невыносимо жаль этого калеку, изломанного, неуклюжего бедолагу, спрятать бы его, укрыть от непогоды и бедствий... Но дальше мчит таратайка, и мы молчим на обратном пути.

Моя рука в Анятиной. А в мыслях — как же мало в мире уголков, похожих на Т., не изгаженных траурной поступью века машин. И ведь еще меньше будет: как противиться цивилизации, ее безукоризненно точным законам? Логика прогресса несокрушима. Но если нельзя изменить что-то — не попробовать ли смириться? Смирился же Петр, возводящий дворец среди волков и медведей. Впусти вибрации мира, ощути его гармонию и стань... Счастлив? Ну, хотя бы спокоен.

На вершине очередного холма таратайка глохнет. Чертыхается Петр. Придется вылезать, копаться в моторе. Анята уснула, я смотрю в окно. После серии серпантинных виражей не поймешь, где начало, где конец пути. Серое марево всюду, шелест ветра в окна, по радио джаз... И в бесформенной дальней дымке чудятся мне контуры двух фигур — грузного мужчины в тельняшке и худого парнишки, пьяных до неприличия, которые стояли обнявшись, чтоб не упасть, в ночи, расшитой серебристым узором падающих звезд, стояли и видели космос, а из космоса их видел Бог.

Сейчас июль, однако осень уже крадется тихонько на мягких лапах. Нас ждет Батуми, праздник вечного тепла, где золотом плещет лето сквозь пальмы, витаминки солнца в запотевшей бутылке, прибор полирует камни, и галька в седине морской пены. А дальше — обратно, в Москву. Домой.

Сколько у человека может быть домов? Первый — где родился и вырос. Другой — где семья, дети. Третий — где, вероятно, захочется начать новую жизнь, если прежняя треснет. Тот, наконец, где придется окончить свои дни. Навечно часть из них в памяти. Часть рассыплется прахом, как растоптанный песчаный замок. Не знаю, много ли домов ждет меня впереди. Обрадуются ли мне там? Приютят? Прогонят, шипя в спину?..

Лишь одно знаю твердо. В доме, что мы оставили за спиной, для меня всегда будет гореть свет.

СВОЙСТВО СОЛНЦА

Девочке с воздушными шарами

Я выхожу воспитывать шаги
по твердым улицам,
учиться слушать:
поют дома архитектурный гимн,
поют, как грушевых деревьев груши.

Я выхожу воспитывать глаза
по облакам,
их нежности учиться —
сорвется с солнца белая слеза,
слегка задерживаясь на ресницах...

Так возникает розовый пожар —
горит граница
смерти и бессмертья.
А жизнь, она — дежурный дирижабль,
зависимый от направленья ветра.

О ВЕСНЕ

Живем, не удивляясь тараканам,
словам неразговорчивого крана,
и с пепельницы стряхиваем снег
к пустому разговору о весне,

но к полному молчанию свободы
дождей, пока их выпишут к апрелю —
так капельницы катятся в больницах.

И прыгают афганские синицы
по веткам однокомнатных деревьев.

И жизнь у нас единственная вроде...

Сойти с ума — приблизиться к природе.

Амангельды Азаматович Рахметов родился в 1995 году в городе Уральске. Окончил Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Принимал участие в областном совещании молодых литераторов (г. Воронеж). Публиковался в журналах «Подъем», «Простор», «Молоко», «Камертон». В 2019 году издал книгу «Почти». Живет в городе Шымкенте.

ХУДОЖНИК

Все происходит, как художник
рисует время на запястьях,
а вся оставшаяся
кожа —
для кочевого постоянства.

Спина — бескрайние устюрты,
и путь назначен — позвоночник,
где, кроме ног,
опухнут юрты
у каждой позвоночной кочки.

И не умрет степная птица —
еще не выдуманы стрелы —
но выгибаются
ключицы,
как рукоять тугого тела.

ОБЛАКА ГОВОРИЛИ...

Мы меняем души, не тела...
Н. Гумилев

Еще не дождь — предчувствие дождя.
До поцелуя
долгие прогулки
от шумных улиц
к тихим переулкам
и снова к шуму, к площади вождя.

И ждать твое присутствие не странно,
еще не хочется
так сильно жить —
смотреть на время,
как оно дрожит
магнитной тягой стрелки Адрианова.

Еще не звук, не музыка, всего лишь
односторонних знаков
разговор,
и я еще —
не настоящий вор
твоих занятий — в жизни не догонишь...

Но грянет дождь индийскими слонами,
и будет топот
облаком сплошным,

и наши тени
тенью завершит,
как губы завершаются словами!

Уже не дождь, но запах молока
и книги недочитанной,
с негромкой
закладкой между огненными
строками
столпа о памяти, а память — облака.

О ПРОСТРАНСТВЕ

Взгляни на угол под другим углом,
каким-то чудом
чудо происходит.
Углом оказывается твой дом,
и ты — как колокольчики на входе.

Колелешься, но создаешь уют
незванным зрением,
непьяным пьяницей.
Так видят сны и больше придают
значенья снам, что с четверга на пятницу.

Так птицы крутят против часовой —
охранники свободы
заклучают
чужое слово по своей кривой,
касательной к кольцу — кольцу с ключами.

Ключи утеряны. И кольца на-
деваются на безымянный ради
любви.
Становится страной — страна,
прекрасная страна чужого взгляда.

В ОЖИДАНИИ ВРАЧА

На прохладной и черной земле,
как деревьям по кольцам,
по слухам,
нам исполнилась тысяча лет,
прежде чем мы проснулись от стука
долгожданных гостей из других
измерений.

Как свет городских
фонарей: мы проснулись впервые
в рыбьем веке, как рыба икра —
или длинные тени преград
наших первых свиданий есть вывих
наших глаз,
у судьбы — не суставы.

Мы проснулись от стука, и встали,
и пустили гостей измерений.

Я спросил одного:
— Вы не врач?
— Нет, — ответил он скромно, — не врач,
я учитель пения.

СОНЕТ

Памяти Дамира Рыскулова

Ты говорил о приближении конца,
когда два зеркала, два хрупких близнеца,
тебя в свое пускали отражение.
Так появлялись трещины в одном,

И отражало смерти приближение
другое зеркало — они вдвоем
твою судьбу, как лошадь за поводья,
тянули от и в сторону свободы.

Вот пролетела временная птица,
вот временная рыба проплыла...
Вот горизонт и горы, как белье.

Так нарисуй на камне два крыла
и брось его. Пока не приземлится,
пусть летает. Каждому свое!

Иван КАТКОВ

МАНЬЯК

Повесть

Синие вспышки света потревожили сон тринадцатилетнего Максима. Мальчик вскочил с кровати, бросился к окну и приоткрыл шторы. В узком просвете он увидел ночной кортеж.

Милицейский уазик с подмигивающим цилиндром на крыше, за ним грузный серый автозак, и замыкала колонну постовая «Жигули» — «шестерка». Машины двигались по узкой заснеженной улице, с трудом протискиваясь меж блочных пятиэтажек. Из темноты зарешеченного окошка автозака мелькнуло чье-то лицо. Максим стремительно задернул шторы и в страхе опустил на пол. Выждав время, мальчик осторожно поднялся. Шлепая босыми ногами, пробежал по темному коридору и заглянул в зал к родителям. Отец был на дежурстве, мама дремала на диване перед работающим телевизором. На экране появилась бодрая реклама вафель «Куку-руку». Прокравшись на цыпочках, Максим сел в кресло, скрестив ноги по-турецки. Кресло предательски закрипело.

— Максим, — ворочаясь, сонно пробормотала мама, — ну-ка марш спать. Немедленно. Завтра в школу проспишь.

— Мам, там это...

— Ну что еще?

— Уголовников возят опять.

— Ну что ты как маленький, ей-богу. Испугался, посмотрите на него. Вот завтра проспишь, я все отцу расскажу.

— Ладно, иду, — обиженно проронил мальчик, встал с кресла и вышел, прикрыв за собой дверь.

В комнате он включил настенный ночник в виде стеклянных ладоней, бережно обнимающих тусклую лампочку, с опаской глянул в сторону окна. Прилег на уже успешную остыть кровать, накрылся одеялом и вскоре уснул.

* * *

В Ивдель семья Макаровых переехала полгода назад. В крохотный городок на севере Урала отца, подполковника вооруженных сил, перевели по службе.

Иван Олегович Катков родился в 1986 году в Казахстане. Учился в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского на филологическом факультете. Публиковался в журналах «Нева» (Санкт-Петербург), «Урал» (Екатеринбург), «Слово/Word» (Нью-Йорк), «День литературы» (Москва), «Вокзал» (Санкт-Петербург), «Гостиная» (Филадельфия, США), «Идель» (Казань), «Клаузура» (Москва), «Наше поколение» (Кишинев), «Пролог», (Москва), «Русский переплет» (Москва), «Великороссь» (Москва), «Сетевая словесность» (Екатеринбург), «Современная литература мира», «Ликбез» (Барнаул), «Петровский мост» (Липецк), «Нижний Новгород», «Земляки» (Нижний Новгород) и др. Автор книги рассказов «Еще один день» (2017). Живет в г. Дзержинске Нижегородской области.

Виктор Павлович работал в военкомате, был начальником четвертого отделения, отвечающего за призыв. Мать устроилась смотрителем в краеведческий музей, который к тому же был вечно на реставрации.

Наталье Сергеевне в Ивделе не нравилось. «Глухомань» — вполне справедливо называла она местечко с гидролизным заводом с одной стороны, колонией особого режима с другой и скучным Домом культуры с романтическим названием «Северный маяк» (в народе — «Северный маньяк») в центре.

Подполковнику привередничать было не по уставу, а Максима никто и не спрашивал. Тем более что мальчик быстро освоился.

Целыми днями он пропадал на улице.

Стояла середина августа, до школы оставалось еще целых две недели. Максим осмотрел местные достопримечательности. Скалы «Три богатыря», как называли их ивдельчане. Три каменных громадины, наполовину спрятавшиеся в облаках и омываемые шипящей, словно удав, горной рекой. Максим коснулся воды рукой, она была обжигающе холодной.

Гулял по кедровой роще. Перепачкавшись в смоле, набил полный рюкзак кедровыми шишками. Вечером мама отварила их в большой эмалированной кастрюле.

Подкралось первое сентября. Максим хоть и был трусоват, однако новой школы совсем не боялся. Макаровы часто переезжали, быть новеньким мальчику приходилось не впервой. Максим не заискивал перед учителями и одноклассниками, но контакт находил быстро. Уже через каких-то пару-тройку дней у него появился лучший друг. Сосед по парте Саня Перепелкин. Сашка, как оказалось, еще и жил неподалеку. Его дом располагался через дорогу, напротив овощного киоска.

Лихо промчалась осень, пришла зима. Городок сковали крепкие уральские морозы...

* * *

Утром мама готовила омлет. Она носила очки в тонкой позолоченной оправе, была стройная, худощавая, с пышными каштановыми волосами.

Максим доел свою порцию, когда вернулся с дежурства отец. Высокий, голубоглазый, с горящими зимним румянцем щеками, успевшими проклянуться легкой щетиной за время дежурства.

Тяжелый бушлат с заснеженным воротником он сбросил в коридоре, форму с тщательно отглаженными стрелками на брюках повесил на плечики в шкаф.

— Теплее одевайся, — сказал подполковник сыну перед тем, как отправиться в душ. Виктор Павлович был по-военному немногословен.

Через мгновение из ванной стали доноситься звуки плещущейся воды и бодрые пофыркивания.

Максим застегнул пуховик, влез в дутые на липучках сапоги — «аляски». Мама намотала ему шарф до самого носа. Максим стал похож на юного полярника. Закинув за плечи рюкзак, он вышел из дома.

Стальная дверь подъезда заледенела, Максиму с трудом удалось толкнуть ее. Редкие фонари освещали глухой двор, густо дымила труба котельной. Сосед сверху, дядя Коля Соловьев, глухо матерясь, пытался завести свой неказистый, тронутый ржавчиной узик — «буханку». Машина чавкала, кашляла и тут же глохла.

Похрустывая снегом, школьник шел по улице, стараясь дышать неглубоко, иначе от ледяного воздуха легкие мгновенно пронзала боль, как у заядлого курильщика, лишнего утренней сигареты.

Максим вышел со двора. На остановке рядом с остовом сгоревшего когда-то музыкального училища стояли два «Икаруса» с размашистой надписью «Газпром» на

голубых бортах. В салоны автобусов неспешно загружались сонные пассажиры. Газ-промовцы — городская элита, где даже самые низовые сотрудники зарабатывали в два раза больше подполковника Макарова.

Школьник вошел в подъезд Сашки Перепелкина. Захлопнулась дверь на тугой пружине. Поднялся на третий этаж. Из квартиры одноклассника воняло так, что слышно было даже на лестничной площадке.

Макаров позвонил в обитую коричневым дерматином дверь.

Открыла Санькина мама, смуглая и такая же пухлощекая, как и Сашка.

— Проходи, Максим, раздевайся, — широко зевая, сказала она.

— Спасибо, тетя Наташ, но мы в школу опаздываем, — шагнув в тесную прихожую, степенно ответил Максим и спрятал нос глубже в шарф.

— Ух ты, какие мы серьезные, — поправила фланелевый халат Перепелкина и, шаркая тапочками по нечистому, местами вздувшемуся линолеуму, скрылась за дверью туалета.

— Максон, я ща, — выкрикнул из кухни Сашка, заталкивая в рот бутерброд с маслом и запивая из огромного, размером с голову, бокала.

Одноклассник сидел на высоком табурете и болтал ногами. Максиму хотелось поскорее выбежать из квартиры. От удушливого запаха спирта и кошачьей мочи стала кружиться голова. Шесть пластиковых канистр со спиртом выстроились в коридоре вдоль стены. На гидролизном заводе, где трудился Санькин отчим, вчера выдали зарплату. «Живым товаром».

Спирт у работяг гидролизного за копейки скупали местные бандиты. Потом, уже по другим тарифам, «живой товар» поступал на зону. Занималась этим группировка «комаровских». Заправлял всем Слава Комар, местный авторитет. Хитрый, коварный, расчетливый и жестокий. Еще его называли Дедом. Комару перевалило за пятьдесят, возраст для бандитской «профессии» немислимый.

Пока Сашка возился со своим розовым, девчачьим пуховиком (перешел по наследству от старшей сестры), о ноги Макса терлись две серые кошки. У одной был надломлен кончик хвоста, похожий на кочергу.

— Пока, ма, — на прощание бросил Санька, и они вышли из квартиры.

Только в подъезде Макарову удалось вдохнуть свободней.

— Смотри, что я у отчима затырил, — шурша курткой, похвастался Санька в плохо освещенном подъезде и вынул из кармана мятую пачку сигарет. — «Родопи», — гордо сообщил друг, — баская вещь, ток крепкая.

Максим равнодушно кивнул. Сам он не курил, хотя одноклассники уже всю дымили.

Утром дожидаться автобуса было невозможно. Булькающий, как дьявольский котел Гингема, раскачивающийся на ухабах ЛиАЗ ходил, дай бог, раз в час.

Ребята отправились пешком. На морозе у Максима слипались ресницы. Мохеровый шарф покрылся инеем, ноги одеревенели. Зато привыкшему Саньке было все ни почем. На макушке подрагивала зеленая шапка — «петушок» с нелепой кисточкой, уши открыты, энергичная походка. Он еще и умудрялся напевать на ходу: «Мама, все о'кей, ну на кой нам эти Ю-Эс-Эй?!».

Наконец добрались до школы. К самому крыльцу подкатил желтый пазик. Из него шумно выбегали дети, живущие в окрестных поселках: Гидролизный, Лесхоз, Першино...

На входе школьников поджидала тучная вахтерша с седым пушком над верхней губой. Пыхтя, как черепановский паровоз, она грозно требовала предъявить сменную обувь.

У раздевалки Максима и Саньку встретили одноклассники — Олег Салаев, Вася Пьянков и Тимур Ларин.

Салаев был неформальным лидером. Красавчик, из богатой семьи работника Газпрома. Типичный провинциальный мажор. Избалованный, хвастливый, он кичился тем, что гулял с девчонкой старше него аж на целых два года. За глаза его называли Доном Жопеном.

Лопоухий, малиновощекий живчик Ларин и тихоня Пьянков были его адъютантами. Пьянков, кстати, по трагичной иронии судьбы рос в семье алкашей. Недавно освободившийся отец его, обменивая домашнюю утварь на спирт, беспробудно пил, да и мать, санитарка в больнице, от благоверного старалась не отставать. Мальчишка часто ночевал у бабушки, у которой был частный домишко недалеко от железной дороги.

Ребята пожали руки.

— Пацаны, у нас че первым? — боднув головой, смахнул со лба длинную челку Салаев.

— Русский, — неохотно ответил Санька, скосив взгляд на доску с расписанием, возле которого шумно толпилась малышня.

— Погнали до котелки, покурим?

— А успеем? — буркнул Пьянков.

— Да не с..., Марго простит.

Самый короткий путь до котельной пролегал через буфет. Всего-то нужно было пробраться к запасному выходу, который в течение учебного дня никогда не закрывался. Но предложение было рискованным, потому как подоконники около буфета оккупировались шпаной из младшего «городка». От них можно было запросто получить по шее, а то и лишиться карманных денег.

«Городком» называли группировку малолеток, которая «гоняла за свой район», периодически выезжая штурмовать пацанов из соседних поселков. Особенно «городок» не любил ребят из наиболее отдаленного от Ивделя поселка Луневск. Драки с ними были особенно жестокими. Младший «городок» состоял из школьников девярых—одиннадцатых классов. Старший — из выпускников, которые затем вливались в уже серьезную группировку. Чаще всего к авторитетному Комару.

Не надев куртки, одноклассники помчались к главному входу, едва не поскользываясь на мокром полу в фойе.

— Без сменки обратно не впущу, — прокричала вслед вахтерша.

Смеясь, ребята показали ей средний палец.

— Ну, бандиты, — погрозила старуха сразу двумя пухлыми кулаками, — я вот вам!

На приоткрытой металлической двери котельной белой краской была коряво нарисована пацифика. В тесном помещении стоял прелый запах. От кирпичных стен с толстым слоем наледи валил пар. Санька Перепелкин и Олег Салаев взгромоздились на широкую, утробно гудящую трубу с мягкой гидроизоляцией. Макаров, Пьянков и Ларин стояли рядом.

— Покури, согреешься, — Пьянков добродушно протянул Максиму тлеющую сигарету, огромную в его коротких, толстых пальцах.

— Да ну, — отмахнулся Максим, — не охота.

— Отвали от человека, Васек, — заступился Санька, осторожно затягиваясь преступно нажитой «Родопи».

Из школы слабо донесся звонок на урок.

— Кстати, в курсе? — сказал Ларин, — сегодня к нам новенькая придет.

— Да ладно, — оживился Дон Жопен, — симпотная?

— Я-то откуда знаю. Придем — увидим.

— Да стопудняк стремная. Откуда хоть она?

— Вроде из Свердловска, — пожал плечами Ларин. — И чего только ее в нашу глушь занесло...

— Ладно, парни, надо двигать, — Салаев спрыгнул с теплой трубы и швырнул окурок в кучу хлама в углу.

— Зажевать есть че у кого? — спросил Санька.

Салаев вытянул из джинсов упаковку мятного «Орбита» и отсчитал по две подушечки в каждую протянутую ладонь.

Постучав, Максим приоткрыл дверь:

— Можно?

— Пулей, — прошипела Маргарита Николаевна, увидев в дверях раскрасневшиеся лица опоздавших. И беззлобно, вполголоса добавила: — Разгильдяи.

Ребята прошмыгнули внутрь и расселись по своим местам.

Класс знакомился с новенькой.

Худенькая девочка в джинсовом комбинезоне и белой толстовке с капюшоном стояла у доски, смущенно глядя в пол и хлопая длинными, пушистыми ресницами. У нее были заплетенные в косу рыжие волосы и круглое, кукольное личико с едва заметными веснушками. В ушах блестели золотые сережки — «гвоздики».

Маргарита Николаевна мягко положила ладонь на ее хрупкое плечо:

— ...хорошо, Олесь, присаживайся за вторую парту, к Варваре. А с ребятами познакомись на перемене.

Максим не сводил с новенькой глаз. Он сидел на соседнем ряду и любовался ее профилем. Курносый носик, длинная тонкая шея, богатая косища, ниспадающая ниже спинки стула. Максим представил, как возьмет ее за руку, коснется волос, поцелует в пухлую щеку и произнесет что-то вроде: «Никого не бойся. Я сам сто раз был новеньким, это не страшно. А если кто вдруг обидит — скажи мне, я разберусь с любым».

Когда Олеся ловила его взгляд, Макаров смущенно отворачивался к доске, где Маргарита Николаевна рассказывала о написании неправильных глаголов.

— Максим, — вдруг прервалась учительница.

— Да, Маргарита Николаевна, — встрепенулся Макаров.

— В облаках витаем?

— Да я так... задумался... — покраснел Максим, заметив, что новенькая смотрит на него с улыбкой.

— Ну вот что, мыслитель, — поправила очки классный руководитель, — давай-ка спускайся с небес, дуй на первый этаж, налей ведро воды и намочи тряпку, мне с доски стереть нечем. Справишься, Спиноза?

По классу прокатились девичьи смешки.

— Справлюсь, — буркнул Максим.

Он поднялся, злобно схватил ведро и вышел.

«Так опозориться перед новенькой, — сокрушенно думал Макаров, шагая по длинному коридору, — теперь будет считать меня идиотом».

Сбежал по лестнице, хватаясь за перила, в которые пару лет назад кто-то воткнул обломок лезвия. Не повезло второкласснику, который, спускаясь, глубоко распорол себе ладонь. Наложили швы. Были повреждены сухожилия. Впоследствии школьник не мог сжать кисть в кулак. Теперь каждое утро по распоряжению директора дежурные внимательно осматривали перила на предмет повторной диверсии.

Максим промчался по холлу и оказался в небольшом закутке около столовой. К стене с отбитым, точно обстрелянным из дробовика, кафелем крепились шесть богатырских умывальников эпохи застоя.

Рядом на подоконнике сидели трое и курили в раскрытую форточку. Подойдя ближе, Максим остановился. В одном из ребят он узнал десятиклассника Рому Чиндяйкина. Рассказывали, что Чиндяйкин был не последним человеком в младшем «город-

ке». Низкорослый, жилистый, с колким взглядом сорокалетнего урки, он носил коричневую дубленку на искусственном меху, черную вязаную шапку подворачивал и клал на макушку, словно тубетейку.

Затягиваясь и харкая на пол, пацаны о чем-то жарко спорили. Они не обращали внимания на тщедушного, стриженного «под челочку» шестиклассника с пустым ведром в руке.

Максим боязливо шагнул к умывальнику и отвернул вентиль. Загудев, кран дрогнул и выплюнул поток ржавой воды. Брызги разлетелись в разные стороны.

— Э, слышь, аккуратней там! — крикнул Чиндяйкин, отряхивая спортивки.

Он выбросил сигарету в форточку и слез с подоконника. Максим отступил, не решаясь поднять взгляда.

— Дай сюда, — юный бандит выхватил из рук Макарова ведро, подставил под носик крана, убавил напор воды, — всему вас учить надо, салабоны.

На большой перемене, рассевшись на корточках в круг, школьники играли в «кэпсы». Круглые, из плотного ламинированного картона фишки — «кэпсы» собирались со всех участников и складывались в стопку, картинкой вниз. Затем каждый, в порядке очереди, разбивал колоду массивной шайбой. «Кэпсы», которые падали картинкой вверх, переходили к игроку. Остальные фишки снова отправлялись в колоду. Сыграли на «дракошу», право первого хода досталось Салаеву.

— Ну че, пацаны, — потирал ладони он, — сейчас я вас сделаю, готовьтесь.

— Ага, щас, — усмехнулся Санька, удобней устраиваясь на рюкзаке, в котором что-то хрустнуло.

Салаеву везло, а Пьянков продул вчистую в первом же раунде. Проигравший выбыл из круга, школьники сдвинулись плотнее друг к другу. Проныра Ларин попытался спрятать фишку, за что был сразу дисквалифицирован. Максим играл без энтузиазма. Он часто отвлекался на разговор девчонок, стоящих неподалеку. Одноклассницы толпились рядом с новенькой и наперебой засыпали ее вопросами. Толстая Варя Батт достала из сумки свою девичью анкету, обклеенную вкладышами от жвачки «Love is...», и попросила Олесю ее заполнить. Та нехотя согласилась.

— Ура, есть! — выкрикнул Максим.

— Чего — ура-то, придурок? Прос..л ты, Макс, — сказал Салаев, жадно сгребая выигранные «кэпсы».

После уроков, минуя традиционный снежный обстрел у дверей школы, Максим и Санька шагали на автобусную остановку. Салаева встречала на машине мать. Ларин с Пьянковым важно садились в тонированную девятую «ладу» вслед за другом. Им нравилось ловить на себе завистливые взгляды одноклассников, переминающихся от холода с ноги на ногу.

Зловеще скрежеща, к остановке подплывал ЛиАЗ.

У Максима было странное хобби. По форме переднего бампера, фар и радиаторной решетки он определял выражение «лица» машины. У шестых «Жигулей» «лицо» было грустное и задумчивое. У «семерки» — с лукавым прищуром. У двадцать четвертой «Волги» — насмешливое, а у нерасторопного ЛиАЗа — одновременно виноватое и удивленное.

Половинки дверей автобуса с шипением разъехались, и школьники поднялись на просторную заднюю площадку салона.

Ехать сзади было особым кайфом. Держась за поручни, школьники подпрыгивали, как на батуте, в такт раскачивающейся корме автобуса. Сквозь булькающий шум мотора Максим расслышал разговор двух женщин в одинаковых ондатровых шапках и с объемистыми клетчатými сумками челночниц. Они расположились на заднем сиденье, лицом к Максиму и Саньке.

— Маньяк, слыхала, в городе? — говорила сидящая с краю.
 — Да ну, — качала головой соседка.
 — На самом деле. Мне зять рассказывал. Маньяк этот с зоны убежал. На гидролизном уже труп девочки нашли. Расчлененный, — тише добавила она.

Санька прислушался, даже оголил ухо, приподнимая вязаную шапочку. Рядом сидел парень в меховой кепке и скреб ногтем по заледенелому окну. Он тоже глянул в сторону женщин.

— Кошмар какой! Это что ж, теперь из дому не выйти?
 — Да кому мы нужны, старые калоши. Детей жалко...

* * *

За ужином Макс рассказал родителям об услышанном.

— Ой, да тут полгорода маньяков, ешь давай, — сказала мама, щедро наваливая в тарелку картошку-пюре с отварными сардельками.

— Ты больше дур всяких слушай, — реагировал отец, — уроки сделал?
 — Да сделал-сделал, — промычал Максим с набитым ртом.

Мать с отцом заговорили о чем-то своем, скучном и неинтересном. А Максим думал о сбежавшем из тюрьмы кровожадном убийце. Какой он, этот маньяк? Высокий? Низкий? Толстый? Худой? С бородой или без? Где он скрывается? Почему его до сих пор не могут поймать? Как ему удалось сбежать из колонии? Убил охрану? Теперь после школы — сразу домой. И одному по улице больше не разгуливать, лучше с Санькой. Вдвоем не так опасно...

Смотрели взятую у отцовского сослуживца видеокассету с гнусавым переводом. Это немного отвлекло Максима от волнительных раздумий. Фильм назывался «Няньки».

«Вот бы и мне таких амбалов в охрану, чтобы все было до фонаря», — мечтал Максим.

Отец уснул на половине фильма. Он был жаворонок. Вставал около пяти утра и засыпал не позднее десяти вечера.

Мать выдернула кассету из видеоплеера и включила «Тропиканку» — любимое бразильское мыло, которое смотрели все — от сопливых школьниц до выживающих из ума пенсионеров.

Макс отправился к себе. Разделся, лег в кровать. За стеной раздавался надсадный кашель соседа.

Дядя Егор был инвалидом. Ногу, рассказывал он, ему оторвало в Афганистане, когда он задел вражескую растяжку. Жил ветеран с дочерью и зятем и совсем не выходил из квартиры.

Слышимость в панельном доме была хорошая, вдобавок рядом с кроватью Максима была сквозная розетка. Он скручивал в рожок журнал «За рулем», прикладывал к розетке и общался с ветераном. Школьник даже слышал, как шумно ворочается он на кровати и чиркает спичкой, видимо прикуривая.

— Дядь Егор, не спите?

— Нет, малой, не сплю, — покашляв, ответил сосед. — Как дела? Рассказывай. Как в школе?

— В школе вроде бы ничего, только задают много.

— Никто не обижает?

— Да нет...

— Вот и хорошо. Помнишь, как я тебя учил: никому не показывай своего страха, иначе живьем съедят.

— Я помню, дядь Егор, у меня тут другое...

— Погоди-ка, я радио убавлю.
Скрипнула кровать, ветеран чертыхнулся.
— Говори, — отозвался он через мгновение.
— Ну, в общем, новенькая у нас, — сказал Максим и замолчал.
— Нравится, что ли?
— Ну, вроде того.
— Если нравится — не б.и. Подойди и прямо в лоб скажи: «Теперь я тебя провожать буду». И все. Они любят напор и уверенность. А откажет — значит, дура набитая, и черт с ней. Зато ты точно будешь уверен, что промахнулся.

Сосед коротко выдохнул, так же как это делал отец, позволяя себе редкую стопку на выходных.

— Красивая хоть? — спросил он сдавленным голосом.
— Да, очень красивая. Самая красивая в классе.
— Ну, коли так, тогда борись, не будь тюфяком. А то глазом не моргнешь — уведут. Сосед замолчал.
— Дядь Егор, вы еще здесь? — спросил Максим, приложившись губами к самодельному рупору.
— Да куда я денусь с подводной лодки.
— Тут люди говорят, что маньяк объявился в городе.
— Люди вообще много говорят. И много не по делу.
— Так вы думаете, что это вранье? — с надеждой спросил Максим.
— Да какая разница, что я думаю. Я тебе, паря, одно скажу, — ветеран протяжно зевнул, — в твоём возрасте я вообще из дома без ножа не выходил. Полдурков отмороженных всегда с лихвой было... Ладно, малец, что-то подустал я, в сон клонит. Давай там. Конец связи.

Максим снова видел этот жуткий сон.

Он с родителями на свердловском железнодорожном вокзале. Ночь, пустующий зал ожидания. Голос в громкоговорителе изредка нарушает тишину монотонным речитативом. Родители уходят в буфет купить в дорогу воды, оставив сына следить за сумками. В зале появляется потасканного вида, плохо выбритый мужик в ватнике и засаленной драповой кепке — «босячке». От него оглушительно воняет перегаром, на губах запекшаяся кровь. Он худой и сутулый, с болезненно-серым лицом. Садится рядом на скамью и пристально смотрит на Максима. Максиму становится не по себе, но он всеми силами старается не подавать вида. Родителей все нет. Мужик ухмыляется, цокает языком, искоса смотрит. Потом забрасывает руку на спинку скамьи и чуть заметно придвигается к Максиму. Он готов закричать, бросить вещи и кинуться на поиски мамы с папой, которые почему-то решили его бросить или с ними случилось что-то страшное... Объявляют о прибытии поезда. Мужик уже совсем рядом. Максим чувствует отвратнейший, гнилой запах, страх сковывает его, он не может пошевелиться, но, к счастью, возвращается мама. Что-то пробормотав, мужик сплевывает в сторону, резко поднимается и, прихрамывая, направляется к выходу. Мама спешно хватается за сумки и берет Максима за руку. До боли сжимает.

— Идем, опоздаем, — взволнованно произносит она.
— А где папа? — спрашивает сын.
— Он нас догонит, идем.

Максим рыдает, понимая, что больше никогда не увидит отца. Мама сильнее сжимает его ладонь. Они выходят на платформу. Поезд медленно останавливается. Проводница открывает дверь тамбура. Мать едва ли не силой затаскивает мальчика в вагон.

— Он не вернется! Я знаю, он не вернется! — сквозь слезы кричит Максим и бьет ногой по стене тамбура. Раздается гул, словно они находятся внутри огромного пустого резервуара.

— Замолчи! Сейчас же! — эхом отзывается плавающий голос мамы. Она тоже начинает плакать, обхватив голову руками и сползая на корточках.

Проводница лязгает откидным полом, захлопывает дверь, поезд плавно трогается.

* * *

Город кипел слухами. Ходили разговоры еще об одной жертве. В районе элитных газпромовских новостроек нашли изнасилованную и задушенную шестнадцатилетнюю девушку. Якобы обнаружили ее на лестнице, ведущей в подвал. Появились и приметы маньяка. Высокий, на вид лет двадцати пяти-тридцати, черная шерстяная шапка на глаза, камуфлированный бушлат. Под это описание благополучно подходила большая часть мужского населения города.

Половина ивдельчан отмахивалась и крутила пальцем у виска. Посудачить в городке любили. Другая же половина, более творческая, с воображением, до того была напугана, что передвигалась по городу робкими перебежками, словно под артобстрелом.

Соседка сверху, Тамара, придыхая от волнения, рассказывала маме Максима, что на днях видела маньяка у продуктового магазина «Юбилейный».

— Вот те крест, Наташ, видела. Он это был, он, он, он. Рожа злая, глаза навывкате, пена у рта. Он в рукав мне вцепился, а я руку вырвала и бегом от него, а сама ору во все горло. А всем хоть бы хны.

— Так он же познакомиться с тобой хотел, дуреха. А глаза выпучил — так это ты его красотой своей сразила. А ты — маньяк, маньяк...

Прислушиваться к малограмотной тетке, которая до сих пор хранила на антресолях банки с заряженной «кашпировской» водой, излечивающей от всех болячек, и надеялась когда-нибудь обменять ваучеры Мавроди на деньги и сказочно разбогатеть, Наталье Сергеевне не хотелось. К тому же не было ни одной милицейской ориентировки, даже крохотной заметки в областной газете, ничего. Только слухи, сплетни и домыслы.

* * *

Тем не менее Максим по совету ветерана стал носить с собой перочинный ножик, найденный у отца в ящике с инструментами. Ножик был складной, легко умещался в кармане джинсов и включал в себя отвертку, шило, штопор, ножницы и абсолютно бесполезную пилочку для ногтей. Расправив это добро веером, он показал находку Саньке. Тот не без зависти осмотрел трофей, сложил, подбросил на ладони и хмыкнул:

— Игрушка. Таким и ребенка не напугать.

— А я пугать и не собираюсь, — обиделся Максим, — это для самообороны.

— Запыряешь пилочкой до смерти? — посмеялся он, возвращая нож. — Тогда бы уж с кухонным ходил для самообороны.

На уроке географии Максим заметил, как новенькая передала соседке по парте Варе Батт анкету. Та убрала ее в сумку. Максим хищно усмехнулся. Он знал, что на перемене обязательно добудет заветный манускрипт.

Пожилую географиню с редкими, крашенными хной кудряшками и в мятой, телесного цвета блузке никто не слушал. Казалось, что не уснуть на собственном уроке стоило ей нечеловеческих усилий. Говорила она тихо, а то и вовсе шепотом.

Пацаны рубились в «морской бой», кто-то глазел в окно, за которым крупными хлопьями падал снег. Салаев с Лариным хохотали и плевали в стену бумажными комочками из стеклянных трубок. Мишенью служила глубокая выбоина с осыпающейся извешткой. Проигравший получал горячий фофан в лоб. Девочки шушукались или прикладывали ладони к тетрадному листу, обводили контуры шариковой ручкой и пририсовывали маникюр, браслеты и кольца.

Прозвенел звонок.

Батт не расставалась со своей сумочкой ни на минуту, словно чувствовала опасность. Даже в столовой укладывала ее себе на круглые колени, обтянутые черными вязаными колготками. Максим думал о том, как в коридоре вырвет сумку из ее рук, забежит в укромное, тихое местечко под лестницей, варварски распотрошит, разбрасывая по полу бесчисленные тетрадки, ручки и прочий ученический скарб, и заполучит анкету.

Мирным путем договориться с одноклассницей было невозможно. Варя давала заполнить анкету только тем, кто был ей симпатичен. Из мальчишек в классе такая честь выпала только Дону Жопену. От посторонних глаз Батт ее тщательно оберегала.

Максим уже было потерял всякую надежду, но на физкультуре замаячил шанс исполнить задуманное.

В спортивном зале с давно не крашенными деревянными половицами играли в волейбол. Команда девочек против команды мальчишек. Остальные сачковали, отсиживаясь на длинных, вдоль стен, скамьях. Максим тоже был в компании сачков — болельщиков. Рядом сидел Салаев и о чем-то ворковал с новенькой. Даже пытался ее приобнять, но Олеся целомудренно сбрасывала нахальную руку, стараясь отсесть подальше.

«Какая же ты сволочь, Салаев, какая подлая тварь!» — шипел Макаров, до боли сжимая кулаки.

Поскрипывали резиновые подошвы кроссовок, раздавались тугие удары по мячу. Эхом разлетались крики игроков и болельщиков. Изредка слышался короткий свисток учителя физкультуры, седого, невысокого, крепко сколоченного мужичка с округлым брюшком.

Максим уллучил момент и выскользнул из зала. Он едва не подскочил от радости, когда увидел незапертую дверь в женскую раздевалку. Сердце застучало, отдавая в виски. Но как только он сделал шаг, увидел сквозь распахнутую дверь мужской раздевалки Пьянкова. Он сидел на корточках, прислонившись к стене. Уронив голову на сложенные руки, Вася рыдал, дергая плечами.

— Что случилось? — спросил Макаров.

Кисло воняло потом. На приоткрытых дверцах шкафчиков висела одежда. Сапоги и ботинки были разбросаны по полу.

— Ничего, отвали, — шмыгнул носом Пьянков, не поднимая голову.

— Да ладно тебе хныкать, Васек, — присел рядом Максим, — расскажи, что произошло-то?

— Штаны, — утирая ладонью слезы, в два слога выговорил одноклассник.

— Чего — штаны?

— Штаны я порвал, вот чего! Последние! Меня дома убьют! — вскричал Пьянков и выставил вперед ногу. — На вот, полюбуись!

Макаров увидел распоротую от щиколотки до колена штанину. Спортивки Пьянкова стали похожи на клеши моряков парусного флота.

— Ну-у, из-за такой ерунды, — усмехнулся Макаров, — ну хочешь, я тебе завтра свои принесу, у меня этих треников дома навалом.

— Засунь себе в жопу тогда свои треники!

Пьянков вскочил, стянул с себя клеши, и влез в джинсы. Широко размахнувшись, забросил скомканные штаны за шкафчики, схватил рюкзак и выбежал.

Максим чуть было не вернулся обратно в спортзал, напрочь позабыв о своем деле. Но вовремя опомнился. Оглядываясь по сторонам, вошел в женскую раздевалку. Ментально подскокил адреналин, сердце отчаянно рвалось из груди. Казалось, что сейчас кто-нибудь войдет и застанет его на месте преступления. И уж тогда-то он никак не отмажется. Нырив в шкафчики девчонок, через некоторое время он отыскал нужный. Дрожащей, влажной от пота рукой дернул молнию на сумке Вари, порылся в учебниках и выхватил толстую тетрадь. Метнулся в мужскую раздевалку и спрятал краденое в своем рюкзаке.

На последнем уроке Макаров еле сдерживался, чтобы не раскрыть анкету.

После звонка оравы школьников выскакивали из кабинетов и устремлялись по лестнице вниз, точно снежная лавина, соскальзывающая с крутого горного склона.

Мимо, заложив сигарету за ухо, прошел Рома Чиндяйкин. За ним следовала его свита из пяти человек. Рома улыбнулся и подмигнул Макарову. Макаров осторожно кивнул в ответ.

В фойе, пробираясь сквозь шумную толпу, к Максиму подошел Пьянков и отвел его в сторону, где было тише.

— Не говори никому, что в раздевалке видел... Ладно? — он хмуро протянул ладонь.

— Лады, все между нами, — в ответ пожал руку Максим.

— Спасибо, — Вася хотел было уйти, но замешкался и повернулся. — А хочешь, поехали с нами на машине, с олеговской мамой. Думаю, она не будет против.

— Да не, Васек, не надо. Мы уж сами как-нибудь.

Пьянков поплелся к выходу. Он был невысокий, вдобавок сутулился. Лямки рюкзака мохрились и сползали с покатых плеч.

Максиму было его жаль.

* * *

Убили четырех милиционеров. Новость в мгновение разлетелась по городу. На конспиративной квартире их расстреляли из автомата. Поговаривали, что у ментов были какие-то дела с «комаровскими», якобы стражи порядка имели свою долю от продажи спирта в ивдельскую зону. Пули искромсали тела милиционеров, у одного оказалось отстрелено ухо. Вся квартира была залита кровью, по полу были разбросаны двойные, скрученные изоляцией рожки. Санька видел, как из подъезда в каких-то длинных черных то ли сумках, то ли мешках выносили убитых. Это произошло в доме напротив. Поглазеть сбежался весь район. Бабушки, замотанные в пуховые шали до самых глаз, крестились и охали, родители отводили детей подальше.

Ужинали молча. Мать была не в духе. Она качала головой и тяжело вздыхала. Пару раз прикрикнула на Максима:

— Сядь ровно! Где твои локти?! Не чавкай, как свинья!

Виктор Павлович был спокоен и невозмутим. Но мать это еще больше распалило. После ужина Максима отправили в зал и велели сделать громче звук телевизора. А сами плотно закрыли дверь в кухню.

Значит, будут ругаться, понял Максим.

Как ни велико было желание почитать краденую анкету, школьник решил оттянуть сладостный момент до позднего вечера. А заодно и проверить свою силу воли. Голоса родителей слышались из кухни все отчетливей. Мать то визгливо вскрикивала, то монотонно бубнила. Отец отзывался кратко и сдержанно.

— ...Чувствую себя здесь как в ссылке! Завез к черту на кулички, в дыру, Богом забытую. Вон погляди, здесь уже и в людей стреляют! Из дома выйти страшно! — каким-то не своим, плаксивым голосом причитала Наталья Сергеевна.

— Сейчас везде так, время такое, — звучал в ответ бархатистый отцовский бас.
— Везде, да не везде. Сам же говорил: чем дальше от центра, тем больше бардака.
А здесь вообще уголовники по улицам разгуливают.

— Где ты их видела-то?
— А ты глаза разуй! Вот отсидел он срок, предположим, дома никто не ждет, ехать некуда, куда деваться? Конечно, оставаться в этой чертовой деревне!

— Не ори ты, пацана разбудишь...

— Тебе просто на нас наплевать!

Отец шумно вздохнул.

— С твоей-то головой давно бы в бизнес пошел, — продолжала наступать мама, — вон тот же Короленко, у него образование восемь классов, дебил дебилом, а зато свой ларек. Работает на себя.

— Я не торгаш, я офицер.

— Да? А кому от этого легче?! — взорвалась мать. — Плевала на тебя твоя армия и твое государство! Перебиваемся с копейки на копейку. Каждый раз одно и то же! Разве это жизнь?! Как цыгане, по стране мотаемся. Из Новгорода в Таджикистан, из Таджикистана — в Казахстан, из Казахстана — на Урал. Всю жизнь на перекладных! Сил моих больше нет! Служба эта твоя проклятая! Хочу, наконец, нормальной жизни! Хочу свое гнездо!

Мать начала плакать. Отец что-то тихо говорил, пытаясь ее успокоить.

Максим вышел из зала и отправился в свою комнату. Сосед за стеной пытался гневно перекричать радио, которое транслировало какую-то политическую передачу. Макарову было не до него. Он вытащил из рюкзака анкету, погасил общий свет и включил ночник. Подмяв под себя одеяло, уселся на кровать.

На двух первых страницах старательной девичьей рукой были написаны вопросы, каждый из которых Варя выделила фломастерами.

С нетерпением перелистав страницы, Максим отыскал нужную.

У Олеси оказался мелкий, семяющий почерк со множеством закорючек и завитушек, буквы чуть скошены влево. От бумаги пахло духами. Максим приложил тетрадь к носу и втянул сладкий аромат. В голове затуманилось, в паху стало щекотно и горячо. Он откинулся на подушку.

— Козлы! Козлы! — вдруг закричал раздосадованный ветеран. — Когда же вы все, падлы, передохнете! Такую державу раз...или, сатрапы! Дай мне волю, я бы вам всем яйца пооткручивал.

Максим поднялся и снова взял в руки анкету:

Та-а-а-к, значит, родилась двадцатого февраля... Любимая музыка: «Руки вверх», «Отпетые мошенники», «Стрелки»... ничего интересного, идем дальше. Любимый цвет — зеленый, любимая передача — «Звездный час». Ну и бестолочь же эта Батт, не могла придумать вопросы поинтересней. Любимое блюдо, бла-бла-бла... Нравится ли кто-нибудь из класса? Его бросило в жар. Максим прочел строчку ниже:

«Секрет».

«Вот оно, — подумал Макаров, — значит, кто-то все-таки нравится. Может быть, это я?» Максиму захотелось выкрикнуть что-нибудь радостное.

— Что делать — что делать? Хрен муравью приделать — вот что делать! — не унимался сосед.

Максим еще раз пробежался по страницам, снова вдохнул пьянящий аромат. Ему хотелось запомнить этот запах.

Родители вроде бы помирились. Они посмеивались в зале под комедию с Луи де Фюнесом, будто и не ругались вовсе.

Сосед за стеной притих, а Максим еще долго не мог уснуть. Он был приятно взволнован. Ворочался с боку на бок, обнимал подушку, которая тоже, казалось, пахла духами Олеси.

* * *

В воскресенье утром отец отправился на дежурство. Ближе к одиннадцати мама стала собирать ему обед. Голубцы в баночке, плотно обернутой полотенцем, чтобы дольше не остывали, термос с кофе и пирожки с луком и яйцом.

Наспех убрал «Денди» в рюкзак, Максим убежал к Салаеву за новыми картриджами. У Олега была более крутая приставка — шестнадцатибитная «Супернинтендо». А восьмибитную «Денди» он подарил своему младшему брату-дошкольнику.

Родители не позволяли Максиму играть дома, боясь, что он «спалит телевизор». Ему приходилось делать это тайно, после школы, когда все были на работе. Но однажды его застала мать. Отругав сына, она выдернула из приставки блок питания и надежно спрятала, соврав, что теперь будет носить его с собой на работу.

Поэтому Максим с нетерпением ждал воскресного дежурства отца, чтобы отправиться к нему в военкомат и вволю наиграться на казенной «Чайке».

«Денди» Максиму подарили прошлым летом, когда он гостил у бабушки в деревне. Он нетерпеливо сорвал пленку с коробки, затем с противным пенопластовым скрипом достал из ячеек приставку, блок питания, два джойстика и световой пистолет.

Побросав все дела, бабка с дедом расселись рядышком на табуретах и дивились тому, как лихо внучок стреляет из черного «кольта» по уткам.

— Вот так чудо техники, — качал седой головой дедушка, подкручивая желтые от табака усы. — А ты, это, попробуй-ка в собаку разок пальни, — озорно посмеивался он, когда на экране черно-белого «Рубина» выскакивал из кустов довольный пес с подстреленной уткой в лапе.

— Ты что городишь, старый черт, — стыдила бабушка, — в собаку нельзя, она друг.

— ...Максим, ну где ты ходишь, остынет же всё! — сказала Наталья Сергеевна, когда запыхавшийся, краснощекий сын вбежал в коридор. Карманы его пуховика были набиты картриджами в оранжевых и желтых футлярах: «Бателтодс энд Дабл Драгон», «Червяк Джим», «Аладдин», долгожданные третьи «Черепашки», «Футбольная лига», чтобы сразиться с отцом один на один...

Макаров просунул руки сквозь тесные лямки рюкзака, джойстики внутри стукнулись о пластиковый корпус приставки.

— И смотри у меня, чтобы дома был не позднее четырех. Понятно? — мама протянула ему холщовую сумку с едой, поправила съезжающую на глаза шапку.

— Да понятно, понятно. Ну все, мам, я погнал, а то времени мало.

Военкомат находился в пятнадцати минутах ходьбы.

В воскресное утро на улице было совсем мало людей. Ярко светило солнце. Морозец стоял крепкий, но не такой лютый, как на прошлой неделе.

Школьник мчался по хрусткому снегу, сокращая путь дворами. И вдруг, обегая хоккейную «коробку», он увидел Его.

Мужчина в черной вязаной шапке и камуфлированном бушлате угрюмо сидел на корточках посреди заснеженной детской площадки и стряхивал пепел сигареты. Вокруг, как назло, не было ни души. Страх парализовал Максима. Он встал как вкопанный метрах в тридцати.

«Маньяк, маньяк, маньяк, маньяк!» — застучало в голове.

Затряслись колени, пересохло во рту. Он опустил руку в карман куртки, пытаясь нащупать перочинный ножик, который безнадежно запутался в подкладке. От ужаса он

попятился назад, но вдруг увидел, как мужчина выбросил окурочек и припал на одно колено. Затем он поднял пластиковую выбивалку и стал яростно колотить по утопленному в сугробе половику, поднимая снежные брызги.

— Тьфу ты! — облегченно выругался Макаров и сплюнул сухой слюной.

Немного отдышавшись и придя в себя, он припустил дальше, посмеиваясь над своей трусостью.

В одном из дворов за ним увязалась лохматая рыжая собачонка таинственной породы. Звонко тявкая, она норовила обогнать школьника.

Отстала собака только у массивных дверей военкомата. С визгом шарханулась в сторону, точно злостная уклонистка от военной службы.

Максим дотянулся до черной кнопки звонка. Раздалось грозное жужжание. Через минуту лязгнул замок, дверь тяжело открылась.

— Проходи, — улыбнулся отец, пропуская Максима вперед.

Подполковник был в зеленой форменной рубашке с засученными по локоть рукавами, верхняя пуговица расстегнута, галстук под цвет рубашки болтался на медном зажиме на уровне груди.

— Поднимайся в мой кабинет, я сейчас подойду, — сказал отец и, поскрипывая до блеска начищенными ботинками, шагнул в застекленную будку «дежурки».

Макаров-младший, пройдя по длинному коридору с множеством дверей с красными табличками: «окулист», «психиатр», «лор», «хирург»... — оказался на лестничном пролете. Поднялся на второй этаж и вышел в просторный холл. На стенах висели агитационные плакаты, заключенные в деревянные лакированные рамки. Снайпер в каске, с черными маскировочными полосками на лице и с СВД в руках смотрел в оптический прицел. Ниже подпись: «Он бьет без промаха. А тебе слабо?», два солдата в окопе с «калашами», один прицеливался, второй указывал пальцем перед собой. Над ними слова: «Военная служба по контракту — дело настоящих мужчин!»

Максим был у отца на работе не в первый раз. В будни по коридорам сновали военные, не смолкали трели телефонов, раздавались грубые, громкие голоса и смех.

Работники его хорошо знали. Пропахшие табаком и одеколоном мужчины жали ему руку, как взрослому, женщины приглашали пить чай и угощали печеньем.

— Ну что стоишь, как засватанный? — процитировал строчку из любимого фильма отец, поднимаясь по лестнице. — Открыто же, чего не заходишь?

— Да тебя ждал, — стаскивая с плеч рюкзак, Максим надавил на ручку, толкнул дверь и вошел в кабинет.

В центре располагался громоздкий стол, на нем возвышалась аккуратно сложенная стопка папок, рядом уверенно обозначился дисковый телефон. В углу притаился небольшой сейф с кодовым замком. На противоположной стороне кабинета размещался продавленный диван — «Чебурашка», тумба с заветным телевизором «Чайка» и низкий журнальный столик.

Отец снял телефонную трубку и, зажав ее между плечом и ухом, стал накручивать тугой диск, другой рукой придерживая скользящий по столу аппарат. Максим выгрузил из сумки еду на журнальный столик.

Пока Виктор Павлович разговаривал по телефону, Максим успел подключить приставку к лениво прогревающейся «Чайке».

На мерцающем экране появилась наконец заставка «Черепашек».

— Пап, давай со мной, тут на двоих можно, — сказала Максим, присаживаясь на краешек дивана с джойстиком в руках.

Подполковник отрицательно покачал головой. Достал пирожки, протянул сыну:

— На вот, лопай лучше.

— Не, спасибо, я их дома объелся, — ответил Максим и, щелкая кнопками, выбрал персонажа. Это был Леонардо, он лихо орудовал мечами.

«Квабанга!» — прокричал Лео, и игра началась.

Пообедав, подполковник отправился сполоснуть посуду. Вернувшись в кабинет, он сел за свой стол, раскрыл серую папку и стал перебирать документы, изредка хлопая печатью.

— Да ё-моё, — вскрикнул Максим, топая ногой, — опять продул, а! Дебильный уровень! Долбаный кабан!

— Тихо там, — чуть заметно улыбнувшись, произнес отец.

— В следующий раз возьму у Олега книжку с кодами для прохождения, — рассуждал Макаров-младший.

Позднее Максим уговорил отца сыграть в футбол.

Но не успели они доиграть второй тайм, как задребезжал телефон. Отец встал, бодро прошагал к столу, снял трубку.

Нажав на паузу, Максим поднялся и побрел в туалет. А по возвращении в кабинет услышал:

— Ну все, лафа кончилась. Мать звонила, дуй домой.

Препираться было бессмысленно.

— Эх, только разыгрался, — вздохнул Максим.

Перед выходом подполковник крепко, по-мужски пожал ему руку, достал черный бумажник и отсчитал несколько купюр. На карманные.

* * *

Классный руководитель задерживался. Ученики шестого «А» гудели.

— Ребят, а кто дежурный? — громко и требовательно спросила Варя. — Сходите в учительскую, узнайте, где Маргарита Николаевна.

— Те надо, ты и иди, — хмыкнул Ларин.

Новенькая что-то шепнула Варе на ухо. Та кивнула и рассмеялась.

— Пятнадцать минут ждем и сваливаем, — объявил Салаев. Он сидел, закинув ногу на парту, хвастаясь новыми утепленными кроссовками из «Еврошопа».

— Тоже мне, командир нашелся, — усмехнулась Батт.

— Толстым слово не давали!

— Идиот, — раскраснелась Варя.

Она опустила голову и принялась нервно перелистывать страницы учебника.

Санька хвастался Максиму новыми наклейками в журнале с футболистами:

— Во, смотри, это Роналдо. В семнадцать лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии...

Неожиданно дверь распахнулась, и в класс вошла Маргарита Николаевна, у нее был серьезный, озабоченный вид. За ней проследовали две женщины. Одна пожилая, другая средних лет. Та, что помоложе, с отеками лицом и красными, слезящимися глазами, часто сморкалась в скомканный носовой платок. Старушка в засаленном коричневом пальто и в старомодной ондатровой шапке-ушанке тяжело вздыхала, склонив голову набок.

Ученики с любопытством рассматривали вошедших, некоторые удивленно переглядывались.

— Ребята, — наконец заговорила Маргарита Николаевна, — у нас в классе произошло чэпэ. Пропал Вася Пьянков.

— Как пропал?! Куда?! Когда?!

Дети оборачивались и осматривали пустующее место Пьянкова на «камчатке», будто он нарочно спрятался под парту и сейчас выпрыгнет из-под нее, смеясь над тем, как здорово он всех разыграл.

Покачиваясь, старушка подбрела к первой парте и тихо произнесла:

— Ребятишки, миленькие, кто-нибудь из вас виделся с Васей в выходные?

Мать Пьянкова театрально всхлипывала рядом, придерживая бабушку за талию.

Школьники отрицательно качали головами.

— Господи Боже мой, — выдохнула старушка, утирая слезы ладонью, — как с уроков в субботу пришел, пообедал, гулять ушел, и больше не видели его.

— Да вы не волнуйтесь так, вернется, — приподнялась Варя, — мы с ребятами спрашиваем, может, кто-нибудь его и видел. Правда, ребят?

— Спасибо вам, мои хорошие, спасибо, миленькие, — старушка чуть отступила назад.

— Очень надеемся на вашу помощь, дети, — сказала мать, комкая в кулаке платок, — мы все испереживались. Ходили в милицию, заявление написали. Места себе не находим. Где он? Что с ним?

Классный руководитель жестом попросила детей встать и отправилась провожать Пьянковых.

— Ребзя, да это маньяк, — сказал Ларин, когда дверь захлопнулась, — сто пудов маньяк. Выследил нашего Ваську и грохнул.

— Что ты несешь? — возмутилась Батт. — Он же твой друг.

— А я че, я, что ли, виноват?

— Да бред это все, — взобрался на парту Салаев, — с родаками поссорился, вот и решил свалить, типа поугагать. Вы на мать его посмотрите, синячка натуральная.

— Если и сбежал бы — сбежал бы к бабке, а бабка тут, — возразил Перепелкин, — не, тут что-то посерьезней, походу. Макс, — он слегка толкнул соседа в плечо, — а ты че скажешь?

Макаров молчал. Рассказать ребятам о порванных штанах — засмеют. Из-за таких пустяков из дома не убегают. Тем более он дал слово хранить тайну.

— Ребят, — вдруг сказала новенькая, — да че вы паникуете раньше времени. У меня в той школе тоже случай был, мальчишка пропал. Искали все, подняли на уши полгорода. А он в подвале у дворника жил. У него две «пары» за четверть выходило, он боялся домой возвращаться.

— И че, ты предлагаешь все подвалы в городе проверить? — спросила Синицына, грубоватая, белобрысая дочка завуча.

— Я ничего не предлагаю, — хмыкнула Олеся.

— А я предлагаю, — вмешался Салаев. Все обернулись в его сторону. — После школы собираемся и идем прочесывать город. Каждый подвал, каждый закуток. Кто не идет — тот лошара.

Вернулась Маргарита Николаевна. Скрестив руки на груди, шагнула в центр класса:

— Ребят. Олег, Тимур, Саша, Максим. Вы дружите, может, вы что-нибудь знаете?

— Нет, Маргарит Николаевна, — ответил Салаев, — зачем нам что-то скрывать?

— Мы все знаем, — продолжила она, — что семья у него сложная. Вася когда-нибудь вам жаловался или, к примеру, говорил, что не хочет возвращаться домой? Ну, было такое?

— Нет, Васек никогда никому не жаловался.

Макаров отвернулся к окну.

* * *

На поиски Васи собрался весь класс. Уклонились лишь двое — братья Карповы из поселка Гидролизный, сославшись на то, что у них были талоны на прием в поликлинику.

— Ну и валите, — прокричал им вслед Салаев, — и без вас обойдемся, уроды!

Ребята организованно разбились на несколько групп. Максим оказался в компании Саньки Перепелкина, Наташи Зиминной, Коли Варенцова, Вари Батт, а позднее, на радость Макарова, к ним присоединилась Олеся, дезертировав из команды приставучего Салаева.

Их группа должна была прочесать улицу 60 лет ВЛКСМ, потом через Пильный переулок выйти на Куйбышева, пройти вдоль по улице Трошева вплоть до автостанции на Первомайской. Это была общая точка сбора.

Мальчишки шагали впереди, девчонки — чуть поодаль, но старались не отставать. Ребята действовали решительно, они были готовы проверить каждый дом. Заходили в подъезды и в шесть голосов звали Васю. Несколько раз их прогоняли недовольные жильцы:

— Нет тут никакого Васи и не было никогда! Валите отсюда, а то милицию вызову!

На улице Трошева школьники повстречали крепко выпившего мужика. Несмотря на мороз, на нем были лишь клетчатая рубашка, серый распахнутый рабочий халат и старомодные кеды. Алкаш едва держался на тощих, синих от холода ногах, ухватившись за металлический ставень киоска.

— Я твой рот бомбил! — неистово кричал мужик, наклоняясь к приоткрытому, обклеенному рекламой «Сникерсов» окошку.

Через мгновение из окошка по локоть высунулась женская рука и звонко шлепнула бузотера по небритому лицу. Тот повалился на спину. Он долго не мог подняться, стонал и сучил голыми ногами, путаясь в подоле халата.

— Вот он, ваш маньяк, — рассмеялась Олеся, — теперь точно обезврежен.

Если на дверях не висели замки, Максим, Санька и Коля спускались в подвалы, девочки оставались ждать на улице, боялись.

— Ребят, ну как там? — осторожно заглядывая внутрь, спросила Варя.

— Пусто, — ответил худой, длинный, как жердь, Варенцов, — Васек в такой вонизме и пяти минут бы не выдержал.

— Ну выходите тогда, че там засели.

— Идем-идем, не ори.

Отряхивая одежду, мальчишки выбрались на улицу.

— Ну все, надо к автостанции дуть, не найдем мы его тут, — Санька зачерпнул пригоршню снега и потер испачканный побелкой рукав пуховика.

— А как же те двухэтажки? — спросила Зимина, поправив на голове фиолетовый, весь в катышках, капор из ангорки.

— Да там замки везде кодовые — бесполезняк, — отмахнулся Перепелкин, — идемте на станцию ждать остальных.

Максим с Санькой шли позади Олеси и Вари. Санька курил, пряча сигарету в кулаке.

— А Перепелкин курит, ха! — оглянувшись, крикнула Батт.

— Ой, осади там! — ответил Санька. — Макс, ну ты че липуешь? — кивнул он в сторону девчонок, — подойди к ней, а я пока Варьку отвлеку.

— Ты че, офонарел, что ли? Забыл, зачем мы здесь?

— Да ладно, а то я не вижу, как ты на нее пялишься постоянно.

— Не надо, Сань.

— Надо, Федя, надо!

Санька слепил упругий комок снега, прицелился и бросил в Варю. Попал в спину.

— Ах ты, гад! — вскрикнула Батт и, передав сумку Олесе, помчалась за Санькой.

— Действуй, — срываясь с места, на ходу прокричал он Макарову.

— Догоню — тебе не жить! — грозила Варя.

— Ага, сначала догони!

Максим шел за Олесей, как приклеенный. Заметив это, она нарочно замедляла шаг, Максим притормаживал тоже. Наконец девочка остановилась и развернулась к Мака-

рову. Ее длинные ресницы белели от инея, щеки горели румянцем. На морозе она была еще красивее.

— А ты чего там в хвосте плетешься? — улыбнулась новенькая.

— Да я тут так... — подойдя ближе, замямлил Максим.

Шли молча. Макаров смущался, не решаясь даже взглянуть в ее сторону.

— Ну и придурок же твой друг, — нарушила неловкое молчание Олеся.

— Да нет... не совсем придурок... в смысле, совсем... не придурок, — залепетал Максим словно умственно отсталый.

Олеся звонко рассмеялась. Одной рукой она схватилась за плечо Макарова, другой — за свой живот.

— Блин, — усмехнулся Максим, качнув головой.

— Ну ты и сказанул — «не совсем придурок», — не переставая улыбаться, хитро прищурила глаза Олеся. — Слушай, а я все хотела спросить, а на фига ты у Варьки анкету спер, а потом сам же ее и подбросил?

— Я... Я ничего не подбрасывал... с чего ты взяла вообще? — отшатнулся Макс, избрав полный недоумение.

Спасла его внезапно прибежавшая Варя, растрепанная и раскрасневшаяся, длинный вязаный шарф был переброшен через плечо и свисал едва ли не до пят.

— Ребят, ребят, — задыхалась она, — кажись, нашли.

Примчались к подвалу двухэтажки. У приоткрытой металлической двери курил Санька.

— Макс, походу, там он, — кивнул на дверь Перепелкин, — я его голос слышал. С ним еще кто-то. Там темень, не видно ни фига...

— Может, Варенцова крикнем? — растерянно предложил Максим.

— Сами справимся, — важно ответил Санька, сплюнул сквозь зубы и выбросил окурок.

— Мальчики, только осторожней, — сказала Варя.

— Да не б.и, — выпендривался Санька, — пошли, Макс, проверим.

Макаров малодушно согласился спуститься в душный, пахнувший сыростью и нечистотами подвал.

— Черт, не видно ни фига, — ругался Максим, осторожно ступая по крутой лестнице.

Санька чиркнул спичкой. Он медленно шел впереди на сдавленные голоса, оберегая слабый, подрагивающий огонек в ладонях.

В конце узкого коридора мерцала полоска света, голоса становились все громче.

Пригнув головы, Макс и Санька шагнули в небольшое помещение, освещенное тусклой лампочкой, свисающей с потолка на кривом проводе. Повсюду были разбросаны картонные коробки, окурки, смятые сигаретные пачки, пластиковые бутылки и какие-то грязные, дурнопахнущие вещи.

В центре располагалась конструкция из деревянных палет, заменяющая стол. Рядом сидели двое пацанов и, упираясь локтями в палеты, дышали из перепачканных зеленой массой целлофановых пакетов. От запаха клея валило с ног.

На вид мальчишкам было лет по пятнадцать. Перепачканные лица, драные куртки с торчащим пухом, взлохмаченные волосы.

— Вам че здесь надо? — отлипнув от пакета, растягивая слова, проговорил один из них, с кровоточащей ссадиной на щеке. У него были мутные, водянистые глаза.

— Валим, — испуганно бросил Санька и заспешил к выходу, утаскивая за собой Макарова.

— Стоять! Куда дернули?! Стоять!

Спотыкаясь и падая, хватаясь за кирпичные стены, друзья вслепую уносили ноги.

— Нет там Васьки, — отдышавшись, сказал Санька на улице, — пойдемте отсюда.

На автостанции уже собрались почти все одноклассники. Они галдели, окружив уличный стенд с расписанием автобусов.

- Ну как у вас? — спросил Салаев, поигрывая связкой ключей на цепочке.
- Глухо, — развел руками Санька.
- Вот и у нас так же, — вздохнул Ларин.

У шашлычной остановились два автомобиля. Серая тонированная «девятка» и черный джип «опель фронтера». Из «девятки» выбрались трое верзил в кожаных куртках и в спортивных штанах с полосками. Из джипа вышел наголо бритый водитель, следом за ним — пассажир. Это был полноватый невысокий мужчина лет пятидесяти на вид, с седой щетиной, в меховой шапке и длинном коричневом пальто. Один из верзил открыл перед ним дверь в шашлычную. Через мгновение компания скрылась из поля зрения.

- «Комаровские», — восторженно сообщил Перепелкин.

* * *

Ориентировки с плохо пропечатанным лицом Васи были расклеены повсюду.

На помощь милиции пришли волонтеры. Ежедневно они прочесывали город и окрестные поселки, опрашивали местных жителей, но никаких результатов это не давало.

Маргарита Николаевна предложила ученикам навестить Васиных родителей, попытаться хоть как-то их подбодрить и успокоить. Ребята с готовностью откликнулись.

По дороге Салаев закурил.

— Олег, ты хотя бы классного руководителя постеснялся, — пристыдила его Маргарита Николаевна.

- А я что? Я ничего, — ответил Салаев, спрятав сигарету.
- Вот будешь курить — не вырастешь, девочки любить не будут.
- А меня и так любят, — самоуверенно сказал Дон Жопен.

Вошли в подъезд, поднялись на второй этаж. Остановились у обшарпанных дверей квартиры с торчащими, словно тараканьи усы, проводами вместо звонка. Внутри грохотала музыка, звенели бутылки, слышались пьяные возгласы и женский смех.

— Пойдемте, ребят, — подавленно проговорила учительница, так и не постучав в дверь.

* * *

— Ой, знаю я эту семейку, — реагировала на пропажу одноклассника мама Максима, — довели пацана, вот он и удрал. Не от хорошей жизни из дома бегут...

Однако попросила Макарова-старшего встречать сына после школы. Тем более что Максим стал учиться во вторую смену.

Ветеран остервенело колотил в стену.

- Дядя Егор, не шумите, я здесь, — отозвался Максим, скрутив журнал в трубочку.
- Ну как ты там, малец? Что нового? Как с подругой?
- Да пока не знаю, дядь Егор, но кажется, я ей нравлюсь.
- Молодец, пионер! Так держать! Позвал ее на свидание?
- Нет. Дядь Егор, у нас одноклассник пропал.
- Как так — пропал? — откашлялся ветеран.

— А так. Ушел в выходные погулять и не вернулся. Его родители заявление в милицию написали, мы и сами с ребятами его ищем... Наши говорят, что это маньяк... Но мне кажется, что он из-за родителей из дома убежал.

- А что с его родителями?

— Ну, они пьющие. Отец, говорят, на него руку поднимает.
— Поднимает... — помолчав, сказал ветеран, — значит, за дело поднимает, воспитывает, значит. И вообще, какие бы ни были, они — родители, это святое, — повысил голос он, — я вот вообще без мамки и папки вырос, меня тетка воспитала. А так мне не хватало отца и матери, ты и представить не можешь... Так что тут ты, малец, не прав, ну или друганец ваш глупый еще, если на родных зуб заимел. На родителей не гонят. Придет он, никуда не денется. Нагуляется и вернется. Понял?
Максим не ответил.
— Ты что там примолк? Уснул, что ли?
— Ладно, дядя Егор, мне уроки надо делать, — сказал Макаров.
Он поднялся с кровати, расправил журнал и убрал в ящик стола.

* * *

Отец Максима уехал в командировку. По служебным делам его отправили в Ульяновск.

Телефон Макаровым не провели, а идти к соседям и звонить от них по межгороду Наталье Сергеевне было неудобно.

В субботу вечером она собиралась на переговорный пункт.

— Мам, я с тобой пойду, — серьезно проговорил мальчик, — одну тебя никуда не пущу.

— Ой, ну куда ты в такую стужу, — Наталья Сергеевна убрала кошелек в сумочку, подошла к зеркалу и поправила прическу, — сиди дома, я быстро. Туда и обратно.

— Нет, я с тобой, — настаивал Максим.

— О, господи, ну что с тобой поделаешь, — улыбнулась мама и потрепала его по волосам, — собирайся, защитничек.

На улице стремительно темнело. Было ветрено, падающие снежинки, шурша, беспорядочно кружили в свете фонарей.

Идти предстояло довольно далеко. Сначала вниз по улице Трошева до большой гранитной мемориальной доски героям Великой Отечественной войны. Затем пересечь мост и двигаться прямо, до самого почтового отделения с прилегающим к нему переговорным пунктом.

Встречались редкие припозднившиеся прохожие. Многие из них были навеселе. Максим не выпускал из своей ладони мамину ладонь и, широко шагая, настороженно оглядывался по сторонам.

Смахивая с одежды снег, вошли в переговорную. Там было душновато, гудели яркие флуоресцентные лампы. Вдоль стены располагались сцепки мягких откидных сидений. Одну из тесных, с мутными стеклами кабинок занял крупный мужчина в кожаной шапке с козырьком и распахнутой дубленке.

— Андрюш, Андрюш, — кричал он в трубку, — фрезу взял, нормально, ага. Но, это, Андрюш, алло, цанги там на шесть и на восемь, а мне б двенадцатые, Андрюш, достать...

Наталья Сергеевна подошла к окошку диспетчерской, назвала город, номер телефона и отчитала несколько купюр.

— Распишитесь и ждите, — невозмутимо проговорила телефонистка и придвинула серую квитанцию.

Мать и сын присели на пустующие сиденья.

Мужчина повесил трубку, боком выбрался из кабинки и, застегивая на ходу дубленку, заспешил к выходу.

— Четвертая кабинка, проходим, — прозвенел голос телефонистки.

Наталья Сергеевна говорила минут пять. Все это время Максим стоял рядом, держа в руках мамину сумку на тонком кожаном ремешке.

— Максим, поговоришь с папой? — сказала мать и протянула увесистую черную трубку.

Отец поинтересовался, как дела в школе, много ли нахватал двоек, наказал хорошо себя вести, пообещав привезти за это подарок.

Вышли из переговорной. На улице уже совсем стемнело. Было тихо и пустынно. Даже смолкли гудки автомобилей.

— Ну что, — подмигнула мама, навесив на плечо сумочку, — зайдём в «Юбилейку», купим чего-нибудь вкусенького?

— Холодно, — нарочно поежившись, ответил сын, — лучше сразу домой.

— Ну как знаешь, — недовольно хмыкнула мать.

Когда они проходили по мосту, Максима вдруг что-то заставило обернуться. По противоположной стороне в их направлении шла темная фигура.

— Ноги совсем задубели, пойдем быстрее, — мальчик сильнее сжал мамину ладонь в кожаной перчатке.

Через минуту Максим снова оглянулся и увидел, как таинственная фигура, пересекая проезжую часть, торопливо и уверенно двигалась на них.

Теперь уже мама ускорила шаг, крепче прихватив руку Максима. Она тоже заметила преследователя, но старалась не показывать вида, чтобы не напугать сына. Максим чувствовал, как дрожит ее ладонь.

— Мама, у меня в кармане нож, — хватая губами морозный воздух, проговорил он.

— Поторопись, сынок. И не оглядывайся, — в волнении отвечала мама.

Максим расслышал, как вполголоса она стала читать «Отче наш».

Хруст снега за спиной раздавался все отчетливее, словно тяжелыми ботинками ступали на битое стекло. Мальчику стало страшно, но страшно не за себя — за маму.

Едва не упав, они сбежали с моста по частой заснеженной лестнице. Придерживаясь за шатающиеся перила, человек спускался следом. Он мог легко их настигнуть, но почему-то не делал этого, словно хищник, играющий со своей жертвой, наслаждаясь ее животным страхом.

Максим послушался маму и обернулся: на нем были черная вязаная шапка и камуфляжный бушлат с поднятым воротником, наполовину скрывающим лицо.

— Бежим! — наконец скомандовала мама.

Они рванули со всех ног.

— Помогите! Помогите! — на ходу кричала мать.

К счастью, вскоре заметили узик — «буханку». Машина медленно выехала из-за поворота и уже через мгновение поравнялась с ними.

Протяжно скрипнули тормоза, открылась дверца.

— Эй, соседи, прыгайте, подвезу, — весело крикнул водитель.

— Коленька, вы наш спаситель, — оглядываясь по сторонам, дрожащим голосом проговорила мать, забралась в кабину вслед за сыном и захлопнула дверь.

Они расположились на боковых сиденьях, похожих на полки в вагоне поезда. На полу лежал бур с треснутой пластиковой ручкой, рядом стоял раскрытый рыбацкий ящик с зимними удочками, мормышками и блеснами.

Узик трясло, от стены к стене перекатывалась пустая водочная бутылка.

— Откуда это вы в такую темень? — прикурил сигарету дядя Коля, наполняя салон едким дымом.

Мама не ответила. Она сидела, крепко обняв сына и прикрывая шарфом мокрое от слез лицо.

* * *

От Васи по-прежнему не было никаких вестей...

После уроков Максим с Санькой остались дежурить по классу.

— Сань, тебе полы драить, — сказал Макаров и принялся стирать с доски.

— С фи́га ли баня погорела? — возмутился Перепелкин.

— Вообще-то, я в прошлый раз мыл. Забыл?

— Ну да, ну да, — сдался Санька.

Он достал из кладовки ведро, брезгливо подцепил со швабры ссохшуюся, точно вобла, половую тряпку и вышел из класса.

Вымыв доску, Максим поплескал в горшки с цветами из пожелтевшей пластиковой бутылки.

Через пять минут вернулся Санька.

— Максон, — возбужденно проговорил он, с лязгом задвинув в угол пустое ведро, — у старшаков, походу, дискач намечается. Внизу уже аппаратуру расставили, народ собирается. Погнали, сходим?

— А дежурство? — недоверчиво покосился Макаров.

— Да ладно, — отмахнулся Санька, — подметем для понта и все.

В фойе и вправду было шумно и многолюдно. Школьный диджей Игорь Поляков в белой майке и модной кожаной жилетке поставил кассету «2 Unlimited», покрутил ручки на микшере. Погас свет, феерично зажглись огни светомузыки. Старшеклассницы с пышно начесанными челками, в растянутых балахонах и ярких лосинах стали двигаться в такт музыке, сложив сумочки в центр круга.

Парни угрюмо расселись на подоконниках. Они то и дело вскакивали и куда-то отлучались. Их места тут же занимали другие.

Санька с Максимом тайно выглядывали из-под лестницы, точно диверсанты.

— Зырь, че та бикса вытворяет, — сидя на корточках, указывал пальцем Санька.

Высокая девушка в белой блузке и синих «мальвинах» скакала, как молодая козочка, и трясла длинными распущенными волосами. Часто она теряла равновесие и едва не падала, успевая схватиться за сетку-рабицу, натянутую в оконных проемах гардеробной.

— Блин, да она же пьянущая вдрызг, — захихикал Перепелкин.

Вскоре ее увели физрук и завуч. Они держали ее под руки. Деваха выкрикивала что-то воинственное, вырывалась и сучила ногами.

— И что мы тут делаем, а? — раздался вдруг низкий женский голос.

Это была вахтерша. Она смотрела на ребят сверху, облокотившись о перила.

Друзья торпедой выскочили из-под лестницы. Стараясь перекричать музыку, вахтерша что-то кричала им в спину, размахивая руками, словно дорожный регулировщик.

Вбежали по соседней лестнице на второй этаж и остановились около дверей мужского туалета.

— О, давай тут пересидим, — предложил Санька, — сюда она точно не сунется.

И вошел первым. Макаров — за ним.

Внутри было накурено. Четверо десятиклассников расселись на корточках вдоль кафельной стены. Глубоко затягиваясь, они бережно передавали друг другу зажатую в кулаке папиросу. Еще человек пять стояли рядом и разливали в стаканчики водку. Рыжий доходяга в свободной клетчатой рубашке развел в полуторалитровой бутылке воды пакетик персикового «Инвайта». Остатки порошка он засыпал себе в рот, слотнул и довольно прищурился.

Санька шагнул назад.

— Заходь, пацаны, не липуйте, — заржали сидящие у стены.

— Пошли отсюда, — вполголоса пробормотал Санька.

— Валим, — среагировал Максим.

Оглядываясь, они двигались по коридору. Внизу заиграл медляк. «Un-Break My Heart».

— А знаешь, что они там курили из беломорины? — Перепелкин оставил на стене черную закорючку, шаркнув резиновой подошвой.

- Что?
- План. Наркотик такой.
- Да ладно?
- Угу, от него крыша едет и смешно все становится.
- Ты-то откуда знаешь?

— Да так, рассказывали, — нехотя ответил Перепелкин.

В конце коридора послышался девичий визг. Затем кто-то басовито прокричал:

— Пацаны, пацаны, гоните сюда, «луневские» приехали!

Галдящие подростки затопали вниз по лестнице.

— Махач наклеивается, — причмокнув, резюмировал Санька, — такое нельзя пропустить.

Пинком распахивая хлипкую входную дверь, в холл врвались десятки чужаков из поселка Луневск.

— Пацы, га си их! — командовали старшеклассники.

Вокруг творилось невообразимое.

Девчонки верещали и в панике разбежались в разные стороны. Кто-то успел спрятаться за колонкой. Кому-то удалось забраться под застеленный коричнево-красной тканью стол с диджейской аппаратурой. Парни бились стенка на стенку. В давке они с трудом могли отличить своих от чужих. Раздавались отчаянные вопли и мат. Рыжеволосого доходягу повалили на пол и принялись избивать ногами. К нему на выручку поспешили сразу человек пятнадцать однокашников. Ошалевшая, растрепанная завуч пыталась остановить побоище, самоотверженно бросившись в толпу. До смерти перепуганный физрук помчался в учительскую вызывать милицию.

Максим и Санька прятались за умывальниками.

— Вот это мочилово, — восхищался Санька, — прям как в кино американском!

— Пойдем отсюда, как бы чего не вышло, — трусливо отвечал Макаров.

— Ты че! Ни за что!

Осторожно приподнявшись, Максим увидел совсем рядом Рому Чиндяйкина. У него была разбита губа. Одной рукой он удерживал своего противника за шиворот, другой наносил размашистые удары.

Мальчишек все же заметили. Двое «луневских»: один высокий, крепкий, в джинсовой куртке на меху, второй, как ни странно, налегке — спортивный костюм, лыжная шапочка.

Они подбежали к Саньке и Максиму.

— О-ба-на, щас и щенки отхватят! — бугай поднял Макарова за грудки, будто выжимал штангу.

«Лыжник» схватил Саньку за ухо, дергая вверх-вниз.

— Пусти, урод, больно! — взвыл Перепелкин.

Разбежавшись, Чиндяйкин ударил «лыжника» ногой в спину. Запрокинув голову, как тряпичная кукла, он отлетел к подоконникам.

— Ты че, с..., попутал?! — проревел бугай.

У него была массивная, выдающаяся вперед нижняя челюсть. Он отпустил Максима и стал угрожающе наступать на Рому. Ловко отпрыгнув, носком ботинка Рома ткнул его под коленную чашечку.

— А-а-а-о-ы, — повалился на бок детина, обхватив колено ладонями.

— Пацаны, где куртки ваши? — спросил Чиндяйкин шестиклассников.

— Там, в кабинете, — дотронувшись до пылающего уха, ответил Санька.

— Бегом, я вас выведу!

Одевшись, они шагали за своим спасителем через столовую к запасному выходу. Рома то и дело смахивал кровь с разбитой губы. Максим протянул ему носовой пла-

ток, хулиган отрицательно покачал головой. Уборщица в синем халате и с черным гробешком в седых волосах усердно орудовала шваброй под составленными в ряд столами. Санька с Максимом замедлили шаг.

— Не с..те, она глухонемая, — объяснил Рома.

Уборщица проводила их беспомощным взглядом.

Вошли в кухню. Повсюду громоздились большие алюминиевые кастрюли с небрежными красными надписями «Шк № 1».

Рома с усилием приоткрыл занесенную снегом дверь:

— Давайте шуруйте.

— Спасибо, — сказал Макаров.

— Должны будете, — усмехнулся Рома.

На другом конце школы, у входа, в свете фонарей началось какое-то движение. Кричащая и уллюлюкающая орда школьников гнала «луневских» по хорошо расчищенной, но крайне узкой дорожке. Удирающие теснились, спотыкались и падали. Толкая друг друга, они утопали по пояс в снегу, как французы под Москвой. Среди них, опираясь на плечи своих приятелей, ковылял двухметровый амбал с отбитым коленом.

Перепелкин и Макаров направились к автобусной остановке.

— Мда-а, Максон, если бы не Рома, огребли бы мы с тобой по полной. Считай, что еще легко отделались, — закурил Санька.

— Серьезно, да? — ядовито ответил Максим. — А чья была идея туда идти? Из-за тебя мы чуть не огребли.

— Да ладно, зато в понедельник всем в классе расскажем — героями будем, все обзавидуются, ты че. С Олеськой гулять начнешь.

Максим промолчал.

— Макс, смотри, там не твой отец идет? — спросил Санька.

— Блин, совсем забыл, он же меня встретить хотел.

Санька выбросил недокуренную сигарету в сугроб у покосившегося деревянного забора.

Навстречу им неторопливо двигался подполковник. В военной форме и с толстой кожаной папкой под мышкой.

— Ну что, орлы, как дела? — подойдя ближе, весело спросил он.

— Во, — показал большой палец Санька.

* * *

На перемене к Макарову подошла Олеся:

— Привет, Макс.

От нее доносился сладкий аромат духов. Максиму с трудом удалось взять себя в руки и не растаять.

— Привет, — ответил он.

— Слушай, — она коснулась его плеча, — у меня в эту субботу днюха. Придешь?

— А-а-а... это... кто еще будет? — растерянно произнес он.

— Не бойся, ты всех знаешь, — улыбнулась новенькая.

— А Санька? Санька Перепелкин будет?

— Ну куда же без него, — рассмеялась Олеся.

— Это да, — невпопад брякнул Макаров.

— Ну, в общем, в субботу в четыре я тебя жду. Набережная, девять, квартира семнадцать.

Олеся упорхнула. Максим чуть не умер от счастья.

— Друган, дай пять! — протянул ладонь он проходившему мимо пятиклашке.

Тот пугливо отшатнулся.

— Эх ты, — махнул рукой Макаров.

Вечером он выклянчил у отца деньги на подарок.

— Если к девчонке идешь — купи цветы, — посоветовал Виктор Павлович.

— Да нет, па, у Варенцова днюха, — соврал Максим.

Он ушел в свою комнату, переоделся, лег на кровать и стал размышлять, что подарить Олесе. На ум ничего толкового не приходило. Максим поднялся, свернул в трубочку журнал. Сосед за стеной не отзывался. Максим прислушался. В комнате ветерана было тихо.

На следующий день, еле отсидев пять уроков, он помчался по магазинам. Хотя выбор был невелик: Дом быта и универсам.

После нескольких часов блужданий меж лотков со всяческой бижутерией, сверкающей и пошлой, он набрел на отдел игрушек. Долго не мог решить, что лучше: плюшевый львенок в матроске и тельняшке или мишка, держащий в лапах сердечко, обшитое красным бархатом.

Красиво упакованный потапыч перекочевал с пыльной витрины в рюкзак Макарова.

В субботу к трем часам дня Максим был готов. Он надел белую с короткими рукавами рубашку и новые голубые джинсы. Перед зеркалом в ванной зачесал свою челочку набок подслащенной водой. Затем украдкой пшикнулся отцовскими духами. Прихватив рюкзак с подарком, оделся, попрощался с родителями и вышел из дома. По дороге встретился с Санькой.

Уже через пятнадцать минут они звонили в квартиру Олеси.

— Что подарить-то ей? — ехидно спросил Перепелкин.

— Да так, медведя плюшевого, — старался как можно развязней ответить Максим. — А ты?

— Че прикалываешься? Лучший подарок — это я сам.

Дверь открыла мама именинницы. Стройная, миниатюрная, с русыми волосами под каре. Она выглядела значительно моложе своих лет.

— Ребят, давайте раздевайтесь и проходите в комнату, уже все собрались, — улыбаясь, сказала она и убежала на кухню, откуда шел приятный запах выпечки.

В коридоре был завал детской обуви. Модные кроссовки Салаева стояли вплотную с сапожками Олеси.

«И этот здесь», — Максим ревниво отшвырнул кроссовки в сторону.

Посреди комнаты расположился длинный, заставленный угощениями стол. За ним сидели одноклассники. Их было человек семь. Они громко разговаривали, перебивая друг друга. Гости были так увлечены, что не заметили Максима и Саньку.

Макаров с интересом осмотрел комнату. К потолку прилипли разноцветные шаррики со свисающими бумажными ленточками. Стены сплошь обклеены постерами из журналов «Cool». Книжная полка с классикой и несколько рядов детской энциклопедии «Я познаю мир». Высокий шифоньер, на котором пылилась гитара. Письменный стол со стопками учебников и горой подарков. Максим увидел дартс, о котором давно мечтал. На тумбе большой японский телевизор, в углу синтезатор на стойке, пластиковые цепочки в дверном проеме.

— Ребят, привет! — подбежала именинница.

На ней было зеленое кружевное платье. На тонком запястье блестели позолоченные часики. Пахнущие шампунем распущенные волосы присыпаны блестками.

Она чмокнула в щеку сначала Макса, потом Саньку:

— Садитесь на диван, там вроде есть местечко.

— Олесь, подожди, — отвел ее в сторону Макаров. Торопливо расстегнул рюкзак и протянул медведя. — Вот, это тебе. С днем рождения.

— Прикольно, спасибо, — Олеся равнодушно повертела в руках подарок и бросила в общую кучу на стол.

— Эй, влюбленные, — крикнул Салаев, жонглируя мандаринами, — ну вы там долго?

— Заткнись! — оскалился Максим.

— Щас ты заткнешься, дятел!

— Ребят, не ссорьтесь, — уплетала бутерброды Варя Батт.

Мама принесла поднос с горячим.

— Ой, а давайте я вам помогу, — жуя, вскочила Батт и стала перемещать тарелки с подноса на стол.

— Спасибо, Варечка.

— Ой-ой-ой, помощница, — дразнила Олеся.

— А что это вы без музыки сидите, молодежь? — спросила мать.

— Мам, ну иди уже, а, — раздраженно сказала именинница, — без тебя разберемся.

Мама удалилась, позвякивая пластиковыми занавесками.

— Лесь, а в самом деле, — сказал Ларин.

— Центр вон стоит, включай, если хочешь, — равнодушно пожала плечами именинница.

Тимур поставил кассету. Сборник «The Best from the West».

— Опять эта иностранщина, — недовольно загудела Синецына.

— Нормально все, — сказал Салаев, устраиваясь на мягком подлокотнике кресла рядом с Олесей, — а Газманова своего дома слушай.

Все расхохотались, Синецына показала Дону Жопену средний палец.

На торте «Медовик» зажгли тринадцать свечей. После долгих препираний («что я, маленькая, что ли?!») Олеся все же согласилась их задуть.

Потом играли в «крокодила». Салаев мстительно загадал Макарову изобразить козла. Ребята катались от смеха, когда Максим, приложив руку к подбородку и, шевеля пальцами, соорудил козлиную бородку.

Громко играла музыка, школьники прыгали и размахивали руками так, что сотрясалась мебель. Санька неуклюже пытался исполнить лунную походку Джексона. Ларин и Воронцов упражнялись в забегке брейк-данс. Пританцовывая, Варя касалась клавиш неподключенного синтезатора, делая вид, что виртуозно музицирует.

Максим вышел в туалет. В конце коридора, рядом с кухней, в полумраке стояли Салаев и Олеся. Они целовались. Обняв за талию, Олег прижимал девочку к стене. Макаров громко откашлялся. Парочка зашушукалась, потом засмеялась. Максим вошел в совмещенной с ванной туалет и заперся на щеколду. Отвернул кран с холодной водой. Стоял перед зеркалом, опираясь руками о раковину. И вдруг разрыдался. Комок обиды застрял в горле.

— Шлюха! — выкрикнул он и харкнул в зеркало.

Наспех собрался и выбежал из квартиры, отчаянно хлопнув дверью.

* * *

Слухи о маньяке поутихли. Конечно, еще можно было услышать редкие новости, и новости эти были одна фантастичнее другой. К примеру: в городе орудует не один, а целая банда маньяков. И служат они в милиции, поэтому их так долго не могут поймать. А кто-то уверял, что это оборотень и выходит он на охоту только в полнолуние.

Однажды Максим возвращался из школы домой. Поднялся по лестнице на площадку и в следующее мгновение оторопел. К стене, слева от квартиры ветерана, была приклонена крышка гроба, обшитая красной тканью...

Хоронили дядю Егора спустя два дня.

Народу было немного. В ожидании выноса тела собрались возле подъезда.

Некоторые из присутствующих держали в руках гвоздики, обернутые газетой. Двое сослуживцев принесли венки. Пазик с военным квартетом (барабанщик, трое духовых) и пятью солдатами был припаркован неподалеку.

Скорбящие негромко переговаривались.

— От чего он хоть помер-то? Ведь не старый еще, — шептались соседские бабули.

— Да пил он. Зять ему каждый день бутылку таскал, сама видала. Как в магазин ни приду, он водку берет или «Рояль». Сам-то не пьет, а тестя спаивал.

— Вот дочка с зятем его и уморили. Точно-точно. Мешал он им, жилплощадь занимал...

— Чего раскудахтались, старые дуры?! «Уморили — не уморили», — вмешался пьяненький старикан в фуфайке, ватных штанах и унтах, — от тоски он умер, вот что. Не нужен был никому.

— Иди отсюда, пьяный черт. Налакался с утра и разглагольствует.

Дед брезгливо сплюнул, махнул рукой и отошел в сторону.

Медленно подъехал похоронный автобус. Водитель закурил, пуская дым в приоткрытое окно. Четверо солдат в бушлатах с поднятыми воротниками молодежато выскочили из пазика и юркнули в подъезд.

— Господи, помилуй, — вдохнула и перекрестилась пожилая соседка в каракулевой шапке.

Осторожно ступая по лестнице, служивые вынесли гроб.

Следом спускался зять, придерживая под руку дочку ветерана, заплаканную, в черном платке и наброшенной на плечи дубленке.

Водитель докурил, вышел из автобуса и открыл багажный отсек.

Максим шагнул ближе.

На усопшем была песочного цвета форма с медалью «За отвагу» на правом кармане, под формой виднелась десантная тельняшка. Руки ветерана были вытянуты по швам. Ссохшееся серое лицо старика, залысины, редкие, с легкой проседью волосы зачесаны назад.

Максим видел дядю Егора впервые. Разговаривая с ним через стену, он рисовал в воображении крепкого, мускулистого мужчину с армейской татуировкой на плече. У него было смуглое волевое лицо с мелкими морщинками вокруг глаз, и еще он носил усы подковой.

Макарову стало обидно и больно, словно потерял близкого человека. Максим прошептал:

— Прощайте, дядя Егор, мне будет вас не хватать.

Едва сдерживая слезы, мальчик побрел домой. Немного передохнув, солдаты задвинули гроб в багажник. Скорбящие неторопливо поднимались в салон и рассаживались по местам.

— Mam, когда мы уже отсюда уедем? — сидя на пуфике в коридоре, Максим стаскивал с ног «аляски».

Наталья Сергеевна ничего не ответила, только тяжело вздохнула.

* * *

По-настоящему весна пришла только в середине апреля. Ярко светило солнце. Серые холмики снега оседали и съезжались буквально на глазах. Вниз по улицам стремились шумные ручьи.

Горожане спешили сбросить с себя надоевшие пуховики, дубленки, шубы и переодеться в легкие курточки или демисезонные пальто.

Малышня в резиновых сапогах высыпала на улицу и пускала кораблики, сооруженные из спичечных коробков или других подручных материалов.

В выходные многие выбирались на пикник. Жарили шашлык и пили пиво. Излюбленным местом была поляна у подножия скал «Три богатыря». Вид там открывался живописный. Скалы, бушующая горная река и молодая, только-только пробившаяся травка под ногами. И самое главное — воздух. Пьянящий, чистый, по-весеннему свежий...

Однако для подполковника Макарова это были непростые времена. Уже две недели, как начался призыв. Виктор Павлович возвращался со службы нервный и раздражительный. На расспросы супруги лишь отмахивался:

— Все в порядке. Не бери в голову.

Молча ужинал, затем сел в кресло перед телевизором и очень скоро засыпал.

* * *

Пропали две пятиклассницы. В школе отменили урок физкультуры, и подружки, не дожидаясь родителей, которые должны были их встретить, отправились домой одни. Больше их не видели.

По телевизору показали репортаж. Школьницы десяти лет, лучшие подружки, у обеих светлые волосы, заплетенные в косички, внешне очень похожи, словно сестры. На фото они улыбались и держались за руки. Упомянули и Васю Пьянкова. Круглое лицо в веснушках, пухлые губы, взгляд исподлобья. Были и другие пропавшие дети, на вид не больше пятнадцати лет, все они жили в разных поселках, недалеко от Ивделя.

С экрана к жителям обратился начальник областного УВД. Тучный, с обвисшими щеками и маленькими, едва различимыми глазками. Он призывал граждан к бдительности и сообщил, что активно ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

У здания городской администрации собрались ивдельчане. Они принесли транспаранты с надписями: «Остановите изверга!», «Спасите наших детей!», «Кто нас защитит?!».

Сначала вразнобой, затем дружно многочисленная толпа начала скандировать:
«Мэ-ра! Мэ-ра! Мэ-ра!»

Минут через десять, окруженный свитой хмурых людей в деловых костюмах, вышел градоначальник. Это был высокий, худощавый мужчина лет пятидесяти пяти, с седыми бачками и острым носом. Редкие волосы на голове лохматил сильный ветер.

— Дорогие граждане, — заговорил он, — прошу вас, сохраняйте спокойствие. Наши органы не сидят сложа руки, привлечены отряды волонтеров, и еще, — откашлялся мэр, — на этой неделе из Свердловска прибывает следственная группа, которая и займется расследованием этого дела.

— Вранье! — выкрикивали из толпы. — Когда все это кончится?! Когда поймаете эту мразь?!

Мэр развернулся на каблучках ботинок и зашел в здание. «Хмурые костюмы» — за ним.

Люди еще немного помитинговали и разбрелись, побросав транспаранты на сырой асфальт.

* * *

Однажды отец пришел с работы, изрядно приняв на грудь. Не переодевшись и отказавшись от ужина, он закрылся на кухне. Распахнул форточку и курил одну за другой, хотя избавился от вредной привычки много лет назад. Затем подполковник достал из холодильника недопитую бутылку водки, налил полстакана и махнул, занюхав рукавом форменной рубашки.

Мать в это время передвигалась по квартире на цыпочках и старалась разговаривать вполголоса.

— Не ходи на кухню, — шипела на Максима, — не мешай отцу.

— Да я только воды попить, — оправдывался мальчик.

— Ничего, потерпишь, — отвечала мама, подсматривая сквозь дверную щель.

Наконец Наталья Сергеевна приоткрыла дверь и вошла в кухню.

У подполковника было уставшее, раскрасневшееся лицо, на лбу проступала испарина. Он сидел, уперев локти в стол, и смотрел в одну точку, прямо перед собой. В чайном блюде дымилась недокуренная сигарета.

Глава семейства налил еще полстакана.

— Витя, да расскажи ты, ради бога, что случилось? — обеспокоенно спросила жена, присаживаясь рядом.

Подполковник сонно глянул на нее и отодвинул стакан.

— Идем спать, — невнятно пробормотал он.

Наталья Сергеевна помогла ему подняться.

В субботу вечером раздался звонок в дверь. Мама посмотрела в глазок.

— Кто там? — вкрадчиво спросила она.

— Открывай, хозяйка, свои, — ответили хрипловатым басом.

— Вить, иди посмотри, — трусливо отступила Наталья Сергеевна.

— Ну что там еще? — неохотно проговорил отец и, повернув в замке ключ, открыл дверь.

На пороге стоял Слава Комар. На нем были черные джинсы, черная рубашка и рокерская «косуха». Трехдневная седая щетина, шрам над бровью, взгляд с прищуром. От бандита крепко пахло духами. В одной руке визитер держал бутылку армянского коньяка, в другой огромную коробку конфет.

Позади Комара возвышался амбал в черной кожаной куртке, спортивном костюме и белых кроссовках. Фаланги его пальцев были разрисованы синими перстнями.

— Гостей принимаете? — жуя жвачку, растянулся в улыбке Комар.

— Что надо? — неприветливо ответил Виктор Павлович.

Наталья Сергеевна выглядывала из-за плеча супруга.

— Где же твое гостеприимство, подполковник?

Макаров набросил бушлат и шагнул в подъезд. Наталья Сергеевна прижалась ухом к двери.

— Мам, а кто там? — вышел в коридор Максим.

— Марш в свою комнату и не высовывайся, — нервно замахала руками она.

Из подъезда доносились приглушенные голоса.

— Может, все-таки в хату пройдем? — сказал Комар.

— Нет, давай тут.

— Ну-ка поддержи, — авторитет протянул коньяк и конфеты охраннику. — Ну так что по моему вопросу порешаем, подполковник? — он выбил из пачки сигарету, щелкнул зажигалкой.

— Я тебе в прошлый раз все сказал. Будет служить твой отпрыск, как и все.

— Нет, вот че ты уперся, а?! — сказал бандит, выпустив носом дым. — Тебе больше всех надо, что ли? Денег мало? Скажи сколько, я добавлю. Или че,дох..а богатый?

— Не бедный.

— Ну ты, конечно, кремень, — рассмеялся Комар, — вы как вообще выживаете, такие принципиальные?

— У тебя все?

— Слушай, я и без тебя все мог бы разрулить, это как два пальца об асфальт. Просто больших людей по пустякам неохота напрягать...

— Аудиенция закончена, — сказал Макаров.
Развернулся и вошел в квартиру. Жена еле успела отскочить в сторону.
Комар усмехнулся и выстрелил окурком в захлопнувшуюся дверь.
— Вить, что этому подонку было нужно от тебя? — допытывалась супруга.
— Не лезь не в свое дело, — резко ответил подполковник.
Выходной Максим провел дома. Лежал на кровати, смотрел в потолок.
— Сынок, — вошла в комнату мама, а ты чего это весь день валяешься? Ты, часом, не заболел? — она присела рядом и потрогала его лоб.
— Нет, мам, я просто... Настроения что-то нет.
— А что случилось?
— Да ничего, мам, не случилось.
— Ну, хорошо, отдыхай, не буду тебе мешать. Если что-то будет нужно, скажи.
— Хорошо, ма.

Наталья Сергеевна поднялась и вышла.

Через какое-то время Максим встал с кровати и прошел на кухню. Налил из графина воды. Выпил залпом. Глянул в окно. Стоял солнечный день, но детей во дворе не было, не было даже бабушек на лавочках. Город жил в страхе.

Максим вернулся в комнату. Шагнул к книжной полке. Наугад вытянул томик в мягкой глянцевой обложке.

«Э. Сетон-Томпсон. „Рассказы о животных“», — прочел он.

С книгой в руках прилег на кровать. И увлекся так, что не заметил, как настал вечер.

* * *

Отец задерживался со службы. Обычно он возвращался в половине шестого, стрелки часов приближались к девяти вечера.

Мама не находила себе места. Оббегала ближайшие дворы, поднялась к соседям и позвонила в военкомат, милицию и «Скорую». Безрезультатно.

Едва не выронив трубку из рук, она разрыдалась.

— Давайте на машине по городу поездим, поищем, — предложил дядя Коля и протянул носовой платок.

— Если вас не затруднит, Николай. Огромное вам спасибо, — высморкалась мама.

— Пустяки. И не переживайте вы так, найдем, — подбодрил он.

Позвякивая ключами, сосед отправился заводить свой уазик.

Объехали весь город, даже успели прочесать окрестные поселки.

— Посмотрите, там не он? — то и дело повторял дядя Коля.

Наталья Сергеевна хлюпала носом и отрицательно качала головой.

Возвратились за полночь ни с чем.

Всю ночь мама проплакала на кухне. Максим не отходил от нее ни на минуту.

— Иди спать, сынок, в школу проспийшь.

— Мам, ну какая школа?!

Утром прибежала соседка. Она долго звонила и барабанила в дверь. Мать и сын спали за столом.

— Наташ! Наташ, — кричала соседка, — нашелся! В больнице он, в Первой городской, мне сейчас по телефону звонили.

— Господи Боже мой! — спешно собиралась мама, плохо сообщая.

Наталья Сергеевна и Максим примчались в больницу. Там было прохладно и, несмотря на ранний час, многолюдно. Резко пахло медикаментами. По холлу то и дело с озабоченным видом сновали врачи и медсестры.

— Реанимация на третьем этаже, — подсказали из окошка регистратуры.

Они торопливо поднялись по лестнице и оказались у высоких белых дверей со звонком справа. Внутри Макаровых не пропустили.

— Родственники? — спросил врач, высокий, полный, с седыми усами и в роговых очках.

— Да, — кивнула мама.

— Пройдемте в мой кабинет, — доктор отпер дверь ключом и пропустил Макаровых вперед.

Сел за стол и жестом указал на два стула рядом:

— Присаживайтесь.

Доктор рассказал о том, что Виктора Павловича привезли рано утром сотрудники ППС. С глубокой кровотокашей раной на затылке его нашли на пустыре за котельной, в другом конце города. Диагностировав «подозрение на перелом основания черепа», подполковника отправили в реанимацию.

— Состояние тяжелое, — поправил очки доктор, — шансов — пятьдесят на пятьдесят. Но мы делаем все возможное...

Мама расплакалась. Максим обнял ее за плечи.

— Вы не волнуйтесь, он мужчина крепкий, выкарабкается... Сейчас, извините, мне работать надо.

На следующий день к Наталье Сергеевне пришли из милиции. Она подробно, стараясь не упускать мельчайших деталей, рассказала девушке-дознавателю о недавнем визите Комара. Дознатель составила протокол. Макарова написала заявление.

Спустя неделю подполковника перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, располагавшееся этажом ниже. Кроме Виктора Павловича, в палате находилось еще четыре человека. Таджик-строитель, перебинтованный с ног до головы, точно мумия. Алкоголик с пробитой головой и страшной гематомой под глазом. Браток в майке-борцовке и клетчатых шортах и совсем юный паренек после автоаварии.

Наталья Сергеевна была готова дежурить у койки мужа сутки напролет — не позволяли врачи. Жаловались соседи по палате, они смущались молодой, эффективной женщины. Тем не менее супруга навещала подполковника ежедневно. Как только ни упрасивал Максим взять его с собой, мама была непоколебима.

— Вот будет папе получше, и сходишь, — обещала она.

Не хотелось ей, чтобы сын видел отца в таком состоянии.

Виктор Павлович никого не узнавал, бредил, медсестры выносили за ним «утку», меняли окровавленные повязки на голове. Врачи говорили, что он кричал по ночам и звал кого-то на помощь. У подполковника было какое-то детское, беспомощное выражение лица и глаза, полные грусти. Жена приносила из дома еду и кормила больного с ложки. Каждые два дня сбривала ему колючую щетину одноразовым станком.

Прошло два месяца. Глава семейства шел на поправку. Теперь он сам, конечно не без помощи жены или санитарок, мог сходить в туалет. На пару с Максимом, у которого были летние каникулы, они уплетали фрукты и играли в морской бой.

В один из дней больного навестил следователь и задал несколько вопросов. Подполковник ответил, что ничего не помнит, ни про нападение, ни про Комара. Может, действительно не помнил, а может, и соврал, понимая, что бандита с его связями все равно отмажут.

Следователь вздохнул, как показалось, с облегчением. Пожелал скорейшего выздоровления и ушел, оставив на всякий случай визитку с номером телефона.

В августе Виктора Павловича перевели из стационара на амбулаторное лечение. Ему было предписано принимать лекарства дома и наблюдаться у невролога.

До больницы Наталью Сергеевну и Максима подбросил сослуживец Виктора Павловича, веселый и говорливый капитан Алексеенко. Вся дорогу он травил анекдоты

и сам же залиvisto хохотал. Капитан подкатил свою бежевую «шестерку» к дверям приемного покоя. Рядом на лавочках, под кустами сирени, курили пациенты.

Жмурясь от солнца, подполковник вышел на крыльцо. Он выглядел сильно поху-девшим и осунувшимся.

— Здравия желаю, товарищ подполковник! — широко улыбаясь, козырнул Алексеенко.

— Вольно! — в ответ улыбнулся Виктор Павлович и, поправив на плече лямку спортивной сумки, протянул ладонь.

— Карета подана, — проговорил капитан, — прошу в мой лимузин.

— Мы, пожалуй, прогуляемся, да? — подмигнул он супруге и сыну. — А тебе, капитан, большое спасибо за то, что встретил.

— Да не за что, — ответил Алексеенко. — Поскорее выздоравливайте, и ждем вас на службу.

Макаровы неспешно отправились домой. По дороге подполковник то и дело сворачивал не в ту сторону, ему было трудно ориентироваться. Супруга тактично направляла его, едва заметно поддерживая под руку.

Вошли в подъезд. Поднимаясь по лестнице, Наталья Сергеевна проверила почтовый ящик. Внутри оказалось письмо. В верхнем углу конверта был виден милицейский штамп. Мама бросила конверт в сумку. А уже дома прочла. Это был «отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления».

— Твари, — выругалась Макарова, разорвала бумагу и выбросила в мусорное ведро.

* * *

Уже второй год Макаровы жили в Нижнем Новгороде. Отец уволился со службы, сначала устроился начальником охраны на завод, но очень быстро дорос до замдиректора. Мама преподавала русский язык и литературу в гимназии с английским уклоном. Максим перешел в одиннадцатый класс и на будущий год планировал поступать в Политех. Теперь это был высокий, уверенный в себе, широкоплечий юноша, любимец девчонок. От прежнего застенчивого, нелепого мальчугана не осталось и следа.

Как-то вечером отец, переключая каналы телевизора, наткнулся на программу «Криминальная Россия». Звучала тревожная музыка, от которой становилось не по себе.

— Наташ, — крикнул он, — иди сюда.

Супруга в фартуке и с наброшенным на плечо полотенцем вошла в зал.

— Узнаешь родные места? — кивнул на экран Виктор Павлович.

— Ну-ка, ну-ка сделай звук погромче, — она присела на диван и, не отрывая взгляда от телевизора, вытерла руки полотенцем.

В Ивделе поймали серийного убийцу. Шел следственный эксперимент. Транслировали черно-белые кадры оперативной съемки. На видео был человек, пристегнутый наручниками к запястью одного из милиционеров. Бутафорским картонным ножом он демонстрировал на манекене, как наносил удары в живот и шею...

Вернулся с подготовительных курсов Максим. Разделся, бросив сумку в коридоре.

— Макс, — позвал отец, — бегом сюда!

Камера крупно взяла лицо маньяка. У него были затравленные, бегающие глаза и заросшие щетиной широкие скулы. Макаровы на несколько секунд в удивлении замерли. Они узнали своего соседа дядю Колю. Программа прервалась рекламной заставкой...

Роксана НАЙДЕНОВА

ВЕЧНЫЙ КОЛОС

Солнечный полукруг — серп —
По согбенным стеблям:
Будет нищим — хлеб,
Крохи сырые — пленным.

Птица склюет — совет
И мудрецам нащечечет,
Ум неокрепший сирот
Кормят сытые речи.

Лишь колосок упадет
В землю — вчерашнее лоно,
Звездный круговорот
К жатве разбудит снова

И снова.

МРАМОРНЫЙ ВОИТЕЛЬ

Осунувшиеся лица башен,
Закатом циферблат окрашен
И рассечен посередине,
Две стрелки трепещат и клинят
На пике в основанье часа.
Густеет воздух. Черной массой,

Сготовленной из ночи и тумана,
Ложится новый день на синие поляны.
У грани поля мраморный воитель,
Гуляющий без стражников и свиты.
Он охраняет город от простора,

Покуда время точит годы, горы, город...

Роксана Романовна Найденова родилась в 1997 году в Москве. Студентка Литературного института имени А. М. Горького. Публикации: сборник «Маленькие герои большой войны», литературный альманах «Ликбез», журнал «Казань» (стихи), сборник «Актуальная классика» (статьи). Живет в Москве.

* * *

Стынут подогретые напитки,
Звезды дожидаются в кино,
Город — словно детская открытка —
Все дома сливаются в одно.
Свет мерцает, смазанные лица,
Плачет опустевшее окно.
Платьица из кружева и ситца
За коляской в детство увлекло.
День проходит: встречи, свадьбы — к сроку,
Даже вышло где-то потерпеть,
И опять печаль по водостоку
Утекает в каменную клеть.

* * *

В Париже выдуманном, тусклом
На перепутанных проспектах
Все говорят не по-французски —
По-русски со смешным акцентом.

Он весь построенный из книжек,
Здесь отовсюду из окна,
Пронзая живописно крыши,
Эмблема Франции видна.

Лгут вывески, мемориалы
В Париже красочно французском,
Он интересней, чем реальный,
Как запах ароматней вкуса.

ЛУНА-ПИЛЮЛЯ

Струятся каменные слезы,
И лодки катятся по дну.
Луна в стакане глянет косо
И скроется на глубину

Ладони теплой и прозрачной.
А за окном фонтанных птиц
Зовут испуганные крачки
До льдисто-северных границ.

Причалил ветер, стаю сдуло,
Как будто праздничный плакат.
На дне лежит луна-пильюля
От смерти — пьется натошак.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Тревожит ветер, тревожит травы, тревожат ветер,
Принесший вздох от черно-белого Мукдена.
И шорох трав — лишь шорох ног, и следом выстрел
В дыму войны, в дыму толпы на площади вокзала,

Вокзала, где рассталась Маргарита
С Малютиным, где темные аллеи
Тревожат сон в опрятных кабинетах
И память распадается на вздохи.

Александр ПЯТКОВ

ИЗ ПЫШМИНСКИХ РАССКАЗОВ

ЗА ТОРФЯНЫМИ БОЛОТАМИ

К нам иногда приходил пьяница Вася. Лет ему было под пятьдесят. Звали его те, кто побойче, «Васька-пьяный», а остальные просто «Васька». На улице он появлялся нечасто. Нашабашит где-нибудь денег и пропадет недели на две. Еще неделю приходил в себя, а в конце месяца появлялся у нас.

— Сережа. Серега, — стучал он в окно.

— Здорово, Василий! — кричал отец через весь дом и выходил к нему. До вечера они сидели под окнами и о чем-то разговаривали.

На прощание Вася неизменно говорил отцу: «Ну, значит, завтра засветло пойдем», а мне вручал какую-нибудь милую безделушку. Все они куда-то пропадали.

Мы встали ни свет ни заря, но мне такие ранние подъемы были привычны: часто мы ходили по утрам с отцом на рыбалку, где я клевал носом.

Вася уже сидел на скамейке у дома и дремал.

— Вставай, Василий, пойдем, — будил его отец.

Километра три мы шли лесом, а потом выходили на узкоколейку, которая тянулась по насыпи. Слева и справа лежали болота, полные теперь никому не нужным богатством. Летом они часто горели, но всегда как-то удачно. Подымят несколько дней и успокоятся. На полпути я уставал, и отец сажал меня на плечи. Мир сразу разрастался. Я смотрел на маленького, шуплого Васю — неутомимого, поправшего смысл жизни, но продолжающего жить. И так мне жалко становилось смотреть на него, когда он улыбался своими впальми щеками и кривоzubым черным ртом. И так хотелось его пожалеть, одарить конфетой, семечками, хлебом. Но карманы мои были пусты.

Жалость эта мешалась с красотой природы. А красивого только и было что расцвет. Сколько я помню их! Небо разливалось в краске, стояло над скудной природой и, вспыхнув, резко светлело. Становилось еще жальче Васю. А чтобы пожалеть отца... об этом я не думал.

Болота заканчивались. Лесом мы выходили к маленькому, с двумя окнами, дому. Там жила бабка Аврора — одна. Раньше там была деревня, но потом жители разобрали дома и в несколько заходов съехали, оставив после себя кусты крапивы, почерневший, давно не чищенный колодец и старуху. Где-то у нее был сын.

Отец поручал меня Авроре, и они с Васей уходили — куда-то еще дальше. Я стеснялся спросить у отца, куда они ходят. А может, просто принимал как должное эти наши прогулки и поэтому ни о чем не спрашивал.

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в г. Березовский Свердловской области. Живет и работает там же. Публиковался в журнале «Урал».

В доме, ожидая отца, я жил по два-три дня. Днем ходил вокруг да около, ломая ветки на деревьях или гулял вдоль дороги, оставленной лесовозами. А по вечерам сидел на диване и слушал Аврору, грызя бесчисленные сухари и запивая их молоком. Его я даже умудрялся не проливать.

— Уехал, оставил меня одну, — часто жаловалась она.

Кто уехал? — думал я. И лишь потом понимал кто.

— Не пишет матери-то.

Кто не пишет матери? И только потом уже понял кто. Впрочем, к чести сына, раз в месяц, а то и два он приезжал. Привозил кучу съедобного и укатывал обратно.

— Даже чая не выпьет, — говорила Аврора.

Когда первый приступ вечерней слезливости проходил, Аврора рассказывала мне о своей жизни.

— В Приморье мы жили. Огород, скотину держали. А потом, когда все это началось — уехали. За бесценок дом продали. Бывает, Федор мой деньги получит и бежит на почту, на книжку положить. «Там не прогорит», — говорил мне. А когда все это началось, менять стали, подумай только, сколько нам дали! Да и Федор мой умер тогда уже. Генка-то пришел и говорит: «Не хочу, мамка, в деревне жить».

Кроме меня, ей и поговорить было не с кем, поэтому она и выкладывала мне все, что наболело в сердце. Я сидел и слушал ее, а сказанное принимал как есть. И оно совсем легко проходило сквозь меня, оставляя легкие заметы. Но в силу возраста, а может, природы своей я как-то и не думал о чем-то большем, чем просто о словах.

— Поезд у нас останавливался. Каждое утро ездила на завод. Консервы мы делали — разные! В праздник целую авоську начальники нагружали. Каждое утро ходила к матери, Генку оставляла. А с последним паровозом выйду — и к ней. Забираю, несу на руках, а он спит, не шелохнется. И несу домой. А он вот мать забыл. Работа у него такая. Не может он, в разъездах все время. А ты знаешь, какая невестка противная. Такая противная!

Аврора отводила сердце на сыне и рассказывала мне про невестку...

Я просыпался, а кастрюля вареной картошки уже дымилась на столе. И всякой-всякой еды было. Я сидел и не мог есть, так сладко было вдыхать эти непривычные запахи. Особенно я любил пироги с картошкой — темные, с подгоревшей корочкой. И как странно сознавать, что таких пирогов больше не будет.

Каким-нибудь вечером возвращались отец с Васей, усталые и грязные. Я набивал карманы шаньгами и сладкими пирожками и, пока Аврора не видела, отдавал Васе. Бабка его не любила и часто выговаривала отцу:

— Связался с бродягой ты, Сергей! Бог-то накажет.

Отец только махал рукой в ответ.

Домой мы шли медленно, отец не сажал меня на плечи — просто брал за руку. И в этот момент мне казалось, что я сильнее, чем он, и какое-то смутное предчувствие жалости к нему, не жалеющему себя ради меня, проступало во мне. И я сжимал его уставшую руку.

По дороге я срывал землянику, а осенью срезал отцовским ножом грибы и клал в карманы. Грибы оказывались поганками. И отец с Васей звонко и добро смеялись. Я и сам смеялся вместе с ними

— Шаланды, полные кефали. Карманы, полные поганок. Молодец, Карацупа, — Вася хлопал меня по плечу и прощался с отцом до следующего раза.

Так мы и ходили втроем — выходили на восход и уходили на закат. Все как у людей.

Несколько лет это длилось. Вася пил, отец обращался к нему «Василий», а я собирал поганки. Аврора за это время успела зарезать сначала кур, потом козу. А потом

и корову. Двигаться ей становилось все тяжелее, она все больше полнела и все чаще лежала за перегородкой и молчала.

Однажды добродушная Аврора, видимо, по простоте души поразила меня своим рассказом.

— В газете я тут вычитала, что девка ребенка в погреб зарыла. А ее судить хотят. Мертвого зарыла, ладно бы живого. У нас в деревне скольких так похоронили, и не считали.

Рассказ меня ошарашил, и я перестал ходить с отцом за болота, тем более что скоро торф стал окончательно никому не нужен.

Я уже заканчивал школу, когда умер Вася. Шел, шел по дороге, упал и уже не встал. Его похоронили те, кто еще не умер, и сами разошлись помирать. И я вспомнил Аврору: как давно у нее не был, как испугался простоты, с которой она рассказывала о непонятном и страшном. И стал упрашивать отца сходить к Авроре со мной.

— Да на что тебе сдалась она? Померла, может, давно.

— Давай проверим, — ляпнул я.

Отец замялся и ответил:

— Вон Василия бери в товарищи и проверяй!

К Авроре мы все-таки сходили. Она нам очень обрадовалась, но эта радость казалась какой-то глухой и ненужной. Стала она совсем плоха: лежала целыми днями на кровати и смотрела в немытое окно.

Когда-то после приехал за ней сын и увез к себе.

— Помирать поехала, жаль, не успела, — сказала она на прощание.

И с тех пор я о ней ничего не слышал. Дом даже не закрыли и почти ничего не взяли — так оставили. Второй раз бросала она свой дом. Третьего, наверно, уже не будет. Хотя это как сказать.

Осенью, бывает, дохнет на меня чем-то старозаветным, каким-то легким теплом былой жизни — настоящей, всей в горестях и заботах, но почему-то сладкой. И я жалею, что не родился раньше, тоскую по прошлому, о котором не знаю. Тогда я ухожу на восток.

А когда шагаю на запад, вспоминаю историю, но не ту, страшную, а другую, совсем другую...

— Маленькие мы все были. И война была. А я ведь с одиннадцати лет работаю. Ты только подумай, представь себе! А было мне тогда четырнадцать. И война была. Все на фронте у нас мужики. А мы вот здесь на заводе, где консервы потом стали делать, мины делаем против танков. Идем мы на проходной, а солдатик там стоит в сапогах. А у меня сапог не было. Не только сапог — никакой обуви не было. А все хоть в чем-то да были. А я босая. И он увидел. И засмеялся. И как засмеялся! А мне стыдно, а он смеется. И как смеется! Ты и представить не можешь.

ЧЕРТ

Как он появился в поселке, никто не помнил. Приехал, соорудил какую-то халупу на отшибе и нанялся в пастухи. Пастухом Мишка был неважным, но, на его счастье, скотина господскими повадками не отличалась. Да и много он не просил — что давали, то и брал.

Как только снег спадал с полей и вымахивала первая весенняя трава, Мишка шагал с коровами в сторону выгона. Сначала с тремя, четырьмя... К концу апреля он уже

представлял собой полноценного пастуха, а к середине лета его лицо чернело и волосы выгорали: головных уборов он не признавал, да и одежду, по правде сказать, не особо чистил. Летними вечерами, когда коровы возвращались с пастбища, можно было слышать по всему поселку одно и то же:

— Фу ты, черт какой, в рамках своих ходит!

Но одежды своей, рваной рубахи и штанов, заплат на заплате, пастух не стеснялся — ходил шесть дней в неделю в своем рванье, чтобы в седьмой преобразиться, «как Бог пожелал». По воскресеньям он надевал свой единственный костюм старого покроя, брал в руки гитару и расхаживал с ней по поселку часа два, даром что босой. Что-то наигрывал, пел, отпускал шутки налево-направо. Казалось, Мишка сошел в жизнь из какой-то неведомой старины — до того он был невнятен со своей гитарой и пиджаком на пустеющих деревенских улицах. Но над ним не смеялись.

— Родиться бы ему раньше, — говорил батюшка.

— На что? — спрашивала попадьа.

— Не в свое время попал...

— Он бы и там что-нибудь выдумал!

А Мишка все наворачивал и наворачивал круги по улицам. И все один. Находясь, пастух приходил домой, снимал костюм и ложился спать. А назавтра, вырядившись как обычно, снова слышал:

— Фу ты, черт какой нерусский!

Но он не обижался, хоть и текла в нем, с его слов, цыганская кровь.

Единственным, кто не чертыхался, был батюшка.

— Ему не полагается, — шутили, — да и молодой он.

Отцу Евгению было лет сорок, но он уже потерял надежду стать кем-то больше, чем просто сельским священником.

Приходя в гости к Мишке, батюшка восклицал:

— Как живем! Как живем!

— Как все живем! — отвечал пастух. И сквозила в его словах какая-то горькая ирония.

Походив из угла в угол и ни разу не споткнувшись о кровать, которая зачем-то была вынесена в центр комнаты, батюшка переходил к жалобам на свою горемычную жизнь. А Мишка слушал да подливал в стакан. И так успешно, что часам к одиннадцати отец Евгений выходил от цыгана, шатаясь на всю ширину улицы.

Один раз пастух попробовал проводить своего друга домой. Но попадьа, дородная баба, хоронившая детей каждый год, разрешилась в адрес Мишки ярчайшей прозой, подкрепив самобытной поэзией. Мишка был рад, что за «Христово дело» поплатился только новыми заплатами на одежде. В жизни его они играли особую роль, поэтому он и не расстроился. Одной больше, одной меньше. Да какая разница?

Следующим днем после дружеской встречи на утренней службе отец Евгений читал, проглатывая слова, и часто кашлял. Справив свои обязанности, он спешил домой. А дня через три снова появлялся у Мишки.

Так и текла жизнь пастуха, еле сводя концы с концами. Что-то ел, пил. А чем жил зимой, Бог знает. Но всегда улыбался — зубы у него были белее белого.

— А я содой полощу, — отшучивался Мишка, когда его спрашивали про зубы.

— Да, цыганская выдумка уж не та, — глубокомысленно заявлял кто-нибудь.

— А что с него взять! Черт — он и есть черт!

Заняться ему зимой было нечем, и он валялся на кровати, которую перетаскивал под окно, наигрывая что-нибудь на гитаре.

Батюшка зимой прекращал на время свои хождения за три моря. Зимой у отца Евгения обязательно заболел кто-нибудь из детей и, не дождавшись весны, отдавал Богу душу. В поселке ходило много разных слухов, почему так происходит. Но все жалели батюшку. Качали головами и повторяли:

— Ишь ведь как оно...

И, поговорив еще немного, заканчивали вполне жизнеутверждающе:

— Ну, ничего, молодой, народит еще.

И дети действительно рождались...

Три зимы Мишка кое-как пролежал на кровати, а на четвертую собрал поселковых ребят и взялся учить играть на гитаре. Так я с ним и познакомился.

Через два-три месяца все ученики, кроме меня, разбежались. К чести Мишки, денег он не брал — его, видимо, совсем доканывало одиночество, и чтобы как-то протянуть до весны, он и взялся за это сложное дело.

Учиться оказалось не так просто, как мне представлялось. Подушечки на пальцах потрескались, мозоли несколько раз лопались — часто я занимался не от головы. И время от времени отчаивался. Но вспомнив, как залихватски отхватывал Мишка то чардаш, то «Две гитары», то еще какой-нибудь из бесчисленных цыганских танцев, я вновь обретал потерянное усердие.

Весной к Мишке опять стал захаживать священник, и после занятий мы сидели втроем: Мишка пел, батюшка пил, а я смотрел на них.

Чего они только не придумывали! Даже как-то взялись распевать церковные песнопения. И из Мишкиного дома несся во всю улицу звучный голос пьяного священника.

Со временем обязанность провожать батюшку до дома перешла от темной улицы ко мне.

— Здравствуйте, я вот батюшку привел, — говорил я дрожащим голосом попадье и, осмелев, добавлял: — Он, пьяненький. Немножко.

Попадья брала в охапку священника и тащила домой, в то время как он пытался осеменить меня крестом.

— По той же дороге пойдешь... Пошел домой! Чего стоишь! — кричала попадьа, не забывая благословить меня на счастливую жизнь каким-нибудь интересным словом.

Наконец пришла весна, а за ней и лето наступило. Мишка мигом сделался пастухом и снова почернел.

— Фу ты, черт какой! — восклицали жители.

Однажды Мишка возвращался с коровами и услышал про себя другие, необычные слова:

— Смотри, Мишка-то одумался. Во какой сразу стал!

И действительно: Пастух заменил свои худые штаны и рубаху. И сапоги где-то еще выгадал.

На следующий день история повторилась. А через неделю все привыкли и только говорили:

— Фу ты, черт какой. Вырядился, как на свадьбу!

А Мишка и в самом деле задумал жениться. Как он собрался вести свою жизнь, никто не знал. Но это никого не волновало. Ведь никто же не задумывался, как он появился в поселке, и Мишка — в первую очередь.

Своей избранницей он сделал Катерину — молодую, полную во всех отношениях девушку с вечно красным носом и красными щеками.

Катерина работала в магазине и была единственной сменщицей другой продавщицы — какой-то тети Тани, а может, и Гали, которая слыла, с ее собственных слов, за «истинную христианку».

Но чаще я слышал о ней другое:

— Карга старая. Тьфу!

Или:

— Как ее... эта... мегера! Во!

И стал Мишка захаживать в магазин: то за спичками, то за чаем, то опять за спичками. Даже курить пробовал, но плюнул на это дело. Лучше уж пить! Он и без сигарет важный парень. Правда, пачка «Балканской звезды» всегда лежала у него на столе. И спички он покупал без конца. Но по коробку.

Как бы то ни было, вскоре Мишка с Катериной стали прогуливаться под руку. И когда пастух слышал «Фу ты, черт какой!» — так грозно смотрел на говорившего, что скоро говорить о нем как о черте стали только за его спиной:

— Фу ты, черт! Какой злющий стал!

Как пастух все провернул с Катериной, так и осталось загадкой. Занятия со мной он забросил. Правда, достал откуда-то гитару с кривым грифом, подарил мне и отправил в свободное плавание.

— Все. Вольный казак! — и, хлопнув дверью, побежал в магазин к Катерине.

Все шло к свадьбе. Даже тетя Таня-Галя в порыве благочестия, как она выражалась, не смогла отстоять свою дочь. Свадьбу назначили на осень. Катерина, чтобы узнать о будущем, напросилась в гости. Пришла она вечером к Мишке. Свет в доме не погасили, но часа через два она — красная, потная, злющая и, конечно, красивая — хлопнула дверью. И, как говорят, крикнула на всю улицу:

— Козел проклятый!

И, уже уходя, не удержалась и добавила:

— Черт!

Не знаю, то ли Мишка ей не угодил, то ли она ему не понравилась, но, не дождав-шись конца лета, пастух исчез неизвестно куда. Видно, недаром его звали чертом.

Много чего говорили. Одна только тетя Таня приписывала все благодати божьей, сошедшей на Екатерину. Впрочем, что она под этим подразумевала, известно не было...

О Мишке никто, кроме священника, не горевал. Без своего друга отец Евгений совсем запил, даже службы стал пропускать. Что касается меня, то я погрузил недельки две и был таков: молодость только вступала в свои права, и у нее были дела куда важнее. Да и уехал я вскоре.

...А когда вернулся — не знал зачем. Искать уже было нечего. Поселок менялся, обрастал чем-то новым, какой-то другой жизнью, которую мне не хотелось принимать. «Все к лучшему, все к лучшему», — повторял я про себя, и это на время примиряло с действительностью.

Я пытался расспрашивать о Мишке, но о нем никто не только ничего не знал, но даже не вспоминал. Ни слуху ни духу от пастуха не осталось. Катерина вышла замуж за сына священника — единственного, который выжил, больного, вечно кашляющего, но приобретшего неведомо каким образом достаток, — и укатила в город.

Отец Евгений погряз в пьянстве. Ноги у него отнялись, и он лежит целыми днями на кровати и посылает свою супругу за водкой. А та на все махнула рукой. Иногда, в минуты просветления, батюшка силится что-то сказать, делая дрожащей рукой привычный жест крестного знамения. У него ничего не выходит, и он плачет и плачет — кажется, бесконечно. А потом кричит себе водки и снова впадает в пьяное забытье.

Священника нового не назначили, церковь растащили. И стоит она, кивает незнаемо чем: даже крест на куполе и тот ободрали.

Все то недолгое время, что я был в поселке, мне казалось, что стоит только чуть-чуть замедлить время, прибавить еще несколько дней, и пастух снова покажется на дороге. И я снова услышу, как кто-нибудь говорит:

— Фу ты, черт какой идет!

— Черт, — произношу я вслух. И так ласково и тепло звучит это слово в комнате, даже Христос в углу улыбается, ну и я, конечно.

Но Мишка так и не объявился. Дом его лет пять назад снесли, поставили забор, но дальше дело не пошло. Так и стоит заросший пустырь, огороженный досками. И когда я прохожу рядом, то вспоминаю далекое время и цыгана Мишку и надеюсь, что жизнь у него хоть как-нибудь да сложилась.

ЧЕРЕМШАНКА

1

В субботнее утро отец вернулся с рыбалки и пошел в гараж, старый, советский, выложенный красными, понабранными отовсюду кирпичами и покрытый крышей из шифера, который каждый год латали. Вдоль стены стоял ряд поленьев, и между ними то и дело попадались пачки от сигарет: то синяя «Балканская звезда», то красная «Прима», то белая, от папирос, «Беломорканал».

В гараже стоял мотоцикл, но отец редко пользовался им. Даже на далекий покос ездил на велосипеде — уезжал рано утром и к вечеру возвращался. А потом приезжал старый-старый ЗИЛ, ржавевший в иное время на соседней улице, и перед домом на поляне вырастали стога сена, на которые так хорошо было забираться и скатываться вниз — прямо в канаву — и опять, и опять, пока сено не утаскивали на сеновал.

Всего этого не было уже лет пять. Корову резали, и ежегодные телки и телята Гаврюши и Милки не бегали по двору, и не приходилось, сидя на крыльце, смотреть на них, хлопать в ладоши и смеяться. Но смерти этого мира я не ощутил. На сеновале еще оставались косы, и вилы, и даже дюжие охалки сена. Да и гараж стоял, крепился прошлым.

Отец выкатил мотоцикл из гаража и, увидев меня, махнул головой, мол, давай залазь — поехали. Я был рад этим скупым моментам радости без лишних разговоров, так же как и в прошлом мире, когда отец брал меня на руки и подбрасывал к потолку или крутил над собой. А я летал и смеялся, видел белый свет сверху, видел, как кошка Муська бегаёт вокруг, и поэтому смеялся еще громче.

— Куда это ты собрался? — спросила бабушка кого-то из нас.

— На Черемшанку съездим, посмотрим, — ответил отец.

Из ниоткуда появилась заспанная сестра и заверещала:

— Я тоже хочу, тоже хочу!

Отец, недолго думая, махнул головой, и после совершенно ненужных, с его точки зрения, приготовлений с нами оказались бутылка молока и пакет с блинами.

Мы с сестрой сидели в коляске. В шлеме было неудобно смотреть по сторонам — я все время бился головой о голову сестры и каждый раз смеялся при этом. Когда мы ехали по поселку, я еще вертел шеей, но в лесу бросил это дело и смотрел только на руки отца — как он поворачивал руль и спокойно выжимал газ.

Я не помню, как мы выехали из леса на дорогу, но ветер подул мне в лицо с такой силой, что я стал захлебываться воздухом. Отец разогнал мотоцикл, и мы переехали на скорости ручей — вода полетела на меня. Я до сих пор помню это — кристальные капли воды в желтом отсвете солнца. И пахнут они бензином.

— Все. Приехали. Вылезайте, — сказал отец.

Мы с сестрой вылезли из коляски. Отец докатил мотоцикл до ручья, где он принялся мыть «Урал», а мы пошли побродить.

— Далеко не ходите! — крикнул отец нам вдогонку.

Слева от нас текла небольшая река, в одном месте она резко сужалась и становилась ручьем, а потом снова рекой. А справа стоял остов дома, поросший травой. И колодец — черный и пустой. И ничего больше. Только лес со всех сторон.

Отец купался в реке, когда мы вернулись.

— Ой, щука укусила, ой, окунь, — выходя из реки, он подпрыгивал, брызгая в нас водой. И я смотрел на него — большого, сильного и молодого.

Я все смотрел на него, а мы уже ехали обратно, и позади оставался поросший травой дом и пустой колодец. И небо было беззаботно-облачным, и солнце светило легко и непринужденно, захочу — пойдет дождь, захочу — будет сухо. И казалось, что старый дом и колодец — все это временно, все это ненастоящее, что придут люди, починят дом, выроят новый колодец и заживут старой жизнью. Той, в которой будут и сенокосы, и корова, и старый ЗИЛ. И теленок, бегающий, стучащий копытами по асфальту двора.

2

— Пойдем на Черемшанку? — спросил меня отец.

— Зачем?

— Прогуляемся да веток на метелки наломаем.

— Ну пошли, — неуверенно протянул я.

— Ну все, седлай сапоги.

Бабушка охала да ахала, как бы я не застудил ноги.

— Да нормально, — только и говорил я, пока отец курил во дворе. Вернувшись, он вытащил из комода портянки и намотал их мне поверх носков.

— Учись, пока я жив. Ну-ка походи.

Я прошелся по кухне.

— Нормально?

— Да.

— Точно?

— Ну да.

— Ну пойдем тогда.

В конце октября в поселке хорошо. Дожди уже не идут, а снег еще не выпал. Стоит какое-то безвременье — не зима, не осень. Гулкий подмерзший тротуар стучит под ногами — живет своей жизнью и замолкает только во время порывов ветра. И главное — дышится легко. Воздух настолько хрупкий, что ломается, когда выпускаешь пар изо рта. А пар поднимается вверх и не тает, исчезая за гранью дыхания.

Знакомые уже не кричат через дорогу: «Здорово!», а спокойно поднимают руку как приветствие не нам, а осени: «Ну здравствуй, что ли». В лесу же совсем тихо, только сосны раскачиваются, потрескивая. А земля молчит.

Нам не о чем говорить с отцом, поэтому мы тоже молчим. Прошлое затемнилось, и мы не можем разговаривать и смеяться, как раньше. Мы миновали точки сближения и теперь уходим друг от друга все дальше и дальше. Как мне хотелось, чтобы отец на-

учил меня всему: столярничать, плотничать — мастер он на все руки. Но я боюсь ему сказать это, и он, наверное, тоже не может произнести: «Пойдем, рубанком работать научу» — и говорит только:

— Молоток подай.

Или:

— Вон гвозди лежат, принеси.

И заканчивает всегда:

— Да я сам справлюсь, иди.

Из леса мы ходим на проселок, вдоль которого тянутся поля.

— Вон коров тут пасли, я еще помню. Прибегал сюда.

Деревянные столбы прочно стоят в земле. Колючая проволока, кажется, намертво прицепилась к ним. Я всматриваюсь дальше, но ничего не вижу, кроме покрытых инеем полей, желтых, гнущихся под ветром и плачущих без солнца.

На повороте встает Черемшанка, прозрачная, покрытая льдом река, и далекий остов дома с черным колодцем. Трава завяла, и дом совсем открылся. Я вижу обгоревшие бревна — черные, землю — черную и колодец — черный, с прозрачной водой, в которой плавают лягушка. И вдруг — оранжевые ставни. Но как неестественно смотрятся они на этом осеннем фоне, разломанные, выцветшие, облупившиеся.

Мы ходим вдоль русла реки, и дом то появляется, то исчезает из моего зрения. И я все время о нем думаю.

— Мелкий ты какой-то и хилый, — по-доброму говорит отец, когда я не могу наломать ивняка: вот смотри.

Он спокойно отламывает ветку одним движением руки.

— Учись, пока я жив.

Обратно мы возвращаемся по другой дороге.

— Не устал?

— Нет.

— Точно?

— Ну да.

Мы спускаемся в поселок, и мне становится грустно. Я оглядываюсь назад и вижу Черемшанку, которую вот-вот занесет снегом. И понимаю, что никто не придет туда и не поставит новый дом. Будет он стоять так же и догнивать на пару с колодцем, пока кто-нибудь ради потехи ли, а может, и ненароком не спалит дотла то, что еще называется жизнью, пусть и заброшенной.

3

Когда я вышел из дому на улицу, почувствовал: весна. Через несколько минут ходьбы воздух замерз. И тогда я осознал, что осень пришла бесповоротно. Как ее ни отгоняй, все равно наступит. Солнце отдалилось от меня — не грело, не светило, только слепило затвердевающий колкий воздух, который теперь не продавишь до весны.

Я вышел засветло, но в ноябре уже в пять темнеет. Мои часы показывали три, и время не двигалось. Впрочем, дороги совсем немного — три километра туда да три обратно. И вот я уже иду по ноябрьскому лесу.

Снег аккуратно хрустит под ногами, сухой, не преломляющийся в свете дня, да мне и этого хватает. Постепенно поселок исчезает среди деревьев. Иногда я останавливаюсь и слушаю свое дыхание, выпуская пар изо рта.

Лес весь изъезжен. Везде ямы, колеи: видно, лесовозы все едут и едут — то там вырубка, то здесь. Из-за этого я не всегда понимаю, куда идти. Но вот выхожу на грязную осеннюю дорогу. Справа — все те же столбы выгона в колючей проволоке, и, кажется, ни души. Только где-то изредка слышна бензопила, но точно не «Дружба» и ревет где-то лесовоз, но явно не ЗИЛ.

За поворотом я останавливаюсь: ищу глазами ветхий и старый дом. Но его нет, а я-то думал, он поприветствует меня, спасибо, мол, старика навестить пришел. Дальше по дороге лежит асфальт. И просека уводит его куда-то за те места, где мы с отцом ломали ветки на метлы. А по обе стороны от дороги — дома, кирпичные, разноцветные, и указатель, на который я не хочу смотреть. Слова начинают качаться во рту, я сплевываю их на грязную, не желающую замерзнуть дорогу.

Отцу я ничего не сказал, как пошел. Да и кажется мне это каким-то бессмысленным. Ведь он сам ту же память, что была у него, передал мне. И я сам стал с ней что-то делать. Иногда мне хочется обо всем ему рассказать: о том мире, который вышел за грань прошлого. Обнять, поцеловать хотя бы... Но когда я вижу размытые, усыпанные временем черты лица, мне не хочется его тревожить. Пусть все остается, как есть.

Дома нет. Колодца нет. И реки нет. Есть лишь дома, построенные на пепелище, в которых будут жить люди, ничего не знающие о прошлом. А я вот иду по дороге. И когда все уйдут, останусь только я. А после меня — никого.

На дороге появляется лесовоз. Я отхожу в сторону. Едет за моей спиной зеленый ЗИЛ. Хорошо, думаю. Около меня он останавливается.

— Подвезти?

— А ты куда?

— На сорок девятый, а потом через поселок.

Я запрыгиваю в кабину, и мы трясемся по ухабам и кочкам.

— Оттуда ты? — спрашивает меня шофер, показывая куда-то пальцем.

— Нет.

— А откуда? Грибник, что ли? — и звонко смеется своей шутке.

— Из поселка, — отвечаю я.

— А...

Мы едем, шофер все что-то рассказывает. Ни слова не доходит до меня. Он смеется, а я улыбаюсь в ответ и вспоминаю столбы с колючей проволокой — единственное, что осталось от прошлой, совсем другой жизни. И жаль мне их, жаль шофера, жаль его старую машину, и это ноябрьское темно-синее небо, и себя, потерявшего что-то, от чего осталось только четырнадцать деревянных столбов и триста метров ржавой проволоки.

СЕНОКОСЫ

1

Утром я их всех видел. Они уезжали косить. Думали, что сплю, но я не спал. Ворочался с боку на бок с закрытыми глазами, а когда открывал их, было совсем светло. Меня опять не взяли с собой.

Все дни сенокоса я ходил как неприкаянный из угла в угол по дому и двору. Весь день лазил на сеновал и высматривал оттуда машину с сеном. Завидев что-нибудь похожее, я съезжал по лестнице и выбегал на улицу. Не они ли? Не едут ли? Хотя знал, что приеду только вечером.

Иногда я забегал в дом и смотрел на часы: время там двоилось и не определялось так, как я хотел. Оно никак не определялось: я не знал времени.

Когда кошка начинала крутиться у моих ног, я прекращал свои бессмысленные занятия. Она служила мне вместо часов. Если она лезла ласкаться, значит, поела. Поэтому я садился за стол и ждал обеда. Иногда ждать приходилось долго.

Я сидел за столом, а бабушка вносила еду в комнату и говорила:

— Садись кушать, потом набегаешься.

Я еще раз садился и, наевшись, вставал, неизменно добавляя от всей души:

— Спасибо!

На это спасибо я очень надеялся. Но сколько бы я ни говорил, время не шло быстрее, с покоса не возвращались, а утром с собой не брали.

Когда в церкви отзванивали колокола, я шел ужинать и снова садился за стол.

Возвращались с пастбища коровы. С ними, а особенно с нашей Мартой, я был не в ладу. Когда она не была на выгоне, то стояла и жевала сено, высунув голову за ограду конюшни, хотя коней я там никогда не видел. Я много раз пытался подойти к корове и погладить ее, но она каждый раз норовила задеть меня рогами — лениво и даже слегка сентиментально, вроде уйди, проклятый, надоел.

Каждый год Марта приносила то теленка, то телку. Дети ее живо откликались на ласку и всякое проявление к ним внимания, слюнявя мне штаны, лицо и футболку. Потом они куда-то исчезали. Куда, я не догадывался, но мяса нам хватало.

Я уже умел завязывать шнурки, читать не по слогам, тараторить без умолку, жевать жвачку, как взрослый, хотя бабушка говорила, что как конь, и ничего не забывать. Скоро меня должны были отдать в школу, в которую я по странной случайности стремился всей душой. Но на покос все равно не брали.

— Подрастешь, будешь сено грести, а пока не вырос, — говорила мама.

У мамы были часы со стрелками, у отца с цифрами, а у бабушки на цепочке. А еще в каждой комнате висели на стене часы. И поняв, что быть достаточно взрослым — это уметь определять по ним время, я решил им стать, чтобы меня взяли на покос.

Целыми днями я крутился около циферблатов разного пошива. Водил стрелки туда-сюда, сгибал их, переписывал цифры, вынимал батарейки — ничего не получалось. Так мне и приходилось жить посредством кошки и колоколов.

Я всегда вовремя приходил ко двору Ивана. Аккурат тогда, когда приезжала машина с сеном. Его долго не сбрасывали, и грузовик стоял около дома — старый-престарый ЗИЛ.

— Со времен царя Гороха, — говорил Иван.

— А сейчас какой царь? — спрашивал я.

— Пьющий, — отвечал он.

— А времена?

— Ненадежные.

— А ЗИЛ?

— Старый-престарый. Чего пристал? Иди сено греби! — отрывисто говорил он.

— Я подрасту, буду сено грести, а пока не вырос.

— Кто говорит?

— Мама.

— Щас ремень достану и посвящу во взрослые.

— А так можно?

— Можно, — задумчиво отвечал Иван. — Только надо, чтобы мамка не видела... чего пристал? Иди давай!

Когда сено выбрасывали на поляну перед домом, со всех сторон сбегались соседские ребята. Иван и многочисленные дяди и тети тоже были на месте. Только отца с матерью все не было.

Они появлялись на дороге: отец вел велосипед за руль, а мама шла рядом с ним, держа в руках что-то.

— Еще сено. Ура! — взалел, как дурной, кричал я. А это были полевые цветы.

— Такой молодой, а уже того. Эх ты, паря, — смеясь, трепал меня по затылку Иван.

Родители шли по дороге не торопясь, улыбались друг другу и о чем-то разговаривали. Шли они так, что, кажется, не замечали ничего вокруг. А мы все смотрели на них.

ЗИЛ уезжал. Копны сена лежали на поляне и никак не хотели исчезать. Казалось, можно бесконечно прыгать по селу, зарываться внутрь, скатываться с него. Но охапки исчезали одна за одной и водворялись на сеновал.

К темноте ребята все разбегались, взрослые уходили в дом. А Иван сидит себе на скамейке и молча курит, глядя на стоящие у ворот вилы. И я, с никому не нужным весельем лазаю все еще по сеновалу, забираюсь на сено и уже совсем нерадостно качусь вниз...

2

Самым лучшим косарем в поселке был Иван. Сам он хозяйства не держал, но помогал за бутылку всем, кто ни попросит. Жара стоит — он косит, дождь идет — а он машет и машет косой.

Когда проходишь около Иванова дома, только и слышно: вжих! вжих! вжих! — точит косу Иван. И все ему, казалось, кроме покосов, было безразлично. Знай себе работай косой да работай, хотя бы травы и не было.

Иван жил у горы, недалеко от нас. С гор спускался лес, и, спрятавшись в деревьях, можно было видеть, как Иван ходит по заросшему огороду туда-сюда с косой. То здесь ее попробует, то там. Потом отложит в сторону и снова по огороду — из края в край. Или сядет косу точить, а потом снова примется за ходьбу.

Мне хотелось научиться косить, как Иван — ловко и быстро, чуть ли не под корень срезая траву, или сидеть и точить, точить лезвие косы и прохаживаться, ну, пусть не по огороду, а хотя бы по двору.

Часто я ходил смотреть за работой Ивана и все хотел подойти к нему, попросить научить меня делу. Но, видимо, у него были еще и другие заботы, и пока я набирался смелости, Иван исчез.

Через несколько лет он вернулся. Приехал на автобусе с большой сумкой, за месяц справил подветшавший дом и стал жить так же, как раньше. Только я заметил, что припадает он на одну ногу. Отец сказал, что Иван хромал всегда. Приближался сенокос.

— Папа, научи меня косить, — приставал я к отцу каждый день.

— Мал еще, — только и отвечал он.

Один раз я заплакал, стал кричать и бить кулаками в стол:

— Научи! Научи! Научи!

Отец вышел в другую комнату и вернулся, неся в руке солдатский ремень с бляхой.

Я вырывался, плакал и слышал, как мама стояла, поникшая, в дверях и слабо говорила:

— Сережа, не надо. Сережа.

Несколько дней после этого я старался не показываться отцу на глаза, разве что за столом. Но все-таки наткнулся на него в сених. Он потрепал меня по голове, улыбнулся, и все вернулось обратно.

Потом, подростком, я часто разжигал в себе эту рану, мнимо накручивая себя, только бы вызвать раздражение против отца. И сам знал это, но продолжал.

А когда вырос, стал понимать его. Вряд ли он действительно не хотел научить меня косить, передать это искусство от отца к сыну, как повелось. Наверное, уже тогда чувствовал, что не за горами распад старого мира, что недолго этому миру жить. А там, в другой жизни, на кой все эти косы и вилы? Только мучить себя потом.

3

Они снова стали с утра уезжать: подошли сенокосы. Уезжал и Иван.

Вечером все возвращались. И в ожидании, пока копны сена вырастут у нас под окнами, я бегал по поселку к своим первым друзьям: к ним сено уже привезли, и мы играли, возились в нем и, конечно, катались, как с горы — в траву, в канаву, в лужу.

Отец с матерью в эти дни уходили ночевать на сеновал. Я тоже хотел с ними, но бабушка не пускала меня. Потом я решал, что полночи буду плакать, но почему-то засыпал.

В сентябре, после сенокоса, Иван снова исчез.

— А куда делся дядя Иван? — спрашивал я у отца.

— Душу ему война искалечила, — отвечал он и добавлял еще что-то, какие-то слова, случайные, не подвластные ни мне, ни ему. Но запомнил я только слова про душу, а еще бабушку, качающую головой, и безответные глаза мамы.

Иван вернулся ровно к сенокосу. Дождливое небо к его приезду просветлело. Почерневший дом обсох. Установилась такая сушь, что я несколько раз в день бегал с пятилитровыми канистрами за водой на колонку — не оттого, что хотелось пить, а потому, что жарко и так надо.

Поселок почти вымирал на время сенокосов, только старики да старухи сидели по домам за закрытыми ставнями.

Я рисовал на асфальте мелом какую-то ерунду и не заметил, как ко мне подошел человек.

— Что рисуешь? — спросил он.

Я узнал Ивана, но виду не подал. Казалось, так и надо было.

— Самоходку, — ответил я первое подвернувшее под язык слово.

— Самоходка не такая.

— А какая?

— Давай покажу.

Иван взял мел и нарисовал что-то на асфальте.

— Вот так, — закончил он.

— А-а-а... — только и протянул воздух я.

— Ты ж Сережкин сын? — спросил Иван.

К тому времени я знал, что я Сережкин сын, поэтому без труда ответил:

— Угу.

— Ты же знаешь, что я Иван?

Я кивнул головой, да с таким видом, который говорил, будто это и коням известно.

— Бабушка дома?

— Угу.

— Не говори никому, что я здесь пока. Лады?

— Лады, — бойко ответил я и протянул Ивану руку.

— Я потом расскажу, — ответил он, улыбаясь и с чувством трясая мою руку. — Ну бай. Рисуй давай, Левитан!

— А что такое Левитан?

— Это значит хорошо.

И я понял, что мне надо рисовать хорошо.

Иван пошел к себе в дом. Стало слышно, как он точит косу, но каким-то неестественным, приглушенным, стыдливым был этот звук.

Я сидел на скамейке у дома, качал ногами, а бабушка смотрела в окно и щелкала семечки. К дому Ивана подъехала милицейская машина. Милиционеры вышли, постучали в окно, посмотрели на нас и уже развернулись, чтобы уйти, как дверь Иванова дома отворилась. Через некоторое время его в крови, в разорванной рубахе вывели, посадили в машину и куда-то увезли.

— Господи Иисусе, — бабушка крестилась и все время поминала раба Божьего Ивана. Мне она ничего не сказала.

Вечером бабушка сказала:

— Опять, поди, ограбил. Или убил кого.

— Душу ему война искалечила, что тут говорить, — ответил отец.

— Это он который раз...

— Не помню я.

— Должно бы уже до конца. А то сбежал. Теперь надолго.

— Теперь надолго...

На покосе время остановилось. Трава в еланиях на метр вымахала. До следующего взмаха косой здесь тишина. Идешь по этой глуши в жаркий день, остановишься и сразу услышишь: нет ничего, кроме тишины деревьев, слепой тишины недалекого ручья и жаркого, стоячего воздуха, который тоже молчит. И себя не слышишь. А смотришь в небо — понимаешь, что ничего в мире, ничего, кроме этого бескрайнего, непостижимого, непередаваемого.

Идешь, и летит из дворов ни с чем не сравнимый запах свежего сена. Пропитываешься, пропотеваешь им за лето, ползая по сеновалу. А потом просыпаешься ночью. И все видишь в ночи, когда льет косой дождь, барабанит в ведра, хлещет грубый асфальт двора, стучит по шиферу крыши. И слышишь запах свежескошенной травы — прелой, летней, зеленой травы.

И во всем этом стоит вечное, неподдельное лето — ни забот, ни тревог. И мать с отцом так робко держатся за руки, когда мы идем домой. А вдалеке еще слышится голос дяди Ивана — лежит пьяный он на сеновале и поет. И я настолько мал, что не могу услышать деревья и слушаю человеческий голос. А он плывет, плывет и тонет где-то в небе — звездном до капли, которые падают, падают, но их я тоже не слышу.

А было это по осени. Сенокос так затянулся, что в августе мы и не убрали сено. В сентябре оно размокло. А в октябре пожелтела, посохла трава...

Кирилл САФРОНОВ

ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ

БЫВАЕТ

(текст, продающий свободу)

Бывает — так, бывает — сяк.
Ты то — фонтан, а то — иссяк.
Это — закон, а не косяк.
Ты слышишь, киса?
Даже тогда, когда не прет —
несись на всю, живи вперед.
Нам — как биограф подоврет —
закон не писан.

МАТЕМАТИКА

(текст, продающий юмор)

Смешно, но математику я не люблю —
с ней слишком просто двинуться.
Скажем, прикладываешь рубль к рублю
и говоришь продавщице: «Теперь — одиннадцать».
Не то чтобы неприличное что-то вещаешь
(не «love me» — прости Господи — «tender, love me»),
да такое слышишь в ответ, что — хоть и прощаешь, —
а приглядываешься — травма на травме.

МУР

(текст, продающий творчество)

Вечер. Комната. Молчанье.
На груди журчит мурчанье —
умудрился кот усесться
так, что я услышал сердце.

Кирилл Сафронов родился в Таганроге. Автор ряда эссе для образовательного портала «New-topew», статей о кино для портала об искусстве «Artifex». В прошлом — студент ИЖЛТ (участник семинаров Л. А. Аннинского и Д. Ю. Веденяпина) и преподаватель киноколледжа «Московская международная киношкола». Публиковался в литературном журнале «Дон», книге ростовских авторов «Волна за волной», поэтических сборниках «Опаньки», «2 lit-ra». Автор книг «Чуйка» (2017) и «Южный говор» (2019). Живет в Москве.

На подушке из «Икеи»
на неясном языке и
чистой музыке без слова
я почувствовал, что снова

вспоминаю — кто я, где я,
что внутри была идея,
что и жить совсем неплохо —
если вне переполоха,

если песней память обнял
и диковинное вспомнил,
если чье-нибудь мурчанье
перебьет мое мычанье.

НА ВЫПУСК УЧЕНИКА (текст, продающий дружбу)

Никите Хома

Всё плохо будет, так что Ма
и Па не защитят —
не надевай тогда ума
кастрюлю на котят.

Всё будет просто дрып-ца-ца —
клубника в молоке —
не забывай, что до конца
трамвай недалеко.

Всё скучно пахнет в ноябре,
в апреле — веселей.
Тех обходи, кто в серебре,
и всяких киселей.

Ты знаешь, иногда — тепло,
но чаще — говнецо.
Но даже получив в табло —
забрасывай в кольцо.

Храни ростки и очаги,
не стереги гастрит.
И, как сказал учитель, — жги —
пока огонь горит.

С ДАНТЕ (текст, продающий философствование)

Земную жизнь достаточно пройдя,
я очутился неизвестно гдя.
Без имени и, кажется, таланта.

Ах, Данте, Данте! Знал бы наперед,
что иногда такое настает —
какого дела б стал я фигурантом!

А так — чего? Тревожится понтон,
река вздыхает, будто бы потом —
когда язык уже ушел под воду,
у берегов непоправимый вид,
и лыба месяца надрывисто блестит
с того чего-кому-почем я продал.

Из ничего — считай, небытия —
поди сваргань чего незнамо гдя
и именем на летопись не брызни —
пароль от точки доступа, увы,
только как тост годится у Невы —
только как слоган непутевой жизни.

Так что же это, слышишь, и про что?
Про то, что все прошедшее прошло,
про то, что лей — на доньшке осталось.
Мы двигались вперед за счет беды,
но вынесло нас явно не туды,
хотя вполне оттуда начиналось.

Земную жизнь достаточно пройдя,
в кармане — ни кредитки, ни гвоздя,
чтоб хоть на чем-то выцарапать имя.
Но пальчиком так сделай «а-я-яй»
и из последних фильтру повторяй:
«Галимо жить, да помирать галимей».

СО ЛЬДОМ (текст, продающий борьбу)

Человек сражается со льдом,
человек сражается с трудом,
и его нехитрый инструмент
пробивает лед, скребет цемент,

но за этим льдом второй есть лед —
человек не рад, что он живет.
Он хотел бы скорбный долг смахнуть,
как букашку, каплю пота, что-нибудь,

и — махнуть, куда-нибудь махнуть,
чтобы v на t равнялся путь.
Его путь в сражении со льдом —
но поди скажи ему о том.

С УЛОВОМ
(текст, продающий родину)

Принципиально — все о'ке.
Я жил, я видел ливень на реке.
Я прятался тогда в особняке
затерянной в безвременье турбазы.
Сосед-рыбак принес улов в кульке,
но я и поздоровался не сразу.
Я провалился в луж кучу малу,
одной ногой — на треснувшем полу,
другой — на стуле, прислоненному к столу,
где на клеенке умирала рыба.
Тот ливень присоединил меня к числу
незнающих — кому сказать «спасибо».

ЛАДОНИ
(текст, продающий любовь)

Ладони привыкают ко всему:
к любви и смерти.
Они сжимали жадно шаурму,
тряслись в десерте,

сворачивались кровью в кулаки,
ловили мячик,
соединялись в домик от тоски
и всех болячек.

Когда же их не впечатлял огонь,
ни спирт в бидоне —
я чувствовал, близка твоя ладонь
к моей ладони,

и верилось — тебя я обниму,
как на концерте,
и вместе удивимся мы всему:
любви и смерти.

Теперь привычна мятость простыни
и гладкость кожи,
меня — если проснулась — ущипни,
чтоб я встал тоже.

Привычное останется во сне,
а нет — прогоним:
прижмись, насколько мыслимо, ко мне —
ладонь к ладони.

ЗНАЕШЬ
(текст, продающий жизнь)

Знаешь — если я умру — не устраивай муру,
а без клятвы на крови — будто я с тобой — живи.

Называй мне города или говори «ну да»,
а не в кайф — не говори, мы с тобой — не словари.

Знаешь, просто иногда приходи — как есть — туда,
где волна волне вослед повторяет: «Смерти нет».

ОСТАЕТСЯ
(текст, продающий послесловие)

А потом — мы с котом помечтаем о том,
как все быть бы могло, да — не случилось.
Все кончается, да: люди и города,
даже — страшно сказать — «Доктор Хаус».

Остается строка, на экране рука
на недавнем на праздничном фото.
Остается внутри — как ты только ни ври —
непонятное теплое что-то.

Вот о нем-то и речь — остается беречь
то, что вспыхнуло и затаилось.
В нашем доме пустом мы решили с котом:
все случится, чего не случилось.

Будет бис и поклон, как замедленный сон,
и цветы, и овации зала.
И гип-гип, и ура, и другая мура —
будет так, как сама ты сказала.

Мы с тобой неспроста, и с пустого листа
начинать еще часто придется.
Ну, и Бог с ним, с листом. Мы-то в курсе с котом:
все проходит, но все остается.

Виталий АШИРОВ

ОСВОБОЖДЕННОЕ СЛОВО

Рассказ

Виктор не любил питаться. Он с давних пор относился к этому свойству человеческой природы как к величайшему проклятию. Он испытывал отвращение. Он морщился. Он скучал за тарелкой. Но был вынужден поглощать пищу. Телевизор служил волшебной сладкой пилюлей, помогающей вытерпеть неприятные минуты.

К нему-то и приблизился Виктор с тремя вареными картошками в миске. Ящик сперва загудел, потом чихнул и озарился голубым сиянием. Опустившись на корточки, юноша истерично зашел пульт, дабы найти нормальный канал, и, продираясь сквозь навязчивое бубнение про национально-национальные национальности наций, сломанные ломы в общежитии на Кутузовском проспекте и падеж крупного рогатого нетрезвого скота с высоты двенадцатого этажа, услышал чрезвычайно лестное словечко «графоман», тут же сделал громче и зажевал, быстро двигая кадыком.

Привлекательная дикторша с длинными распущенными волосами цвета болотной воды начинала издали, и, несмотря на то, что финал был заранее известен, зрители желали снова и снова слушать эту историю, как бы переживая ее заново, — историю нового счастливого общества, в экстазе говорила Татьяна, невозможно представить себе без того, чтобы перед глазами не поплыли жестокие картины нашей далекой старины: крепостное право, власть, сосредоточенная в руках кучки привилегированных негодяев, стон и кровь несчастных рабов, лишенных самого главного — права голоса и письменной речи. По сути, отняв у народа письмо, наглое дворянство гарантировало себе долговременную власть. И чтобы простой человек не смог каким-либо случайным образом вернуть волю, освободиться от гнета безумия, от гнид самодержавия, они обставили элементарнейший процесс письма миллионом идиотских правил — запомнить их невозможно человеку разумному — законами, церемониями, ритуальной символикой, институтами «учебы», «вокабуляра», «нормативной стилистики».

Некий барон Целоухин, самый наглый и беспардонный из всей кровососущей элиты, не по-детски распоясавшийся типок, разработал лжетеорию трех стилей, где художественная речь, как труп, разлагалась на три стили: «высокий», на нем разговаривали сам Ц. и его ближайший круг, средний — косноязычное письмо мелких помещиков — и низкий — язык образованной прислуги. Слово крестьянина, естественно, в теорию не входило, поскольку автор осознанно не хотел, чтобы крестьяне разговаривали и тем более что-то такое непонятное писали, он предпочитал их игнорировать и просто использовать как дешевых животных или механические приспособления для тяжелой работы. «Зачем выделять в отдельную группу грубый язык мебели или столовых ложек?» — примерно так думал идиот, отрицая саму мысль о том, что крестьяне тоже

Виталий Дамирович Аширов родился в 1982 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Юность», «Здесь», «Вещь», интернет-ресурсах «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг. Диаманда Галас за пределами ультрамодернизма» (Екатеринбург, 2019). Живет в Перми.

люди, в них тоже светится огонь творца, они тоже чувствуют, страдают, понимают и умирают и у них столько на душе накопело, что их гипотетическая художественная речь сравнится с речью среды Ц., как океанская волна с тухлой струйкой из ржавого рукомойника. Гниды это подсознательно ощущали и старались правдами и неправдами прятать возможность художественной речи от народа. Говорили по-французски и по-английски, чтобы простолюдин не подслушал невзначай сахарные речи господ и не узнал о том, что в мире есть книги.

Отделение и обособление (хотя это одно и то же) стиля от народа сопровождалось беспримерными казнями, кровавым ливнем, миллионами убитых просто так. Но ведь народ не дурак. Он может терпеть год, десять лет, пятьдесят, но целый век терпеть не будет, кулак его сожмется, набухнет в душе черный ком ненависти. Просочится тем или иным способом в народ тривиальная идея книги — и начнется справедливая месть за умалчивание, за оболванивание, за беспредел.

Вы знаете из курса российской истории, что приблизительно так и произошло — с определенными погрешностями на ранних этапах. Народ и прогрессивные представители дворянства, не разобравшись, взялись за экономическое иго, смели с лица земли крепостное право и положили себе разные полезные свободы, забыв самую главную — свободу писать как угодно, без правил и ограничений. Она была настолько хитро и глубоко репрессирована, что прошло больше двухсот лет, прежде чем люди стали понимать, что вообще происходит в реальности и почему они испытывают неловкость и стеснение, оказываясь перед классическими образцами «высокой» словесности.

Так называемые классики девятнадцатого века вольно или невольно работали на благо чудовишной машины подавления тихого голоса голодных и нищих, голоса странных и непонятных, голоса аутистов и сумасшедших, отчужденного голоса большинства обыкновенных людей — и все ради сомнительного наслаждения кучки высокомерных богатеньких идиотов, о чем уважаемые телезрители, естественно, знают из школьного курса литературы, я лишь напомню, что эти сведения базируются на фундаментальном исследовании историка Антона Сергиенко. Он же сообщает нам: «После того как крестьянство и пролетариат уничтожили многолетнее царское иго, должна была установиться благодатная и счастливая жизнь, однако, напротив, в стране моментально утвердился преступный тоталитарный режим, и кровавое колесо репрессий перемололо миллионы ни в чем не повинных советских граждан, у которых по-прежнему не было права на художественную речь». Да, ряд значительных послаблений все же возник, и тут явная заслуга переворота. Простые люди добились разрешения писать литературные тексты и даже сомнительного права относить оные в редакции газет и журналов, где эти тексты брезгливо просматривали краем глаз проклятые внуки и правнуки разгромленного в пух и прах дворянства, а также их дегенеративные приспешники и швыряли в мусорные корзины. Большевики переняли нормы классической прозы и даже ужесточили, поставив барьеры в виде бюрократии и головотяпства на пути публикации. Свободная фантазия была заменена на идеологический расчет, писательство стало престижной, высокооплачиваемой «работой» — но только для верхушки функционеров. Тексты сделались плотной субстанцией — неудачное, невпопад написанное слово могло решить судьбу человека. У букв словно выросли зубы и когти — правильно сработанной статьей можно было в буквальном смысле убить не один десяток невинных людей. И на подхвате у мизантропической идеологии всегда находились ее верные кровожадные псы, наследство гнилой дворянской системы, — стиль, мысль, грамотность. Три каменных рифа, о которые неминуемо разбивается любовь и человечность. За ними ничего нет, кроме ненависти, тоски, скуки, презрения, стремления унижить и убить, садистского желания контролировать и порыва расщепить на атомы все, что невозможно проконтролировать.

И очевидно, подлая советская республика боялась подлинного народного слова и заменяла его суррогатами, призванными имитировать литературу там, где зияет кровавая яма. Наивные функционеры с промытыми мозгами чистосердечно верили, что занимаются благим делом, «тщательно вычесывали стилистических блошек» из не слишком «начитанных» текстов (понимай — рабских), живого человека втаптывали в грязь за малозаметную палочку, поставленную не в том месте на листе бумаги, презрительно отказывали тексту без правильного идеологического содержания, тем самым выращивая и лелея армию так называемых тружеников пера, «талантливых» (то есть тех, кто отвечает условиям игры), «образованных», «ответственных», «эрудированных» писателей — покорных винтиков системы.

Искусственно созданные бессмысленные слова типа «одаренный», «гениальный» были чем-то вроде корма, бросаемого дрессировщиком зверю за удачно выполненный трюк. Это нам с вами ясно, что пухлые собрания сочинений Достоевского несколько не «талантливей» стихотворения одинокой бабушки из глубинки — про крепкую дружбу жуков и гусей, а самая псевдокрасивая фраза Пруста равнозначна любому предложению из сочинения рязанского двоечника на тему «Как я провел лето». Но тогда людей было легко запутать, «железный занавес» не давал проникнуть правде в страну мерзавцев и негодяев, и гуманитарной интеллигенции приходилось покорно соглашаться с навешанными на них ярлыками.

К счастью, западные государства быстро уразумели, что в СССР творится несусветный бардак, что истинная красная власть кроется не в пушках и танках, а в учебниках русского языка, и стали подрывать нездоровые основы социалистической идеологии, используя изошренные способы — вольнодумные радиопередачи и шпионов с томиками Кафки и Джойса в осьмьюшках. Они нашептывали на уши несовершеннолетним гражданам (у кого не заостенел мозг, не атрофировалась логика), что есть писатели почище Пушкина и Толстого, есть мысли глубже мыслей о Родине, что всего важнее финансовое благосостояние, а романтические бредни о баснословных стройках — чужь, пыль, галиматья, и, вручив томики, ретировались.

Страна в лице лучших представителей начинала пробуждаться, понимать, что можно жить, не молясь на Пушкина, не поклоняясь Толстому и даже, о ужас, не ставя запятых. Эти светлые люди способствовали чудесному августовскому перевороту. Настоящее прозрение еще не наступило, но верховенство правильного языка и правильных книг неуклонно сходило на нет. После падения «железного занавеса» обновленная Россия переживала лучший период за всю свою историю. Бесцеремонная, великая свобода захватила всех и каждого — свобода думать, писать и самовыражаться наобум. Однако невидимые оковы зловеще побрякивали, недобитые подонки с промытыми мозгами (или нечистыми целями) продолжали насиловать разум детей, впахивая в школьную программу обязательное изучение так называемых «классиков».

Культурная ситуация резко поляризовалась и представляла собой картину в высшей степени комическую, не то апокалиптическую»: одновременно существовали (бойко продолжала Т. вязкую стилистику ученого) поборники старой идеологии и новые незашоренные люди. Первые образовали круг посвященных, куда не было доступа «профанам», писали безукоризненно и с воплем ужаса рвали на себе волосы, если видели в книге грамматическую ошибку. Выродки осознали свою немногочисленность в грядущем обществе и заняли руководящие места в журналах, газетах, политических партиях, надеясь таким способом усугубить закабаление человека и в перспективе вернуть прежние тоталитарные времена. Вторые — прогрессивные, авангардные, свободные от предрассудков — флексили и хайпили, жили одним днем, ни о чем не думали, писали для души и просто так и, получая постоянные отказы в издательствах и журналах, не отчаивались, потому что были убеждены: наступит светлый день, и скромное творчество их напечатают, а злобные реакционные мракобесы навсегда исчезнут с лица земли.

Бедный народ, оглуленный веками рабства, признавал первых и посмеивался над вторыми. Бесподобная Американизация и потрясающий Свободный рынок изо всех сил расшатывали эстетические идеалы, но «кретинизм классического толка» плотно въелся в массовое подсознание и добраться до него не получалось. Агрессия и насмешки сопровождали тех, кто взывал к здравому смыслу и пробовал открыть глаза гражданам. Писакам приходилось эмигрировать в сказочную, невероятную Америку.

Грянула середина двадцать первого века, и ничего не изменилось. Эстеты в открытую праздновали победу, сочиняли головоломные правила, проводили годовщины «великих русских писателей», ставили там и сям бронзовые памятники кровавым чудовищам языка — Гоголю, Бунину, Чехову, вырастили целую когорту молодых премиальных авторов, которые писали гладко и с оглядкой на мэтров. Гады ждали удобного момента, дабы подкрутить гайки в экономике и политике. Как вдруг тихой сапой в американском филологическом журнале «Jouissance» вышла статья никому не известного профессора МГУ Бориса Антонченко-Сергеенко. Она называлась «Гамбургские щетки». Автор с первых строк яростно набрасывался на приспешников стиля, и клеймил, и журил, и ерничал, и логически безупречно доказывал фундаментальную несостоятельность общепринятой иерархии литературных авторитетов, и настаивал на исторически обоснованной смене парадигмы. Он заранее привел возможные доводы защитников вертикальной структуры и не оставил от них мокрого места. Инновационная горизонтальная система, представленная в его работе, описывалась только тезисно, но и этого было достаточно, чтобы убедить тех, кто находился в сомнениях, пробудить тех, кто был погружен в спячку неведения, отрезвить тех, кто еще верил в позитивные стороны старого порядка.

Первое время после статьи люди блуждали, как сомнамбулы, по рукам городских улиц, не понимая, что происходит и почему все в одночасье изменилось. Графоман Антон Сергейчук красноречиво описал свое тогдашнее мироощущение: «Из глубокой бездны пришел огромный великан и перевернул земную ось». Напуганные до полусмерти официальные литераторы немедленно откликнулись рядом истеричных опровержений. Аргументы звучали неубедительно, и один автор, умнейший, даже открылся в конце статейки, что понимает правоту Б. А., но признать ее не в силах, — реальность становится страшной, как в детстве, когда ты за руку с отцом бредешь по рынку среди разномастного хлама и ростом меньше всей этой копошащейся массы, над головой нависают прилавки, а пестрые юбки и джинсы образуют хаотические сочетания, собаки и те больше тебя, — плешивый вожак стаи касается жестким хвостом твоей щеки; запрокидываешь голову, чтобы увидеть небо, а видишь черный кусок крыши и бесконечный столб с серебристым отливом, и вдруг над тобой склоняется смуглое лицо цыганки — как солнечное затмение.

После вялой атаки таланты перешли в глухую оборону, а потом и вовсе замолчали, потому что мир взорвался от внезапного восторга и больше не мог вернуться к старому состоянию. Идею Б. А. подхватили в сотнях статей, монографий, телепередач. Особенную ярость вызывали «великие писатели» Серебряного века. Низложенных гениев стали называть «гамбургскими петухами». Тысячестраничное исследование преемника Б. А. носило эпатажный заголовок «Мандельштам — гамбургский петух (тюремные годы Осипа Эмильевича)». Автор убедительно доказал, что талант О. Э. подпитывался безнравственными деяниями. И, по сути, являлся словесным аналогом чистого зла.

Все как-то сразу поняли нездоровый, аморальный и мизантропический характер самой идеи «таланта», заметили ее плоды в виде миллионов оплеванных или уничтоженных жизней и забили тревогу. Хорошо писать сделалось неприкрытым, неприличным. Мастера стиля стали нерукопожатными. Кто-то из бывших сам отказался от глад-

кописи и принялся городить околесицу, на других воздействовали административно. В конце концов (гады не унимались), дабы исключить волнение и бурление, правительство внесло поправки в Конституцию. Теперь там черным по белому значилось: «Гражданин России не имеет права производить качественную художественную литературу (уровень качества определяется советом редколлегий)».

Желая выслужиться и отвести от себя малейшее подозрение в нелояльности режиму, самыми яростными гонителями стали бывшие таланты. И чем даровитее был писатель, тем сильнее выкаблучивался и выкобенивался и тем громче были его проклятия неугомонным собратьям по перу.

Широко распространялось и повсеместно одобрялось доноительство. Тот, кто заметил хороший текст, интеллигентного, вдумчивого автора, свежие идеи, незатертые художественные приемы, обязался сообщить в компетентные органы, в противном случае его могли посадить за укрывательство.

Действующих талантов-диссидентов занесли в специальную черную книгу ФСБ — им объявлялся категорический запрет писать, выступать, пропагандировать. И чем сильнее был талант — тем строже за ним приглядывали.

Чтобы литераторы не распространяли заразу, им настрого запретили выезжать из страны.

Произошли кардинальные перемены в руководстве союзов писателей. Для вступления туда отныне не требовались взносы, публикации, одобрения мэтров — хватало неумного стремления и хотя бы пары строк, тиснутых в школьной тетрадке.

Издательский бизнес процветал. Тысячи мелких издательств образовались после распада монополистов, специализирующихся на качественной литературе. За скромные деньги каждый водопроводчик мог издать что угодно (цензуру в любом виде временно отменили). Периодически проводились халявные раздачи современных книг. И щедрые рекламные акции: «Купи у нас две книги — и мы бесплатно издадим твою!»

Общество лихорадочно перестраивалось под новые реалии.

Классическую прозу запретили держать дома, отныне она использовалась исключительно для учебных нужд.

Ежели ребенок слишком хорошо писал сочинения, его прорабатывали на школьных собраниях, пугали неудами, в запущенных случаях хулигана оставляли на второй год. «Нельзя поощрять у детей литературный вкус и развивать художественный стиль!» — висели плакаты в учебных заведениях. Из уст в уста передавалась легенда о мальчишке, сошедшем с ума от того, что старался писать правильно и красиво. Бедный ребенок постоянно перенапрягался и не выдержал. Уроки правописания отменили. Вместо них ввели занятия литерной индивидуальности. От первоклассников требовалось как можно оригинальнее выводить буквы. Чернильная грязь и всяческие отклонения от учебных норм приветствовались. Учебники и книги демонстрировались в качестве отрицательного примера — так не нужно писать. Темы итоговых сочинений по литературе были, например, такими: «Почему классика — дрянь?», «За что я ненавижу литературу?», «Почему я пишу лучше Набокова, Бродского и прочих распиаренных дегенератов?». Творческий порыв поощрялся, главное было — не создать яркую метафору, не произвести глубокий смысловой анализ. На первый раз проступок прощали (ведь и крыса, беспорядочно бегая по клавишам пишущей машинки, может когда-нибудь набрать интересное сравнение), потом принимали строгие меры воспитательного характера. По субботам проводились так называемые «минутки классики» — ученик зачитывает выхваченные наугад страницы из Достоевского, Бунина, и т. п., бубнит, гнусавит и всем видом показывает: ему откровенно скучно. Язык заплетается в стилистических нагромождениях, но через силу ребенок продолжает трюндеть. Неожиданно резко прерывает выступление и падает замертво, раскинув руки. Его кладут в гроб

и оплакивают, затем мнимого мертвеца уносят, и школьники с веселым смехом обрушиваются на книгу, ставшую причиной смерти товарища, рвут, швыряют, топчут.

К тем, кто оступился и сошел с верного пути, сначала относились с пониманием, как к трудным подросткам или женщинам, пережившим сексуальное насилие. Пишущих разными способами отвлекали от создания текстов — устраивали перед окнами нарушителя шумовые эффекты: запускали фейерверки, били в барабаны, кричали, свистели; звонили в дверь и убегали. Если он отваживался принести рукопись в издательство, ему устраивали прилюдную выволочку, в буквальном смысле. На городской площади с преступника снимали штаны и пороли его, зачитывая в мегафон даровитую рукопись под смех и улюлюканье народа.

Специально для талантов Министерство культуры разработало официальный сборник «Государственных правил правильной письменной речи» — десятки тысяч бессмысленных и бесполезных препон, заголовков и закавычек, способных заставить завывать от тоски кого угодно, только не талантов. Те привыкли к директивам и с воодушевлением брались за штудирование и заучивание новых законов хорошего письма (и лишь спустя недели, а то и месяцы начинали осознавать, что сборник носит иронический характер).

Для того чтобы размыть границы между талантом и бездарностью, рифмованные стихи запретили под страхом уголовного наказания, вплоть до смертной казни. Верлибры всецело поддерживались и поощрялись. Они наряду с визуальной и тактильной поэзией пропагандировались среди молодежи. Под них выделялись гранты. Возникали престижные премии: «Без рифмы», «Освобожденное слово», «Ноп напрягаться».

Возник огромный спрос на документальную литературу — в этой области проявить художественность было сложно, любой человеческий материал имел право на существование. Дневниковые записи, истории болезни, выписки из налоговой — все принималось на ура и зачитывалось до дыр. Слово фикшн сделалось аналогом грубого матерного ругательства — в приличных домах его старались не употреблять.

Сюжет и композиция подверглись остракизму. Публицист Антон Сергеев, автор монографий о своей бабушке, о пакете из-под молока и гностицизме канавы, подытожил общее мнение: «С. и К. — не что иное, как способы манипулирования сознанием. Зомбировать читателя теперь не получится. Он слишком умен, он сам принимает активное участие в игре».

Ирония порицалась как неуместный прием в нонфикшне (и в прозе вообще), нечто отжившее, архаичное, странный реликт диких времен таланта. «Это идиот Андрей Белый мог позволить себе иронизировать, поскольку ирония — одна из главнейших констант хорошего слога, а мы должны, обязаны и будем писать искренне, с душой, передавая сырые, необработанные феномены реальности. Оглянитесь, друзья! Пошарьте под столом. В природе нет никакой иронии. Ей не смешно. Кроме того, не стоит забывать, что хозяева всегда смеются над рабами», — убеждал читателей Сергей Андрейкин, глянцевого «критика».

К слову, идею так называемой журнальной критики отменили в первые годы свободы. Вместо системы литературных рецензий, обзоров и экспертиз внедрили фестивальную форму реакции. На главных площадях города раз в месяц проходили карнавалы критики. Случайным образом из толпы выбирались несколько человек, которые до следующего карнавала объявлялись ведущими критиками города. Они сочиняли короткие бессмысленные рецензии на актуальные произведения и подписывались именами знаковых критиков прошлого. Новые невероятные Мелинский, Пилкин, Жероная, Каблян, Буденков книг не читали, поэтому могли создать триста рецензий за ночь. Одни восхищались «свежими, точно первый день творенья», твореньями, дру-

гие — по сценарию — громили и уничтожали «бездарную погань», третьи писали амбивалентные статьи: хвалили и ругали за одно и то же. Четвертые уходили далеко в сторону и заканчивали обзор, например, подробным пересказом институтского учебника органической химии.

За критиками в массовом сознании закрепился образ унылых никчемных паразитов, достойных исключительно оплевания. Так, собственно, и происходила церемония «сдачи поста». Графоманы поочередно плевали в авторов рецензий, а потом уже лишённые званий и ярлыков граждане кружились в хороводе.

С годами писательская активность неутомимых талантов вызывала у народа все больше отторжения, тревоги и настороженности. Несмотря на то, что количество идиотов значительно сократилось, несмотря на то, что перед ними высились законодательные и социальные препоны в распространении своих текстов, они как-то умудрялись продолжать творческую деятельность и даже, по слухам, отдельные индивиды издавались в Таиланде и прочих отсталых странах — там до сих пор котировался талант. «Нельзя позволять тварям порочить Родину!», «Что делать?! Я вас спрашиваю!» — кричали с трибун депутаты. «Сжечь заживо!», «Вбить гвозди в глазницы!» — раздавались разумные советы из русской глубинки. Но крайние меры были признаны отвратительными. «Мы живем в цивилизованном обществе. Недопустимо калечить и тем более убивать писателей, — заявил однажды молодой депутат Андрей Сергейков, — есть методы интереснее. А что если, — он понизил голос, — что если мы ублюдков посадим в клетки, в зоопарк. И детям будет на что посмотреть. И третий мир не содрогнется от нашего якобы бесчинства. И будущим поколениям останется в назидание».

Идею признали гениальной и потрясающей. За считанные дни обустроили клетки для проживания в них людей. Талантов хватало на улице, вытаскивали из уютных постелей, вырывали из рабочих офисов и волокли в центр города, где их ждали стальные клетки (гиен, слонов и обезьян безболезненно умерщвили). Из удобств только матрац и ведро для испражнений. Увлекательные экскурсии открылись в тот же день. Сначала животные слабыми голосами просили о помощи, угрожали и жаловались. Над ними смеялись. Через полтора года они потеряли всякий человеческий облик: половина сошла с ума, утратила рассудок, речь, личность и превратилась в натуральных зверей, вторая кое-как держалась, но чувствовалось — распад близок.

Оравами валили непоседливые школьники и степенные семейные люди. Отцы улыбались и понимающе подмигивали сидельцам. Дамы брезгливо отворачивались, зажимая носы от нестерпимой вони. Кормить гениев было запрещено, однако дети тайком просовывали через прутья хлебные мякиши, и проголодавшиеся гориллы пера и макаки печатных машинок давились, но ели.

Западное общество было потрясено примером нашего скромного города и переняло замечательный способ укрощения строптивых талантов. Там и сям возникали огромные зоопарки, цирки и, наконец, кунсткамеры. Таланты продолжали волновать фантазию, пусть и немного в ином качестве. Самых умных и покорных зверей пытались дрессировать. Увы, они плохо поддавались обучению, лишь единицы могли выполнить простейшие трюки, типа стойки на двух лапах и лая по команде.

Выбеленные кости издохших животных выставлялись в крупнейших музеях и галереях.

Дабы демотивировать будущих писак, по городу висели красочные плакаты с гигантской надписью: «Талантлив? Добро пожаловать!» И на заднем фоне изображение грязной клетки с приоткрытой дверью.

А мы, дорогие друзья, переходим к самому главному...

Виктор поморщился, выключил телевизор — слушать про замечательных спонсоров не хотелось — и принялся в полной тишине чавкать последней картошкой.

Артем ТРЕТЬЯКОВ

ЛИРИКА ИЗ КНИГИ СТИХОВ И МАЛОЙ ПРОЗЫ «AFTER-P—XXI»

паттерны и не только (из цикла «новый апокалипсис»)

от того, что в чешуйках змеи существует различие более,
чем одна пустота или смысл, лишь равный «0»,
я не знаю, зовут тебя Маша, Марьям или Оле Лукойе,
но я знаю, что ты — это ты, и тебя я люблю.

знак пустой наливается сутью примерно до половины,
миллион языков говорит об одном, собираясь в циклоны зеркал,
потому что принцип работы систем остается единым;
симулякр и плоть — близнецы этих единоутробных начал.

мы не станем добрей, потому что закон катастрофы —
это ритм вселенной, рукой рассекающий бровь
человека — до мозга.
мне страшно.
зачем эти строфы?
чтобы помнить, что жизнь — это жизнь, а кровь — это кровь

гроза (из цикла «новый апокалипсис»)

Мишелью Фуко

лингвистический волос бежит, завиваясь кольцом —
их так много, что текстовый шар собирается в облако;
дома даже еда поворачивается ко мне лицом,
потому что в хлебовом мнется и спит, и не прячется Богово.

Артем Вячеславович Третьяков родился в Свердловске в 1982 году. В 2010 году при кафедре современной русской литературы УрГПУ защитил кандидатскую диссертацию по прозе Е. И. Замятина (переиздано в «Omni Scriptum», 2015). Печатал стихи в газете «Поэтоград», журналах «Урал», «Новая реальность», «Зинзивер», публиковал прозу в портале «Мегалит», а также поэтические переводы с английского в журнале «Зарубежные записки», издательстве «Omni Scriptum» и японского (в соавторстве с М. С. Третьяковой) в журналах «Иностранная литература», «Новая реальность» и «Зарубежные записки». Живет в Екатеринбурге.

а секрет тех чудес и любви заключается в том,
что для дома, рождения, знания, счастья ли, Бога ли
нужна их невозможность: сейчас и тогда, и потом —
это катится шаром и рвется лохматое облако.

...этим утром важнее кривая молекулярной лозы,
в душном небе над домом, что ждет и боится

.....
.....

* * *

N

беломоринки гномик однозубастый —
смятая в шляпке, без трусов и в слезах;
девочка мунка, грибок радиации,
шепчешь на спичке, как стрекоза

h. viscerales

мне снится что твари с глазами как лампы¹

И. Кормильцев

бес, что живет во мне,
напоминает ежа,
у которого вместо игл
много ног-ног рук;
передвигается в любом направлении,
всегда спеша —
это очень быстрый, преданный друг.

писать стихи —
это счастье-не-в-радость,
неуют каждой части тебя
(мне «простят прозаизм»?)
так похожий на Врубеля —
гадость,
от которой может спасти аскетизм.

славная роскошь —
уметь ковыряться в носу!
главное, чтобы ты знал:
надо, н е с о м н е в а я с ь, зарезать себя в лесу —
как только поступит сигнал

¹ Пунктуация в тексте И. Кормильцева — авторская (см.: NAUTILUS POMPILIUS: Введение в наутилу-соведение. М.: Терра, 1997, С. 225).

* * *

ходят пятками
Высоцкий

круглая земля под моим нечаянным шагом —
это не страшно, главное — суметь обернуться
глазом одним, без оправы (чтобы не мешала):
значит, в сторону, значит — с в е р н у т ь с л и ц а.

так и встречаешь планету, вьешься по ветру ртутью,
ночуешь под клювами птиц, в металлических крыльях рейсом «... — ...».
можно долго потом удивляться себе и Путину,
если хоть раз тебя подержал за голову Геббельс.

я ушел отсюда лет девять назад, поэтическим циркулем резал крыльцо,
я себя подарил за стихи и плачу за них буквой «ы-ы» —
это э х о пойдет из меня через лицо,
если я прошагаю до тупого конца иглы

песня эмигранта

на земле, вытертой о мое лицо, можно построить город

* * *

Упали дома.
Кузнечик на голове
Все поет

* * *

Ключ под калиткой
Стал листиком —
Вот-вот полетит

<2015, покидая Киото>

будем как солнце?

а под пленкой темней, прохожу мимо капель,
плавничем-то скользя по прозрачной двери.
дышит зелению. но каждый взмах — только скальпель,
и не влиться насквозь, чтоб смотреть изнутри

* * *

Плывет.
Пушкин

если любишь ходить по воде и остаться живым,
то для этого вовсе не нужно усердие или обман,
надо куртку одеть чуть со скрипом — в нажим,
и тогда под ногами тебя не поймают в карман.

если есть куда упереться ногами, руками ли —
свою куртку зовешь по-смешному: «кораблик».

не поднимет за челюсти огненный обруч уже,
не напустишь под ребра ловких железных ежей;
в девиации шага и меж человеческих лиц —
проходное окно (шапито) для огромных, стремительных птиц.

по дороге от дома к дому
или даже
половинка дня или
это несколько месяцев — так же
как морской снег², что летит до самой земли

² Морской снег — это не метафора, есть такое явление природы.

Иван ВОЛОСЮК

ВОЛОШИНСКИЙ ЭКСПРОМТ

Мой милый друг! Такая ночь в Крыму...

Александр Кабанов

Мой милый друг! Такая ночь в Крыму,
что небо превращается в тюрьму
и каждая звезда сияет с вышки.

От вечности отрезанный ломоть
оставил нам всевидящий Господь,
а мы уткнулись в гаджеты и книжки.

Иди, мой друг, пространством шелестя,
ты в этой жизни тихое дитя –
пришел твой час стекло царапать ногтем!

Я ненавижу этот странный звук,
но лучше он, чем тишина вокруг,
в которой вы родились и умрете.

* * *

Возьми домой угля в ведре
и высыпь в зале на ковре,
сойди с ума на этой теме.

Пример соседям покажи:
из черных камешков сложи
прообраз Солнечной системы.

Живи в лачуге, ангел мой,
ходи раздетый и босой,
найди себе на свалке посох,
и все поймут, что ты философ.

Иван Волосюк родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области. Выпускник русского отделения филологического факультета Донецкого национального университета. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Новая Юность», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Новый берег», «Интерпоэзия». Участник ряда форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Фестивалей Фонда СЭИП на Украине и в Беларуси. Дипломант XV и XVII Международных литературных Волошинских конкурсов. Стихи переведены на итальянский, болгарский и сербский языки. Живет в Донецке, пишет региональные обзоры для портала «Год литературы».

Снаружи мировой пузырь,
внутри — изъяны и пробелы.
Вот снег, что падал на пустырь,
сначала он живой и белый,
потом чернеет – и вот-вот
о смерти что-нибудь сболтнет.

* * *

А еще я судьбе благодарен...
«Любэ»

За то я буду Богу благодарен,
что в этом мире, в общем, нежилом
я жил на крыше, я сидел в подвале,
пропеллером жужжал, махал крылом,

летучий воздух прятал в оболочку,
вокруг Земли промчался в одиночку
на спутнике (он тоже пионер).
За то, что, город сдвинув с мертвой точки,
писал стихи, вконец офонарев.

Что трижды пережил замену флага
и видел сам: быстрее, чем тает снег,
в стране, что возвратилась из ГУЛАГа,
решетка превращается в хештег.

Еще за то, что незнакомый мусор
не бьет меня (наверно, пацифист),
что я иду, выбрасываю мусор,
а это новый премиальный лист.

* * *

Нельзя прозреть, везде двоичный код,
«ваш мир – туман», – Вачовски нам сказали,
хоть иногда поверх текучих вод
шныряют птицы с умными глазами.

Повсюду грязь, а там, где корабли
вчера стояли, мусор постелился,
молчи, дурак, и думать не моги,
зачем ты в этом месте поселился.

Тоска тебя мучительно сожрет,
и ты лишишься сна и дара речи,
и все равно, что лебедь наплетет
тебе на диалекте человечьем.

А после окиян подымет вой
и выплеснет пакеты и бутылки.
Мы жили у черты береговой,
могли свалить, но так и не свалили.

THE TIME MACHINE

Я здесь живой, в единственном масштабе,
зачем же мне мерещится во сне
кошмар Уэллса, где гиганты крабы
шевелиются в багровой полумгле?

Собрать из кофемолок и айподов
хроноциклет размером с броневик,
способный перебрасывать свободно
в ненаступивший или прошлый миг.

Ни тот, ни этот свет не опротивел
так нестерпимо, чтобы под Москвой
купить в гаражном кооперативе
участок для постройки мастерской.

К чему искать кротовую прореху
в пространстве, пораженном кривизной?
Я не настолько головой поехал,
чтоб разбирать, кто морлок, кто элой.

* * *

мать с отцом и брат...
Алексей Цветков

В стране советской вечный был destroy,
ежовщина, совхоз и домострой,
как выживали – мне ответ неведом.

Собрались вместе, помню, всей семьей,
наверное, за праздничным обедом,
сестра сказала: «Пап, ты станешь дедом».

По радио транслировали съезд,
я обратил свой детский интерес
к приемнику, где треск и гул оваций.

И вдруг сказал любимый Леонид:
«Нам год ребенка встретить предстоит
по замыслу объединенных наций».

И понял я: нет места на земле,
где человек способен затаиться, —
за пять минут провели в Кремле,
что у меня племянница родится.

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ

БОГ НЕ ФРАЕР

Повесть

Нечаянный улов

Она стояла у окна, двойные вставленные на зиму рамы, а меж ними — сугробы ваты с искрами мелко нарезанной фольги — уменьшенная копия мерцающего снежного сугроба за окном. Она откинула штору.

Ну, слава богу! Михаил Кондратич, сосед их, уже сходил по воду. Он нес в растопыренных руках полные ведра, искусно ступая, обходя снежные наметы, чтобы вода не расплескивалась. Значит, прорубь расчищена. Никому неохота утром по холоду первому идти на реку, ломом пробивать прорубь, чистить наледь и снег, а вода нужна всем. Вот и выжидает улица, поглядывает из окошек — кто первый? Расчистил Кондратич прорубь, теперь потянется весь околоток по воду, кто с ведрами, а кто с флягами на санках. Надо спешить.

— Вставай, Василек, по воду пойдём!

Она прошла в маленькую горницу к длинному сундуку, застеленному как кровать, — там спал пятилетний ее сын Васятка, укрывшись с головой в одеяло. Она приподняла одеяло, мирное, уютное. Васятка положил левую руку под голову, в полутьме избы ярко белело оголенное плечо, и ладошка с растопыренными пальцами была похожа на раскрытое крыло маленького голубка.

— Вставай, голубок!

Она сдернула с Васятки одеяло, пощекотала его, похлопала по щекам и, вытянув из постели, поставила на ноги. Привычный к такой побудке Васятка прошлепал на кухню, которая переходила в прихожую. Здесь было теплее, топилась русская печь, ровно и чисто побеленная, лишь на белом челе ее расплывчатыми пятнами чернела сажа.

Быстро собрав Васятку, оделась сама, и они вышли из дома. Просветленные утренние звезды и высокие снега освещали тропу, ведущую вниз, к реке, на ней лежали неглубокие свежие следы пимов, похожие на огромные белые фасолины с точечками и черточками — узелками дратвы и прошвами, которой были подшиты подошвы. Она шла первой, Васятка в большой овчинной шапке, большущих валенках, как охотник на лыжах, скользил по тропе, догонял ее. На плече у него палка наперевес, а на ней небольшое самодельное ведерко из жестяной банки с плетеной из проволоки ручкой. Ее пустые ведра качались на крючках коромысла, изредка тревожно позвякивая. Вот и берег, заснеженный, слившийся со всем снежно-ледяным покровом реки. Кулунда пока-

Нина Орлова-Маркграф родилась на Алтае, в селе Андронове. Окончила Камышинское медицинском училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Печаталась в журналах «Москва», «Юность» «Вышгород», «Симбирск», «Алтай». Лауреат Международного конкурса им. Сергея Михалкова за сборник рассказов «Хочешь жить, Викентий?». Живет в городе Железнодорожный Московской области.

залась ей сегодня беззащитной, отчаянно и беззвучно кричащей. Река лежала, словно опрокинутая на спину, страшась жестокострастной силы мороза.

Через низкий лаз они вошли в построенный из снега обледенелый сруб, который окружал прорубь, защищая ее от заносов, в углу здесь всегда стояли лопата и лом. Набрала воды Васятке, а потом, взяв одно из ведер, плюхнула его набок, утопила поглубже и, плеща избытком воды, вытащила, отставила в сторону. Темная, в мелких ледышках вода странно колыхнулась. Она живо присела над ведром и крикнула:

— Глянь, Василек! Золотая рыбка!

Васятка подошел, наклонился над ведром. Сначала он увидел неподвижный лаково-черный глаз, окруженный оранжевым ободком, а потом и всю ее, укрытое мелкой золотистой черепицей туловище, красные плавники и твердый веер хвоста. Мать наклонила ведро, вода выплеснулась, и рыбка затрепыхалась на мокром снегу. Живо сбросив рукавички, смеясь, она уловила ее, скользкую, холодную, и, с трудом удерживая, сказала:

— Ну, Васятка, проси у рыбки, чего хочешь, да скорей отпустим в воду! Помнишь, как мы в сказке читали?

Васятка поднялся на цыпочки, чтобы к золотой рыбке быть поближе, и умоляюще сказал:

— Рыбка, сделай так, чтобы у меня, как у Сашки и Толика, был папка!

Сашка и Толик, сыновья их соседа, тракториста Михаила Зайцева, при каждой ссоре дразнили Васятку безотцовщиной и мстительно кричали: «А нас папка на тракторе прокатит, а тебя не возьмет!»

— У тебя есть папка, Василек. Просто попросим, чтобы он нас поскорее нашел.

Она присела над лункой и, опуская рыбку в воду, проговорила:

— Смилуйся, государыня рыбка! Верни нашего папку! — Васятка глянул на колыхнувшуюся воду: рыбка согласно, махнула хвостом, и скрылась под лед.

— Мамка, она нам хвостом кивнула! Видела?

— Значит, исполнит, сынок.

Придя домой, она хотела скорее управиться с домашними делами, но ни за что толком не могла взяться. Накормив Васятку молочным супом, села на лавку. Зачем я выдумала про золотую рыбку? Он ведь всему верит. Как мне исполнить теперь твое желание, сынок? Она взглянула на Васятку. Он безмятежно играл с бумажным человечком, которого смастерил ему дед Алекс, дергал за ниточки, и человечек то падал, то поднимался. Вот и ей надо подняться. Она заставила себя встать — пора на работу. Васятку обещала взять с собой. Что за жизнь ей выпала? Как с шестнадцати лет началась мука, так и нет ей конца.

Трудовая армия

В сентябре 1943 года Альбину Роот отпустили из трудовой армии по причине беременности.

В апреле 1942 года всю ее семью, родителей с тремя дочерьми и грудным младенцем, выселили из Немецкой Республики Поволжья в Сибирь. Они попали в одну из деревень лесостепного Алтая. Через полгода Альбине исполнилось шестнадцать лет. В это время в трудовую армию стали забирать не только переселенцев-мужчин, но и женщин, как раз с шестнадцати лет. Отец Альбины, Алекс Роот, счастливо потерявший ногу еще до депортации, работал в колхозе, отмечался в спецкомендатуре, у матери был восьмимесячный ребенок, и ее по закону о призыве в трудовую армию не могли призвать. Альбину же призвали.

Когда ее и еще нескольких переселенцев — трех сорокалетних мужчин и тридцатилетнюю женщину, Фриду Кляйн — забирали из деревни, семьи их, в основном женщины и дети, шли за ними до центра деревни, где их ждала подвода с возницей и конвойным. Мать Альбины, Эмилия, так кричала и убивалась, словно дочь была уже в гробу, вопили все женщины, трое детей Фриды — четырех, шести и восьми лет — рыдали, вцепившись в нее. Смертный вой стоял над деревенской площадью.

Подвода, на которую их усадили, тронулась. Миля вцепилась в борт телеги, возница в сердцах хлестнул ей бичом по пальцам, и она, разжав их, упала без сознания. Альбина запомнила устремленное к ней, словно от выстрела, падающее тело матери, ее смертельную бледность и разъятый в страшном крике рот.

— Их комм балдь цурюк! Я скоро вернусь! — крикнула она и рванулась с подводы, но руки конвойного вцепились в нее и не пустили.

Колонна женщин-трудармеек, в которую попала Альбина, прибыла на место, в Пермский край, к середине октября. Их поселили в большие брезентовые палатки, верхи которых были укрыты пихтовыми и еловыми ветками, уже присыпанными снегом. По мере того как освобождались места в бараках — каждое утро из них выносили по несколько умерших женщин, — трудармеек из палаток переводили туда. Однажды в декабре перешла в барак и Альбина. Там оказалось так же скученно, холодно и сыро. Зимней ночью через дыру в крыше ветер низвергался сверху по прямой на нары, в щели просеивался снег, он таял, капал с потолка, стекал струями по стенам и шипел, попадая на железную печку, которую женщины по очереди топили всю ночь.

Она спала на нарах без матраца и одеяла, укрывшись большой шерстяной шалью — единственное, что смогла ей дать мать из теплых вещей. Через какое-то время шаль исчезла, и теперь она ложилась, не снимая ватника. Она почти ничего не замечала из того, что происходило вокруг. Заменяв распавшиеся ботинки на чуни, изготовленные из кусков резины от тракторных покрышек, она выходила на работу в тайгу, на заготовку леса. На сорокаградусном морозе пилила с напарницей деревья, стволы звонко трещали подмороженной корой, хлюпали распиленной оболонью и выли, когда пила доходила до сердцевины. Лес и сам был здесь зоной, заключал в себя человека, окружал стволами деревьев, колючей проволокой ветвей, лишая пространства, лишь вверху над ней синел глубиной холодный небесный колодец. Она ощущала мороз как невидимое, но живое существо, сначала он прикасался холодными клещами, пощипывал, покалывал, потом начинал трощить кости, ломать тело, но потом наступало избавление: она застывала так, что переставала чувствовать холод.

Еще со школы Альбина неплохо знала русский язык, здесь было с кем разговаривать и на родном, но ей не требовался никакой, она жила молча. Она одинаково равнодушно проглатывала хвою и дрожжи, которые им выдавали как обязательный продукт против цинги, хотя помогал он мало, и кусочек хлеба или тарелку лагерного супа, если они были. Как-то вечером после трудового дня — весь день женская колонна работала на расчистке снега — им вместо хлеба выдали просто тесто, потому что в пекарне сломалась печь. Многие стали печь его на костре, а Альбина равнодушно проглотила сырую пайку и пошла в барак. Она была сосредоточена на одном: выполнить обещание, данное матери, вернуться домой.

Альбина решила забеременеть, потому что беременных женщин на последних месяцах отпускали из трудармии. Охотников на ее молодость и красоту было много. Но стоило ей только взглянуть на любого из них, как она начинала по-детски страшно бояться, ей всерьез казалось, что она тут же умрет. Она умрет, и ее вынесут из барака, и как же она вернется к матери?

Однажды Альбина встретила Василя. Он шел по барачному дощатому поселку, по их улице, прямо навстречу ей, спешащей на построение. Она зачем-то подняла глаза

и словно впервые увидела его. Василь был из русских заключенных, сын врага народа, расстрелянного несколько лет назад за участие в заговоре. Заключенные звали этого невысокого с твердым спокойным лицом паренька «студент». Его, знавшего немецкий язык, вызывали из лагеря в поселок спецпереселенцев, когда нужен был переводчик. В остальное время Василь трудился вместе с другими лагерниками на лесоповале. Лагерь Василя был неподалеку, заключенные часто работали на соседних от трудармейцев участках, порою вплотную к ним.

Она выбрала его, истолковывая свой выбор опять же по-детски. Ей казалось, что забеременеть от Василя — это было совсем другое, это как если бы забеременеть от ясного месяца, свет которого выведет ее на спасительную дорогу.

И Василь выбрал ее, эту юную девушку с необыкновенно красивым лицом. Оно казалось ему совершенным. Отрешенное, четко очерченное, бесстрастное, но вместе с тем осязанное изнутри и прекрасное.

Но не одна лишь красота изумляла его. Наблюдая за Алей, он больше всего удивлялся недосыгаемости, неподвластности над ней внешних условий. Быть может, потому на лице ее не было печати измученности, безнадежности, озлобленности, какую видел он почти на всех лицах. Она переносила и переживала ужас и страдание, не вникая им. Лишь худоба и плохая одежда, практически рубище, говорили о лишениях.

У Василя была своя цель, очень странная и даже неестественная в условиях лагеря, где каждый был за себя, каждый искал, как лично ему выжить. Желание сберечь эту девушку — изощренной хитростью или безрассудной смелостью — неважно — стало, пожалуй, единственным, что привязывало его к жизни. Он добывал ей теплую одежду, приносил хлеб, говоря, что заработал его. Однажды она случайно узнала: чтобы заглушить голод, Василь выпил машинное масло, и поняла, что он отдавал ей свою, а не заработанную добавочно пайку хлеба. На следующий день, когда Василь подошел к ней, она быстро наклонилась и поцеловала его руку.

Василь испугался, когда его в начале зимы вдруг перевели на другие работы, за пределы лагеря, отправили охранять станцию, где велась погрузка леса. Но быстро поняв, что тут у него будет больше возможностей помочь Але, стал спокоен и сосредоточен. На станции грузили не только лес, но и вагоны с другими товарами, особенно часто с солью, которую добывали под Соликамском. Соли в стране было так мало, что она ценилась больше, чем любые продукты. Василь бесстрашно проникал в вагон, набирал тяжелую, хрустящую матовыми кристалликами соль за пазуху, украдкой ходил в деревню и выменивал там на еду и теплые вещи. Альбина не знала, кого и чем он смог подкупить, что он придумал, но через месяц и ее перевели на станцию — мыть станционный дом, чистить снег на всей территории, возить, впрягаясь в санки, воду из родника.

Лишь раз они были вместе. Она помнила, как Василь касался ее, помнила что-то необъяснимое, несказанное, бестелесное и вместе с тем явственное, осязаемое, нежное, так, быть может, воспринимает только что пришедший в мир младенец любовь матери. А что касается остального — она даже толком не помнила, как и что произошло.

Лишь через пару месяцев Альбина поняла, что забеременела.

Ее отпустили на восьмом месяце. Было начало сентября, прохладного, но ясного, без дождей. Василь спросил название станции и деревни, где жила ее семья. Она соврала, назвала не ту станцию и не ту деревню. Оживленный, улыбающийся, он прощался с ней.

— Наконец ты покинешь этот ад. Я так хочу этого! — Он положил ей руки на плечи, счастливые руки.

— Теперь у тебя все будет хорошо. Слышишь?

— У нас говорят: «Der Mensch denkt, Gott lenkt»¹. — ответила она.

¹ Человек предполагает, а Бог располагает (нем.).

Василь засмеялся.

— А мы, эки, говорим: «Бог не фраер». И это точно.

Она доехала на товарняке до Соликамска, потом несколько станций на крыше теплушки, от Омска ее взяли в вагон, и она, боясь потерять место, ни разу не встала с него до самой пересадки.

На пятый день она добралась до станции Корчино, она запомнила это название. Сюда, до этой станции, их, переселенцев, везли от Саратова в «телячьих» вагонах. В Корчине попался ей человек, ехавший на подводе до Тюменцева, она расплатилась с ним мизерным мешочком с солью. Соль не один раз выручила ее. Можно сказать, соль довезла ее. Соль спасла. Семь мизерных мешочков наготовили они с Василем, Альбина спрятала их на груди и в карманах, нашитых на широкую кофту с изнанки.

От Тюменцева до деревни она шла пешком. Вечер, дожидаясь темноты, пересидела в копне соломы, а как стемнело, вошла в деревню, постучала в окошко ветхого амбара, который приспособили под жильё ее родители.

Алекс Роот открыл дочери дверь, и она вошла, как в рай, в этот амбар, где был теперь ее дом, ее мир, ее семья. Эмилия кинулась к дочери. Альбине бросились в глаза волосы матери: сухие, бесцветные, редкие, как отмирающая осенняя трава.

— Их бин цурюк, мама... Я вернулась, — тихо сказала она, боясь разбудить сестренку и маленького братца (она не знала, что малыш Кристиан зимой умер). Не выдержав, мать вскрикнула, заплакала громко, проснувшиеся сестры соскочили с полатей и приникли к ней.

Утром у Альбины начались роды. Она лежала на сколоченной из жердей кровати за занавеской, которая отделяла ее от остального пространства амбара. Альбина помнила эту ткань, мать привезла ее еще из дома, и теперь она неотрывно глядела на нее, словно держала этот темно-зеленый сатин у сердца, как держат мешочек родной земли на чужбине. Сестер отец отправил на огороды собирать картофельные обрезки, и только мать оставалась около нее. Роды были быстрыми. Молча, ни разу не вскрикнув, она родила мальчика. Тут подросла лекарка Аграфена Ивановна, отец сбегал за ней. Аграфена Ивановна в Первую мировую войну служила медсестрой в медсанбате. Всем видом: подтянутой фигурой, одеждой, тщательно выглаженной, защитного цвета юбкой прямого покроя и пиджаком в талию, с медицинским чемоданчиком в руке — она походила на военного врача. В эту деревню она пришла в тридцатые годы и с тех пор охотно лечила всех, кто обращался к ней за помощью. Она поставила чемоданчик на маленькую лавочку, стоявшую около кровати, мельком взглянула на роженицу, бледную и равнодушную, наклонилась, чуть приоткрыла одеяло.

— Вот ты где! — обратилась она к младенцу. — Отделяться тебе пора, милоч, срочно причем!

Она вынула из чемоданчика большие с заостренными концами ножницы, протерла их какой-то, должно быть, дезинфицирующей жидкостью. Наметившись, быстро отрезала пуповину, ловко завязала чуть кровящий ее остаток, густо обработала йодистой желтой, похожей на сок чистотела жидкостью.

— Ну вот! Теперь ты отдельная для жизни личность! — сказала она, подхватив одной рукой мизерное худенькое тельце новорожденного, а другой шлепнула его по коричневатой, похожей на печеное яблочко попе. Младенец нежно и слабо пискнул.

— Миля, клади пеленку!

Эмилия, стоявшая рядом наготове, испуганно положила на край кровати пеленку — старую ситцевую тряпицу, подрубленную по краям со всей аккуратностью.

Аграфена Ивановна уложила новорожденного, внимательно оглядела и, энергично пеленая, сказала:

— Весом мальчишечка маловат и с признаками недоношенности. Роженице питаться надо хорошо, чтоб грудное молоко было.

— Корова нет, — робея перед Аграфеной Ивановной, виновато ответила Эмилия, не совсем грамотно говорившая по-русски. — Мильх² нет.

— Мильх будете у меня брать по кружке. И картохи у меня немножко возьмете, вижу, что девчонки твои по огородам обрезки собирают.

— Мы не посадить весной. Семена нет.

— А мальчонка хороший, — улыбнулась Аграфена Ивановна, — берегите его.

Взяла чемоданчик и направилась к двери. Она ничем не выказала своего удивления по поводу того, что Альбина вернулась беременной, не задала ни одного вопроса. Кивнула и вышла из дома-амбара семьи Роот.

Молоком, которое брала Эмилия у Аграфены Ивановны, она осторожно отпаивала Альбину, наполовину разводила — иссушенный желудок плохо принимал цельное. Альбина то и дело прикладывала младенца к груди, но молока почти не было. На третий день, к радости всей семьи, оно пришло, и в большом количестве! Альбина лежала, тощим телом ощущая острые дудки набитого соломой матраца, и ей даже нравилось, что она чувствует это неудобство, что ей не безразлично. Она снова чувствовала вкус еды: варенной в мундире тети-Грушиной картофелины, тушеной капусты, компота из сушеной земляники, — и все запахи дома, и молочный запах младенца, которого она кормила грудью. Он лежал рядом, завернутый в клочок старого ситца, сын, которого, как ни противились родители, она назвала Василием.

Поросенки, поросенки

Председатель колхоза Андрей Каспарыч сидел в колхозной конторе, в комнате с железной печкой в углу, которая трещала растопленным сушняком. Начало октября, а дом за ночь остывает, углы отсыревают, как зимой.

Перед ним стояла девушка, смиренно опустив голову.

«Вот тебе и дойче фрейлин, — сказал себе Андрей Каспарыч, — всем образом Аленушка из русской сказки».

— Как зовут? — строго спросил он, недовольно глядя в бумажку, которую она подала ему. Тут не по-нашему накалякано.

— Это мои метрики. Из дома еще, с Поволжья, — сказала она. — Меня Альбина зовут.

Андрей Каспарыч поднял голову и вновь поразился: ну ангел, чистый да невинный! А у самой ребенок.

Он опустил глаза и в раздумье посидел несколько минут.

— Ну вот что, Алена, — то ли не расслышав, то ли не желая произносить чуждое ему имя, сказал председатель, — не думай, что тут ты на курорте будешь. Пойдешь у меня на дальний свиарник работать.

Альвина послушно кивнула.

— И чтобы свиньи мои чистыми ходили. В клетушках чтобы чистота сверкала и всегда свежая солома. А опорос пойдет, попробуй мне хоть одного новорожденного потеряй! Я тебя не на лесоповал, на рудник отправлю.

— Я умею... — с готовностью сказала Альбина, — у нас в деревне тоже поросенки были.

— Поросенки-поросенки... — повторил Андрей Каспарыч. — В обчем, Алена, завтра с утра выходи. Напарница твоя, Варвара Маленкова, все покажет, все расскажет.

² Молоко (нем.).

В километре от амбара, приютившего семью Роот — он стоял на окраине деревни, — начинался обширный выгон, на котором паслись до самой осени колхозные коровы. За выгоном — большие денники, куда летом коров загоняли на ночь, а еще дальше — колхозный свинарник. Альбина подошла к распахнутым, обреченно повисшим на ослабших петлях воротам. Подгнившие венцы, голые стропила, торчащие из-под худой кровли, заткнутые паклей дыры в стенах показывали, до какой нищеты дошел колхоз, как беден он техникой, инструментом и мужскими руками.

Она вошла внутрь. После уличного света глаза мало что различали. Слышались визг и хрюканье, но поросят не было видно, казалось, это сам полумрак фермы визжал и не-терпеливо хрюкал. Но вот она увидела клетки, в которых лежали, стояли, возмущенно задрав головы, или беспокойно бегали туда-сюда худые оголтелые поросята.

«Голодные», — подумала Альбина, и желудок ее ощутил ту резко тянущую, настойчивую, навязчивую боль, которую она теперь часто ощущала.

— Голодные, — услышала она за спиной, — оглянулась и увидела молодую женщину. На ней были вылинявший мужской плащ с подвернутыми рукавами и литые резиновые сапоги, какие носили тут в грязную пору все, у кого они имелись. Из-под теплой шали видны были разделенные на прямой ряд гладкие каштановые волосы.

— Варя?

На худом желтоватом лице Варвары — осуждение, почти гнев.

— Ты че это в одной кохте? А ну как грудь остудишь? Ты ж кормящая!

— Она шерстяная. Нету у меня пальто.

Варя сняла шаль, под которой был у нее цветастый тонкошерстяной платок.

— На, шалью подвяжись. Андрей Каспарыч, — она лукаво улыбнулась, и кончик небольшого носа смешно взлетел вверх, — велел за тобой приглядывать. Сказал, дюже смиренная ты.

— Я буду хорошо работать...

— Тяжело тут одной, Алена, все кишки я надорвала, — пожаловалась Варя. — Кормачей нет, все сама. И денно и ночью около этих... — она указала рукой в сторону клеток. — А то хоть сменять друг друга будем.

Поросятчий визг нарастал, делался злей и пронзительней.

— Ну, ну! Развизжались, — прикрикнула Варвара, подходя к бунтарям поближе, — сейчас нажретесь.

И поросята на минуту притихли, явно понимая слова своей грозной опекунши.

— Вон у меня вилы, лопатка, метла, голик тоже, — показала Варя, проходя к небольшому чуланчику у выхода. В третьей клетки сильно грязно. Почисти, Ален. У меня уже руки лопату не держат.

Альбина торопливо взяла лопату и шагнула в клеть. Земляной пол хлюпал вязкой грязью, смешанной с соломой, мочой и свиным навозом.

«Не труднее, чем деревья на морозе весь день пилить, — подумала она. — Какой хороший человек Варя!»

Так Альбина стала свинаркой. Сестры, мать, все, кто мог, оставались дома по очереди с Васяткой, пока она была на работе. Но случалось, что работа в колхозе забирала всех, и тогда Альбина, завернув одеяло Васятку, брала его с собой на ферму. Свинарник они с Варей старались подтапливать. Альбина клала спящего сына на солому в пустую клеть, куда обыкновенно отделяли новорожденных поросят, убиралась, чистила, мела, а там подходило время корма. Она старательно ухаживала за поросятами, особенно за малышами. Хлопот с ними было много, но Альбина страсть как любила их. Беленькие с только появившейся мягкой еще щетинкой, лежали они у нее на чистой соломе. Прибрав, вычистив и покормив питомцев, она гладила их, почесывала спинки, разго-

варивала, а они тянули к ней младенческие пяточки. Управившись, с работой, падала на солому рядом с Васяткой и лежала так, кормила его грудью. Альбина теперь часто думала об отце ребенка, как отдавал он ей последнее, какой необычной любовью ее любил. Новым, раскрывшимся телом, смягчившейся душой она почувствовала, поняла, что он ее мужчина и ее муж навсегда. Как-то Варвара застала ее вот так лежащей с Васяткой на соломе.

— Да у нас тут молочный поросенок! — пошутила она, заходя к ним в клеть и плюхаясь на солому.

Альбина оторвала уснувшего Васятку от груди. Он спал.

— Спит себе, князем на перине. — Варвара с удивлением смотрела на младенца. — Счастливая ты, Алена, у тебя сын есть.

— Ты, Варя, нашла кому позавидовать. Только и слышу: «ребенка нагуляла», «фашистская шлюха», «лагерница».

— Да ты их не слушай, это они красоте твоей завидуют да от жизни собачьей обозлились. Андрей Каспарыч тебя любит и в пример всем ставит.

Варя, улыбаясь, смотрела на Васятку.

— А я бы родила. Да от кого? Один Сладкий Семушка внимание проявляет.

Сладкий Семушка, пожилой вдовец, лет пять назад приехавший в их деревню, прозвище получил за необычайно сладкую улыбку, какой в деревне ни один мужик на своем лице отродясь не держал, а еще за особую обходительность с женским полом. К каждой женщине, с которой Семушка заговаривал, обращался он со словами «Сладкая ты моя!», как бы намекая на особые отношения, и поглядывал кокетливо, а между тем был безобиден, как младенец.

— Я сегодня иду, а навстречу он, Семушка, — рассказывала Варя, — И говорит: «Целую твои сахарные губки, Варюшка, сладкая моя».

А я отвечаю:

— Падает во мне сахар, Семушка, от одинокой жизни. Подбавил бы мне сладости. Влил граммов сто сиропчика. А он покраснел как рак, руки в ноги, и бежать!

Варя озорно глянула на Альбину, и обе они, представив убегающего Семушку, с хохотом повалились на солому. Вволю нахохотавшись, Варя сказала:

— Ну считай, я приняла у тебя смену. Бегите уж с Васильком домой.

— Варя, я думаю, что у тебя еще будет муж.

— Ох. Алена. Ты ж знаешь, я со старшей сестрой проживаю. Родителей наших давно еще, я тогда маленькой была, раскулачили, нас тетка забрала. А потом она умерла, мы одни жили, двенадцатилетняя сестренка меня растила, от голода спасла. Она мне и мать, и сестра.

И Альбина, никогда не делившаяся своими мыслями и терзаниями ни с кем, даже с матерью, вдруг все рассказала Варя о Василе.

— Зачем, зачем я ему соврала? Как он теперь найдет нас? Я, Варя, все боялась ему писать, а теперь напишу. В Соликамск, в Пермь напишу. Там он еще, или куда перевели?

Варя придвинулась к ней и прошептала:

— Алена, не пиши. Не буди лихо, пока оно тихо. Найдут да и заберут тебя опять!

* * *

Андрей Каспарыч ехал на своей бричке к дальнему свинарнику, зная, что сейчас там дежурит Алена. Уже не молод он был и замучен заботами, чтобы чувствовать плотский интерес к юной девушке, но что греха таить, душа встрепенулась, когда увидел он такую смиренную и чистую красоту.

Андрей Каспарыч, человек открытый и простой, не скрывал свою симпатию к Алене. Не было в их отношениях ничего, что надо было скрывать. Два года минуло, как пришла она к нему в контору, и он видит теперь, что правильно все решил. Алена старательная работница. Они с Варварой молодцы. Теперь по мясу у него план всегда выполняется, сдает, сколько требуют. Он знал, что их свинина идет на тушенку для фронта. Андрей Каспарыч был обеспокоен тем, что неделю назад целый десяток поросят занемог. Лежат в клетки, как подстреленные, на еду даже не смотрят. А у двух еще и задние ноги онемели, обездвижили. И что с ними — непонятно. Дохнуть начнут, и как тогда план?

Подъехав к ферме, он наскоро привязал лошадь к столбу ворот и вошел внутрь. Альбина уже шла ему навстречу.

— Ну что тут у вас? Как больные?

Андрей Каспарыч живо прошел вперед, к поросячьим клетям.

— А нетути больных! — ответила она, идя позади председателя.

— Это как нетути?

— А вот как! Мы с Варей догадались, что с ними. Им света не было и воздуха мало, витаминоз у них начался, вот и захворали. Я стала выгонять их на улицу, Варя сначала боялась, а потом тоже стала выгонять. А обезноживших мы на руках выносили...

— Прохладно на улке! Они и так хворые...

— Они здоровые, Андрей Каспарыч. Сами посмотрите! Вон они во второй клетки.

Андрей Каспарыч глянул на поросят. Они суетились, оживленно топтались и бегали, переговаривались — визгливо или с бравым хриплым хрюканьем толкали друг друга в бока, победно задирали рыльца. По их интересу к жизни видно было, что они здоровы.

— Ох, гора с плеч, с души камень! — улыбаясь и прижимая к сердцу руку, сказал председатель. — Несознательные у нас свиньи, Алена. Не понимают, что война. Мы, значит, можем голодать и без витаминов жить, а они нет!

Растроганный, он приобнял Алenu.

— А тебе спасибо. Ну ты доглядывай, поехал я. Варьке передай: пусть она завтра утром ко мне в контору зайдет.

Скоро пришла Варя.

— Андрей Каспарыч был! — сообщила подруге Альбина. — Велел тебе завтра утром к нему прийти.

— Чего это?

— Орден за спасение поросят тебе даст.

— Лучше бы мешочек муки дал, — вздохнула Варвара, — ни горсти не осталось.

— Нет! Муку нам с Васяткой! Он все олады просит! Ну я побежала, Варя!

Не захотев идти в обход, Альбина пошла через убранное, но неспаханное поле по обмякшей от дождей бурой стерне. За полем начиналась полоска березняка, она вошла в него. Осенние сумерки быстро, как темная беззвучная вода, наполнили рощицу настороженной тьмой. Альбина свернула вправо, на просеку. Вдруг кто-то налетел на нее сзади, сжал шею, пальцами придавил горло. Ахнув, она рванулась плечом и тут же получила удар кулаком в голову, чуть выше виска, и второй почти туда же. Она пошатнулась, выскользнула из выпустивших ее рук, упала навзничь, напоровшись коленом на что-то острое. Нападавший забежал теперь вперед, встал перед ней, подавшись вперед всей коренастой фигурой. Она подняла глаза и узнала его. Это был Сашка, младший, шестнадцатилетний сын Андрея Каспарыча. Он наклонился к ней, крепко схватил за косу:

— Будешь с моим отцом путаться — твоей косой тебя же и удавлю!

Мальчишеский голос был глух и сдавлен, таким он бывает, когда горло сжимают слезы.

— Вот подстилка немецкая, сразу же улеглась, — раздался позади нее другой голос. Она догадалась: это Митяй, друг Сашки. Митяй пнул ее в бедро, потом в бок, под ребра.

— Попробуй только скажи, кто тебя избил! Поняла?

— Хватит, Митяй. Пошли, — сказал Сашка. И, отвернувшись от нее, пошел вперед через просеку. Митяй двинулся за ним. Треск и хруст веток скоро стих. Они ушли. Казалось, с ними ушла и рожица — такая голая одинокая тишина окружила Альбину. Она попробовала подняться, но боль в голове и боку не дала ей тотчас же встать и пойти к Васятке. А иди-то всего ничего: шагов пятьдесят напрямик по просеке и от нее по дороге до амбара столько же.

Она поползла, стараясь переместить большую часть тяжести на руки, так меньше болел бок. Будучи уже на середине пути, зацепилась юбкой за корень, хлипкая материя разодралась, и она ползла, дальше попадая коленями на корни, сучки упавших веток, колючие дудки трав. Отдохнув, попробовала приподняться, хватаясь за гладкий молодой ствол, обнимая его. Медленно пошла, не останавливаясь, пока не вышла из березняка. Дальше была дорога, и она двинулась по ней. По тому, как захлюпала под ногами вода, Альвина поняла, что попала в лужу. Выйдя из нее, присела, пошарила руками и наткнулась на маленькие кучки соломы, это отец носил охапки соломы вчера ночью с поля, а они с сестрами прятали в сарай.

Дом был рядом. Окошки темны, видно, все уже легли.

По стеночке пробралась она за занавеску, в их с Васяткой закуток, где сын спал.

— Wieso kommst du so spät?³ — спросила мать и дальше по-русски: — Я уже хотела отца будить.

— Пришлось Варю помочь, мама.

— Iss mal was⁴.

— Я не хочу, мама, — ответила Альбина ровным спокойным голосом и, стараясь не застонать от боли, не охнуть, легла, закрыла глаза.

Утром Альбина смогла встать и пойти на работу. Болит голова, саднит в боку, больно наклоняться и поворачиваться. Но, слава богу, ни одного синяка!

Она решила, что об избиении не расскажет никому.

* * *

— Победа! Аленка, победа!

В единственном своем праздничном наряде — атласной кремовой кофточке и черной саржевой юбке — на ферму вбежала Варя.

— Как это? Когда? — вскрикнула Альбина.

— Сегодня! Все до конторы бегут! Митинг будет! Сашка с гармошкой пошел. Девки плясать будут!

— Слава богу! Кончилось, кончилось, кончилось... — не двигаясь с места, повторяла Альбина.

— Да айда же! — нетерпеливо крикнула Варя, устремляясь к выходу.

Альвина побежала за ней и вдруг резко остановилась.

— Я не пойду.

— Ты чево это?

³ Ты почему так поздно? (нем.).

⁴ Ты хоть поешь (нем.).

— Мне идти не в чем, — стыдливым шепотом призналась Альбина. — У меня дома другой юбки нет. А эта... — Альбина никак не могла подобрать слово, — я намокла, — краснея, сказала она.

Варя понимающе зашла ей за спину: сзади на серой материи юбки — пятно крови.

— Я б тебе дала, не пожалела, дак ведь нет ничего, — вздохнула она. — А вот что! Жди меня. Я шас приду! — крикнула она, убегая куда-то.

Скоро Варя вернулась к Альбине с баночкой мазута, из которой торчала тонкая деревянная палочка.

— Не переживай! Я пятно мазутом замажу.

Концом палочки она положила мазут на запятнанную ткань. Темный густой цвет укрыв постыдное пятно.

— Ну вот и все! — Варя засмеялась. — Я, когда на бригаде работала, только и спасалась мазутом. У меня временные — это беда: льет, просто льет, а спастись нечем, ничего ж нет, ни ваты, ни марли, ни одной лишней тряпки в доме, так за войну издержались. А кругом мужики работают. Стыдоба. Я возьму, потихоньку запачканное место мазутом замажу.

— Не пойду я, Варя, — угрюмо сказала Альбина.

— Победу встречать не пойдешь? Из-за юбки?! А ну-ка айда!

Варвара схватила подругу за руку, потянула за собой. И та, не в силах сопротивляться, побежала вместе с Варей встречать победу.

Альбине казалось, что теперь, с победой, сразу все изменится. Мужчины вернутся с войны, деревня заживет по-другому, не надо будет все, что производилось с таким трудом, отдавать фронту. И трудармию распустят, и Василя, по ошибке арестованного, выпустят.

«Василь! Найдет ли он нас? — с тоской думала она. — А вдруг его уже нет? В живых нет?»

Закозыряет!

На третий год работы Альбины на ферме Андрей Каспарович за старания и умелое обращение с поросятами разрешил ей с Васяткой перейти на житье в дом, который до войны занимал агроном, человек приезжий, ушедший на фронт в 1943 году.

— Отделяться тебе пора, Алена. Домик пустует, маленький, но хороший, Лесхоз хорошего леса давал на дом этот. Немножко подремонтируете за лето — и заходи, живи.

Дом агронома стоял в конце одной из приречных улиц-однорядок. Прямо через дорогу — луг, сейчас, ранней весной, на нем уже паслись пара коней и привязанные за колышки телята, а дальше — река, полная сильной вешней воды после недавнего половодья.

Родители помогли ей с переездом. Отец наладил сильно дымившую печь, укрепил расшатавшиеся половицы в прихожей. Альбина с матерью на два раза побелили стены, и летом они с Васяткой перешли на отдельное житье.

Еще когда сыну исполнился год и она отняла его от груди, отец в соседней деревне купил корову, должно быть, душу он за нее продал, — говорила мать. Когда Альбина отделилась, родители дали ей телку. Теперь Зорька стала крепкой, доброй коровой. Большую часть молока Альбина сдавала в колхоз, но всего у нее понемножку было: и молоко, и творог, и даже сметана для Васятки.

Шел к концу сорок шестой год. Все еще не хватало хлеба, но теперь хватало семян картошки, сажали много и ею питались вволю. Голод понемножку отступал.

Зорька и впрямь была как заря: розово-рыжая гладкая шерсть ее поблескивала, а на лбу белело яркое пятно — неровные шерстяные пряди делали его похожими на

лучистую звездочку. Крепкой, доброй коровой была Зорька. Но вдруг в эту осень что-то с ней сделалось. Опали зоревые бока, жалобно смотрели воспаленные глаза. Пугливой и нервной стала Зорька. Последние дни сильно похолодало, но пастух еще выгонял членское стадо на пастбище. И когда вечером Альбина встречала Зорьку и загоняла ее в пригон, та упиралась, тормозила задними копытами и чуть ли на дыбы не вставала, как упрямая кобыла. Альбина, плача, уговаривала Зорьку, и корова в конце концов понуро шла в стойло.

Как-то утром Альбина вошла с подойником в пригон и обмерла. По потной спине Зорьки носилась, как заведенная, ласка. Зорькина спина, мокрая от пота, тряслась от невыносимой щекотки, ходила ходуном, в страхе она пыталась сбросить ее, но ласка только еще больше раззадоривалась, прибавляла бегу.

— Ах ты, гадина! — вне себя от гнева Альбина швырнула в нее подойником. Ласка стремительным бурным клубочком скатилась по боку коровы и исчезла на полу, в ворохе соломы. Альбина вбежала в стойло.

— Зорька! Бедная моя!

Она припала к корове и увидела, как на ее глазах шерсть вспотевшей Зорьки покрылась инеем.

— Изведет она тебя. К смерти, окаянная, гонит! — заплакала хозяйка.

Кое-как выжала из сосков коровы немного молока, оставила полупустой подойник и побежала к матери.

— А я-то думаю, чего Зорька непослушная такая, — рассказывала она матери, — И молоко давать перестала. То подойника не хватало, второе ведро подставляла, а теперь по капле выуживаю.

— Это, Альхен, старый козел в пригон надо, — решительно сказала мать. Ей было сильно жалко корову, она помнила, как росла у них Зорька телочкой, справная да красивая. — Козла, Альхен, надо, старый, с душком. Вонь его ласка — фу-фу! — на вдох не переносит.

— На дух, мама. Старого? Да я не знаю, у кого он есть, — растерянно сказала Альбина. — У нас коз никто не держит.

— Семушка держать! Сладкий Семушка анбиттен, — сказала Эмилия.

— Так я побегу к нему, пока Васятка спит.

Альбина, не заворачивая домой, побежала к Семушке. Он жил далеко, на Кукуе, так называлось в деревне место, где дома стояли на перешейке между рукавом реки и самой рекой. В разлив вода подходила под самые избы, и кукуйцы куковали на своем островке, пока вода не сходила. Дом Семушки стоял на обрывистом берегу, над самой водой. Семушка служил почтальоном, привозил почту из района и разносил по домам, порой выезжая совсем рано. К счастью, Альбина застала его дома, он возился у печи.

— Здравствуй, Семен Иванович, — взволнованно поздоровалась Альбина. — Не дашь ли старого козла? Зорьку мою ласка истерзала.

Семушка оторвался от печи и ласковыми шажками пошел к ней:

— Козла дам, сладкая моя...

— Так я бы прямо сейчас и взяла.

— Оплатить, Аленушка, положено. Натурой. За использование личного скота, так сказать.

Он, сладко зажмурившись, улыбнулся. Сахар, голимый сахар таял и расплывался по лицу Семушки.

— Натурой? — переспросила Альбина.

Из двери, резко распахнутой, послышался голос Эмилии. Она решила помочь дочери отогнать козла в сарай к Зорьке и пришла следом за ней.

— Ах ду...⁵ Да ты сам цигенбак!⁶ Я тебе дать натуру!

Высокая, костлявая, с лицом темным и изрытым, как земля, на которой трудились теперь за трудодни все колхозники, Миля страшно надвигалась на Семушку.

— Тебя вместо козел вонючий поставить, ласку отгонять.

Она скомандовала дочери:

— Комм, Альхен! Пускай он со своим козлом...

Тут она отпустила грубое, непотребное выражение, не чувствуя на чужом языке всей его скверности и мерзости.

— Ты меня половым глаголом оскорблять! — возмутился Семушка.

Эмилия своим орлиным взором как раз заметила сковородник, торчавший из подшестка, и схватив его, пошла на Сладкого Семушку.

— За что? — вскричал Семушка, на всякий случай отступая к горнице, имевшей свою дверь с замочком. — Я за своего козла имею право натуральный продукт просить? А теперь кукиш вам с маслом. Не дам козла! Подойдите только к нему, я ему скажу, он вас вусмерть закозыряет!

— Сакасыряд... — презрительно передразнила Миля Семушку, кидая сковородник ему под ноги и уводя дочь.

С козлом ничего не вышло, а ласка по-прежнему терзала Зорьку. И Альбине пришла в голову мысль: пробраться незаметно к Семушке в сарай, состричь с козла пару вонючих клоков шерсти и повесить их над коровьим стойлом. Ласка убоится и пропадет. В тот же вечер, уложив Васятку, она накинула фуфайку, обулась в галоши и отправилась на Кукуй. Тревожно было на душе, и не хотелось по осенней темноте идти туда, но она могла потерять Зорьку! Подойдя к избе Семушки со стороны огородов, Альбина пробралась к сараю. Тишина. Ни звука. Семушка не держал собаки, но Альбина знала, что у соседа его, Алексея Цаплина, был маленький песик Бобик. Слава богу, он молчал. Альбина отворила дверь, вошла в сарай, осветила фонариком. У стены слева за дощатой перегородкой стояли две кадushки, накрытые мешковиной, несколько корзин и деревянная ступа, вырезанная из толстого чурбана.

— Большая до чего! — удивилась она, Семушка, что ли, в ней летает или сама Баба Яга, про какую она Васильку рассказывает.

Она пошла, осветила фонарем клеть, где стояли козы. В клетки тесной толпой стояли козы, а посреди — старый козел, массивный фигурой, косматый, с круто загнутыми рогами. «Закозыряет, — прошептала Альбина, — бок пропорет и не охнет!» И пошла к нему. Она вынула из кармана ножницы, отрезала со спины клок, решив срезать еще один сбоку, наклонилась пониже. Козел опасно шевельнулся, сделал шаг вперед и вдруг громко, тревожно затрубил, издавая звук, похожий на мычание быка и крик оленя одновременно. Козы робко и жалобно заблеяли. Рука Альбины вздрогнула, но клок срезала. Она сунула его вместе с ножницами в карман и, погасив фонарь, на ощупь пробралась к выходу. Двор был темен. Альбина наугад пошла по нему. Она услышала, как хлопнула избяная дверь, и от страха подпрыгнула на месте, потом присела и почему-то так, в полуприсяде, гусиным шагом пошла вперед.

— Кто тут? — раздался негромкий спокойный голос. Слышно было, как кто-то неторопливо сходил с крыльца, и чуть привыкшие к темноте глаза увидели мужскую фигуру, которая двинулась ей навстречу. Альбина вместо того, чтобы затаиться, выпрямилась, кинулась вперед, запнулась и упала на что-то, сильно ударив руку в локте. Догадалась, что это поилка, устроенная для куриц из половинки мотоциклетной шины. Она уткнулась лицом в шину и замерла. Но тут же сильные мужские руки легко и осторожно подняли ее.

⁵ Ах ты (нем.).

⁶ Козел (нем.).

— Надеюсь, не ударились? Кто вы?

Поддерживающие Альбину руки отпустили ее на волю.

— Вы к Семену Акимычу пришли?

Альбина с тревогой прислушивалась к голосу человека, явно незнакомого ей. Нездешний. Приезжий человек.

— Альбина Александровна я, — пролепетала она. — Я к козлу пришла. За шерстью. Я всего два клокота отрезала.

— Очень приятно, Аля. А я Виктор Аркадьевич, племянник Семена Акимыча.

Альбина стояла перед Виктором Аркадьевичем, держа руки по швам.

— Навестить его приехал, — продолжал Виктор Аркадьевич, направляя Альбину к калитке. — Я военный. На границе служу. Для чего же вам, Аля, козлиная шерсть нужна? Да еще всего пара клочков?

— Ласка корову замучила. Я просила всего козла, да Семушка не дал.

Альбина вынула из кармана плотные, скатанные клочки козлиной шерсти.

— Вот, возьмите.

— Нет уж, оставьте себе эти кудели! Аля, я вас провожу.

Он открыл калитку и пропустил Альбину вперед. Пристально вглядываясь в ночную гостью, видел лишь ее фигуру: высокую, весьма стройную. Он пошел с ней рядом.

— У меня Васятка дома один, — виновато сказала Альбина, прибавляя шагу.

Виктор шел позади. Когда она свернула в проулок, он повернул за ней. Минут десять шли они так, потом новый поворот на небольшую улицу-однорядку. Виктор следовал за едва различимой фигурой. Он услышал легкий стук калитки и тихий затаенный голос:

— До свидания, Виктор Аркадьевич!

Он рассмеялся.

— До свидания, Аля! Приходите к нам еще!

* * *

На следующий день Виктор Аркадьевич добыл всю нужную информацию об Альбине у Семена Акимыча и, отчасти из скуки, отчасти из любопытства, встретил ее, когда она шла с работы.

— Здравствуйте, Аля, дорогая!

Он весело пошел ей навстречу и с ироничным восхищением подумал: «Вот это да! Итальянская мадонна в колхозе „Путь Ильича“!»

— Так что противная ласка? Оставила вас? — участливо спросил он, по военной привычке оправляя шинель, что вовсе не требовалось. Форма на подтянутой сухощавой фигуре сидела как надо.

— От козлиной шерсти враз и пропала, — ответила Альбина.

Ей было стыдно за свой разбойничий набег на козла и то, как поймал ее племянник Семушки, военный человек, пограничник!

— Семен Акимыч рассказал мне, как ваша матушка неправильно поняла его, — кокетливо улыбаясь и беря Альбину под руку, сказал Виктор Аркадьевич. — «Я, говорит, у Аленки натуральный продукт попросил за козла, а она что подумала? Я разве про то? Я, к примеру, про маслице или про молочко от Зорьки намекал. Ежели козел мой поможет».

Альбина смущенно молчала. Ей было страшно идти по руку с военным человеком, наверное, важным начальником там, на границе.

— Аля, я вас с Васяткой в кино приглашаю. Приходите вечером в клуб!

Сошуренные глаза Виктора Аркадьевича не выдержали — брызнули смехом.

— Видите? Я перехожу в войне за козла на вашу сторону!

Добрый он человек, решила Альбина, и не опасный. И она, осторожно высвободив руку, пообещала:

— Мы придем. Васятка кино любит.

Пограничник в свинарнике

Виктор Аркадьевич был в некотором смятении. Его неодолимо тянуло к этой девушке, к Але. Неодолимо. Прошло восемь дней отпуска. Дважды приглашал он Альбину с Васяткой в кино. Каждый день встречал, когда она шла с работы. Презируя выглядывающих из окон Алиных соседей, несколько раз без приглашения сам приходил к ней домой. Она мягко, но как-то отстраненно принимала его, все хлопотала по хозяйству, а он в основном играл и беседовал с Васяткой.

«Как дурак выгляжу — ну и пускай! — думал он. — Она чудо, редкая женщина!»

Отпуск подходил к концу, и Виктор Аркадьевич не понимал, что ему делать. В последний день Семен Акимыч хотел устроить что-то вроде прощальных посиделок, но Виктор Аркадьевич молча ушел из дома — и вот ноги сами ведут его к дому Али.

— Здравия желаю, будущий солдат Советской армии! — браво поздоровался Виктор Аркадьевич, толкнув избушную дверь и увидев Васятку в валенках, в вязаном свитерке, сидящего на самодельном детском стульчике с книжкой в руках.

— Книжку читаешь?

— Не... я читать ишо не умею.

— Ты один, что ли?

— Мамка на фелме. А я бабушку Милю жду.

— Василий, а пойдем к мамке? Поможем ей.

— Айда! Только мне облачиться надуть.

— Не надуть, а надо, — поправил его Виктор Аркадьевич. — Облачайся!

Он достал с вешалки Васяткино пальтишко и подал ему.

Васятка вынул из рукава овчинную шапку, оделся, и они вышли из избы.

— Я тебя сейчас, Василек, на самолете прокачу. — Виктор Аркадьевич подхватил его, посадил к себе на закорки.

— Полетели!

Самолет ревел и набирал скорость.

— Быстлей! — скомандовал Васятка, покрепче обхватывая шею Виктора.

* * *

— Мамка, ты здесь? — крикнул Васятка, когда Виктор Аркадьевич, пригибаясь в дверях, внес его на плечах внутрь.

— Васятка, ты? — услышал Виктор тревожный голос Али и, торопясь, пошел на него. Альбина в косынке, в темном рабочем халате, в длинных резиновых сапогах оставалась изящной и стройной, хотелось сказать, легкокрылой.

— Я на самолете к тебе плимчал! — похвастался Васятка.

— Ну давай, летчик, спускайся на землю.

Виктор снял Васильку с закорок. Огляделся.

— Да у вас уютно, Аля! Куда меня судьба только не заносила, а вот в свинарник первый раз!

Как только Виктор увидел Алю, настроение его мгновенно поднялось.

— Мы с Варей раньше работали в старом свинарнике — там были плохие условия. А в это лето новый выстроили, такой-то светлый, просторный!

Виктор Аркадьевич вслушивался в нежное ровное звучание ее слов.

— У нас Ладушка рожает, — доверительно сказала Аля, — уже троих поросят родила. Мы со вчерашнего поняли, что ей пора, как стала она солому в угол сгребать, гнездо готовить. Васятка, погляди, — торжествующе обратилась она к сыну, — и быстро пошла вперед. Васятка побежал за ней, Виктор Аркадьевич следом.

В широкой клетки на свежей соломе лежали крохотные новорожденные поросята. Виктор Аркадьевич подивился их синюшности и даже фиолетовости. Они рядком лежали на соломенной подстилке, одинаково приподняв острые рыльца с пятачками и задрав вверх ножки.

— Ой, у нее следующий идет! — вскрикнула Аля и кинулась к свиные-роженнице, устроенной на ворохе соломы. Большое одушевленное брюхо Ладушки так опустилось вниз, что лежало рядом с ней.

— Лада, Ладушка, молодец, — одобрительно говорила Аля. — Так, так...

Виктор Аркадьевич с интересом смотрел на происходящее. Поросятчий младенец был очень смешным. Аля обрезала пуповину, завернула новорожденного в кусок коленкоровой материи и подняла на руки. Из пеленки выглядывала маленькая мордочка с фиолетовым распухшим пятачком.

— А остальные животные что так визжат? Из сочувствия к разрешающейся от бремени Ладе? — спросил Виктор Аркадьевич.

— Кормить их пора. А я от Ладушки отойти не могу.

— Мамка, давай мы их поколмим? — предложил Васятка.

Визг усиливался.

— Правда? — Альбина взглянула на Виктора Аркадьевича. — Сможете?

— Под чутким руководством Васятки, — развел руками Виктор.

— Пошли. Тачку возьмем, — сказал Васятка, по-хозяйски направляясь в сторону входа в свинарник. Виктор поспешил за ним. Там к стене была подвешена тачка.

— Достанешь? — попросил Васятка.

Виктор осторожно снял ее.

— Давай чаны ставить. Вон они.

Три чана с кормом — отрубями, смешанными со свекольным жмыхом, — стояли тут же на полу.

Виктор поставил чаны на тачку.

— И как, Василек, мамка твоя справляется с такой тяжестью?

— А я на что? — важно сказал Васятка. — Я помогаю. Мы две ходки делаем.

Они отвезли и раздали корм поросятам.

— Садись на тачку, Василек. Прокачу.

Раскрасневшиеся, веселые, вернулись они к Альбине. Она укладывала в клеть последнего новорожденного Лады.

— Все, опорожнилась! — с облегчением сказала Альбина. — Теперь уже скоро сменщица Варя придет.

— Мамка, а можно мне уже дядю Витю папкой звать? — вдруг спросил возбужденный, счастливый Васятка, утыкаясь ей в подол.

— Да что ты пристал? А, Васятка?

Альбина резко и гневно отодвинула его от себя, и Васятка, насупившись, отошел, уткнулся в заборчик поросятчей клетки.

— Не сердись на него, Аля, он же пацан. Ему отца хочется, — мягко сказал Виктор Аркадьевич.

Он близко подошел к ней.

— Аля, делать предложение в свинарнике — это, конечно, свинство, но я спрошу... напрямик спрошу тебя: пойдешь за меня? Поедешь со мной?

Альбина быстро взглянула на него, опустила голову.

— Я под спецкомендатурой, Виктор Аркадьевич. Я и в другую деревню не могу без разрешения пойти.

— Это скоро, очень скоро отменят.

— И трудармии отменят?

— Конечно, — уверенно сказал Виктор. — А где ты...

— В пермских лесах...

— Что тебе пережить пришлось, бедная!

— На фронте небось не легче было.

— Я солдат. А ты была ребенком.

Она едва слышно сказала:

— Я мужа своего жду, Виктор Аркадьевич. Коваленко Василия Николаевича. Отца Васятки.

— Но ведь ты ничего о нем не знаешь?

— Не знаю.

— И ты уже пятый год живешь одна?

— Да.

— И зачем я только встретил тебя, Аля?

Виктор улыбнулся и на мгновение осторожно обнял, прижал ее к себе.

На следующий день он уехал.

Смилуйся!

А жизнь ее шла по-прежнему: сын, работа, мысли о Василе. Альбина не знала, не смогла бы объяснить почему теперь, когда после окончания войны прошло уже почти три года, а от Василя так и нет никакой весточки, она с еще большей силой хотела принадлежать лишь ему, лишь его она смогла бы принять. Она избегала, боялась мужского внимания, даже случайное прикосновение вызывало у нее панику, невыносимую неловкость, желание поскорее убежать, спрятаться. С трепетом находила она в подрастающем сыне смешанные черты ее и Василя, как же это удивительно!

После случая с золотой рыбкой прошло два месяца, но Альбина не могла успокоиться, тоска, какой не испытывала она никогда, напала на нее, ослабляя тело, сокрушая дух. Васятка тоже стал тревожным, вялым и капризным. Вот и сегодня утром: ей надо было бежать на работу, а он не хотел идти к бабушке Миле.

— К ней далеко идти, не хочу. Я останусь тут... — скулил он.

— Тогда пойдешь к Анне Григорьевне!

Она почти насильно одела его.

— Тут рядом. Баба Аня тебе патефон заведет.

Анна Григорьевна с мужем Михаилом Кондратьевичем жили через три дома от них. Васятка до страсти любил слушать пластинки.

Альбина завела сына к соседке.

— Анна Григорьевна, пусть он у вас побудет, — попросила она. — Не хочет к бабушке идти, а я на работу опаздываю.

— Пусть остается, то ли он мне мешает?

Анна Григорьевна, метко прицелившись, подхватила рогачом и потянула из печи огромный чугунок с варевом для поросенка.

— Проходите. Раздевай его, Алена.

Альбина, раздев Васятку, втокнула его из прихожей в кухню.

— Ну я побежала.

Васятка уселся на кухонное окошко, свесив ноги и придерживая пальчиками валенки, которые мать не велела ему не снимать, пол в избе был холодный. Он слушал Вагнера, как называла, сильно ударяя на второй слог, Анна Григорьевна. Пластинка досталась Михаилу Кондратьевичу, как и патефон, в качестве трофея. Осенью сорок пятого года он привез их с фронта. Васятке нравились песни Вагнера. «Это и не песни, а вроде разговор такой песенный, — определил он, — песенный разговор красивше, чем каким мы гитарим».

Анна Григорьевна благодушно и расслабленно возилась на кухне, слушала краем уха Вагнера. Она достала бадейку с рыбой, утренним уловом мужа, вынула из нее льинка и, кинув на разделочную доску, крикнула:

— Васька, я таперича льинка стану чистить. Будешь пузыри лопать?

Васятка поднял голову, вскрикнул и рысенком прыгнув с окошка на спину Анны Григорьевны, завопил:

— Не тложь золотую лыбку! Мы с мамкой ее отпустили, а ты...

— Ты голову-то натрудил, Вагнера без меры слушать!

Анна Григорьевна скинула Васятку со спины, бросила рыбку назад в бадейку и направилась к патефону, стоявшему в простенке меж окон. сердито сняла головку патефона с пластинки, пальцем ткнула в иглу.

— Всю иглу затупил. И слушат, и слушат.

А потрясенный Васятка, склонившись над бадейкой, нашел среди окуньков и ершей золотую рыбку, выхватил и, быстро пройдя к сундуку, упрятал ее в шапку, лежавшую на сундуке. Рыбка вытянулась на дне Васяткиной шапки и замерла, широко раскрыв рот. Кое-как накинув пальтишко, Васятка с шапкой в руках осторожно вышел из избы.

— Ишо обижается! — сказала Анна Григорьевна, отворачиваясь от патефона и возвращаясь к бадейке с рыбой.

— Васька, куды ты девался? Ишь волю взял! Чуть что — сразу убежать. Ну теперь уж Алена с фермы пришла, пусть сама с ним вожжается.

А Васятка упрятал в сенях шапку с притихшей рыбкой за пазуху и, придерживая ее левой рукой у груди, вышел за калитку и устремился по знакомой тропинке к реке. День стоял морозный, но Васятка даже не застегнул пальто. Дойдя до реки, осторожно спустился по наледи ступенек к проруби, вынул рыбку из шапки, присел на корточки и опустил ее, сонную, усталую, в воду. Страшно было Васятке одному в ледяном срубе. Не дожидаясь, когда рыбка уплывет, он надел шапку, выбрался наружу и пошел домой.

Войдя в свой двор, он заметил, какой большой, до самой крыши, сугроб нанесло на торец сарая. Барахтаясь и проваливаясь в снег, Васятка все же поднялся по нему на крышу и с гордостью глянул вниз. Вот какой он ловкий да храбрый! На крышу не побоялся забраться! Крыша сарая в заснеженных кучах соломы нравилась Васятке. Он резво побежал по снежно-соломенным холмикам, добежал до края, развернулся, вприпрыжку помчался назад, и вдруг ноги лишились опоры, зависли на мгновение в пустоте, и он, провалившись сквозь невидимую под соломой дыру, рухнул в сарай. Шапка, отлетев в сторону, упала на куриный насест, а сам он прямо в стойло, к ногам Зорьки.

Корова вздрогнула, сонная поволока спала с ее очей. Она узнала Васятку и осторожно потянула к нему голову. «Зорька, золотая рыбка...» — пролепетал Васятка, видя перед собой родную морду коровы, и закрыл глаза. От переживаний, беготни по морозу и внезапного падения он отключился и провалился — теперь уже в мгновенный сон. Зорька придвинулась ближе, тронула губами спящее лицо дитяти и глубоко за-

дышала. Клубы пара поднимались над скрюченной, неподвижной фигуркой Васятки. Потом Зорька рогами, как вилами, подхватила из кормушки остатки соломы и сбросила ее Васятке под бок.

* * *

Альбина едва шла домой. Последние дни она прихварывала, все в ней ныло и болело, то не шли ноги, то вдруг начинала болеть и кружиться голова. Через великую силу ходила она на работу и даже с сыном почти не разговаривала.

«Зайду домой, отдохну чуток, а потом схожу за Васяткой», — решила она, направляясь к своей избе. Странной походкой, покачиваясь, прошла к лежанке. Сняла фуфайку и прямо в шали, в валенках прилегла, закрыла глаза... Зимний лес железно, колюче окружил ее. В ушах — звон, стон и вой пилы. Василь с улыбкой протягивает ей мерзлую горбушку хлеба, но она роняет его и вздрагивает: упавший хлеб падает с невыносимо громким, повторяющимся стуком:

— Тук! Тук! Тук!

Кто-то торопливо и требовательно стучал. Альбина открыла глаза. Где она? И где Василь, только что стоявший около нее? Поняв, что она забылась тонким и коротким сном, Альбина вскочила, устремилась к двери, которая в этот момент распахнулась, и на порог тожественно взшел Сладкий Семушка.

— Вот, Алена, хоть и обидела ты меня, и козла моего незаконно обстригла, и племянника сильно расстроила, а я не сержусь!

Почтальонская сумка, висящая на потертом ремне, придавливала плечо малорослого Семушки.

— Через всю деревню к тебе неся! Письмо тебе, Алена.

Альбина испуганно стояла перед Семушкой.

— А что там, в письме? — растерянно спросила она.

— Гражданка Роот, не забываетесь! Я на государственной службе и закона о секретности личных писем не нарушаю!

«So ein Witzbold»⁷, — подумала Альбина.

Семушка подал ей письмо.

— Почти из Москвы. Тульская область.

Альвина торопливо открыла длинный серый конверт, вынула вдвое сложенный листок. Из него, как из прохудившегося кармашка, выскользнула и упала на пол небольшая фотография. Альбина скорее развернула листок. Она читала, нетерпеливо складывая русские буквы в слоги и слова.

«Дорогие, любимые мои Аля и Василек! Я нашел вас!»

— Нашел — повторила Альбина. Она забыла о Семушке, а он, отступив к порогу, с любопытством смотрел на нее.

«Я долго не мог вас найти, хоть поиски не бросал никогда. Но на днях мне пришло письмо от человека, который сам искал меня. Виктор Аркадьевич Хрусталеv. Он прислал мне адрес и как до вас доехать».

— Вот для чего ты меня встретил, Виктор! — сказала Альбина, растроганно глядя на Семушку. И заплакала.

«А девка совсем ку-ку, — решил Семушка. — собой краля, а умом-то фаля!»

И он тихо удалился.

«Аля, — продолжала читать Альбина, — если ты хочешь, чтобы я приехал, вышли телеграмму. Я живу и работаю в Туле. Обнимаю тебя и сына. Василь».

⁷ Смешной человек (нем.).

— Василек! Васятка! — позвала Альбина. — Ох! Он же у Анны Григорьевны!

Она накинула фуфайку и побежала к соседке.

В избе пахло жареной рыбой. У порога стояла кошачья глиняная миска, полная рыбьих пузырей.

— А Василек где?

— Василек... — повторила Анна Григорьевна, обиженно глянув на Альбину, — колочка в заднице он, а не Василек!

— Где Васятка?

— Домой убежал.

— Как домой? Анна Григорьевна! Его дома нет!

— Дурачок у тебя, Алена, растет, тут и к бабке не ходи! Линя у меня унес. Это, орет, золотая лыбка. Не тлочь ее!

Альбина схватилась за сердце и выбежала из избы.

— Вот заполошенная! Куда он денется, твой Васятка? Еще дверь открытой оставила!

Анна Григорьевна захлопнула дверь с такой досадой, что с косяков полетели кусочки побелки.

Альбина выбежала за калитку. Внимательно оглядела снег и увидела Васяткины следы. «На прорубь побежал, рыбку отпустить», — поняла она и пошла по ним, то четким, то едва видимым. Следы вели к реке. На полпути, как раз у их дома, она заметила, что на эти следы наезжают те же маленькие, Васяткины, но направленные в обратную сторону. Она развернулась и пошла по ним. Следы вели в сторону их дома. Вот он вошел во двор. На твердом утоптанном насте двора следов не было видно.

— Где же он?

— Вася, Васятка!

Альбина кинулась в сени. Не закрывая дверь, осмотрела каждый уголок, заглянула даже в ларь с мукой. В сенях нет. Зашла домой. Стараясь взять себя в руки, оглядела избу, заглянула на печь, в сундук, под кровать, даже в устье печи. Решила:

— К Зайцевым пошел!

Выбежав из избы, направилась к соседям, но подойдя к изгороди, увидела на соседском дворе обоих Зайцевых мальчишек.

— Сашка, вы Васятку не видели? — крикнула Альбина.

— Не-а, — ответил Сашка, на бегу придерживая рукой новую и большую заячью шапку.

— Мы с ним не водимся. Он дъачун, — крикнул младший Толик, косолапо догоняя брата.

— Вася! Василек! — она закричала так, что Сашка и Толик остановились, а потом в испуге кинулись на свое крыльцо и скрылись в сенях.

Голова ее стала кружиться, закружился и на мгновение исчез двор, и из этой пустой кружащейся замяти услышала она Зорьку. Корова звала ее к себе долгим требовательным мычанием. Альбина кинулась к сараю, вбежала в него, оставив дверь настежь открытой. Здесь глазам было темно, но от пролившегося в дверь дневного света тьма стала легкой, просвечивающейся, а потом и вовсе рассыпалась, словно охапка соломы. Альбина кинулась к стойлу и, еще даже не увидев, поняла, почувствовала, что Васятка там, открыла воротца. Он лежал у ног Зорьки. Она вбежала в стойло. Корова, увидев хозяйку, низко наклонила голову и теплым паром дохнула на Васятку.

«Согревала его...» — благодарно подумала Альбина.

— Зорюшка, спасибо, родная моя!

Она взяла сына на руки. Васятка повернулся, уткнулся лицом ей в плечо и продолжал спать. Она тихо понесла его в избу.

* * *

Деревня, укутанная по самые окна в пуховый плат метельного февраля, казалась дремлющей, но все видела, глядя через редкие просветы зарисованных морозом окон и не престаивала спрашивать:

— Куда это Алена с Васяткой так поспешают?

Две устремленные вперед темные фигурки, женская и детская, преодолевая снег, быстро шли по дороге. Женская держала за руку детскую, повязанную поверх шапки большим платком.

— Скорее, мамка, че ты тянешься? — сказал Васятка, выпрастывая руку и опережая ее.

— Да я и так быстро...

Они свернули со своей улицы на укатанную санями дорогу, ведущую к центру деревни. Тут идти стало легче.

— Мамка, сними с меня платок, мне жарко!

Альбина остановилась, развязала платок, снова взяла Васятку за руку, и они продолжили путь. Шел пятый час, уже упряталось солнце, зимний вечер подсинил сугробы по сторонам дороги. Альбина с Васяткой очень торопились. Сзади послышались знакомое фыркание лошади и ритмичное постукивание возка председателя, который скоро поравнялся с ними.

— Ядрена вошь, ты куда ползешь? — крикнул Андрей Каспарыч.

— На почту поспешаем, Каспалыч! Телегламму папке давать! — звонко, с удовольствием ответил ему Васятка.

— Ишь ты! Софья, стой! — приказал он лошади. — Нашли, значит?

Альбина с Васяткой тоже остановились, потеснились на обочину. Председатель взглянул на Алену. Лицо у нее было белым, как у Снегурки, светлые, заснеженные глаза глядели куда-то вверх, ровно Андрей Каспарыч с неба ей вопрос задавал.

— Кажись, нашли, Андрей Каспарыч.

— Замерзла, — сказал председатель. — Садитесь. Подвезу.

Васятка живо забрался в возок, сел впереди рядом с Андреем Каспарычем.

Альбина, стесняясь, присела на заднюю скамеечку.

— Обрадовались! Что ж? Поедете теперя к нему?

— Сюда Василя звать буду. Можно ему к нам в деревню?

— А почему ж нельзя? У нас работников, сама видишь: раз-два, и обчелся. Война забрала и не вернула.

— Василь много чего умеет. В лагере научился. Ну... для заключенных...

— Знаю, что не в пионерском.

Он передал Васятке вожжи.

— Правь, Василий.

— Но, Софья, поехали! — приказал Васятка и хлестнул лошадь вожжами.

— Закладывай санки да поезжай в жданки... — раздумчиво произнес Андрей Каспарыч. — А вы вот дождались, мои хорошие!

Дмитрий ЛАГУТИН

ОБРУЧ МЕДНЫЙ

Повесть

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной.
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный.
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело, и сухо
Земля шумит в ушах.

А. А. Тарковский

Трава блестела от росы.

Мы с Олежкой сидели на корточках посреди тротуара и мастерили змея. Вокруг нас были рассыпаны мелкие тонкие гвоздики, лежали одна на другой фанерки.

— Я даже пробовать не буду, — говорил Олежка. — Не мое — и все тут. Зато я на пианино умею играть — и фокусы показывать. Мне эти змеи — век бы их не видел.

Я молчал и примерял фанерки к каркасу.

— Велика важность, — продолжал Олежка. — Плевать я хотел на их змеев. Важничают так, будто на Марс полетели, а не какую-то штуку протащили над головой.

За нашими спинами раздались шаги.

— Вы чего тут расселись?

По тротуару ковылял Терминатор — столетний хромым дед с тростью, которого Терминатором стали звать с подачи кого-то из старших, насмехаясь.

Терминатор плюнул себе под ноги и ткнул меня тростью в спину.

— Чего расселись, говорю?

Голос у него был — ужас; гвоздем по стеклу.

Мы расступились.

Терминатор прошагал между нами, мелко стуча тростью, протащился метров с десять, но, не добравшись до перекрестка, остановился, развернулся, оперся на трость и уставился на нас.

— Я вас знаю. Замышляете.

— Замышляем-замышляем.

Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского. Тексты опубликованы в изданиях «Новый берег», «Нижний Новгород», «Волга», «Нева», «Истоки», «Дальний Восток», «Иван-да-Марья», «День литературы», «Брянская учительская газета», «Литературная Россия», сетевых изданиях «ЛиТERRАтура», «Южный остров», «Камертон», «Парус», «День литературы», Nohlev.ru, приложениях к журналу «Москва».

— Чего?

— Ничего.

Мы развернулись к Терминатору спиной и продолжили свое занятие. Теперь солнце светило нам в лица, выглядывая из-за изгиба улицы, — казалось, что оно сидит на краю дальнего забора.

Было прохладно. Волнами набегал и отбегал прозрачный утренний ветерок.

— Но мы договорились, да? — спросил Олежка. — Мы с тобой возимся сейчас — и я тебе больше не должен?

— Договорились, — сказал я и ударил себе молотком по указательному пальцу.

Я взвыл и, отбросив молоток, прижал руку к губам.

— Что там? Что там? — засуетился Олежка. — Дай посмотреть.

Я показал палец.

— Ноготь слезет, — сказал Олежка весомо. — Точно слезет.

И прибавил:

— Круто.

Я закусил губу и молчал.

Терминатор, стоя на прежнем месте, закурил — и к нам потянул свои щупальца вонючий сизый дым.

Я, оттопырив палец и морщась, снова принялся за змея. Фанерки держали растянутым газетный разворот, с которого улыбалась какая-то тетка в беретке.

— Я вообще не понимаю, как они могут летать, — сказал задумчиво Олежка. — Тяжелая же штука.

— Он на воздушный поток ложится, — ответил я. — И поток его как будто несет.

— Сомнительно.

Я забил последний гвоздик — тюкая еле-еле, боясь за пальцы — и стал привязывать к змею леску.

Готово.

Сизый дым гладил нас своими щупальцами. Я обернулся и с ненавистью посмотрел на Терминатора, который стоял, согнувшись, мял губами сигарету и не сводил с нас глаз.

Глаза у него были круглые и мутные.

— Здесь не запустим.

— Да ладно тебе, — возмутился Олежка. — что он нам?

И он покосился на Терминатора.

— Так, — процедил я, — мы договаривались?

Олежка вздохнул.

— Договаривались.

— Ну вот и все. Пошли.

Я взял змея, Олежка сгреб в охапку оставшиеся фанерки и молоток. Ссыпал в карман гвоздики. И мы пошли по тротуару, оставив Терминатора дымить в одиночестве. Свернули на Ново-Советскую — двинулись вдоль проезжей части. Мимо лениво проползли одна-две машины.

— Новость слышал? — спросил Олежка, пиная перед собой камень.

— Какую?

— Катькин брат с мотоцикла свалился. Руку сломал.

— Слышал.

Солнце теперь покачивалось на гребне одной из крыш. У тротуара с нашей стороны толпились кусты сирени. Олежка сорвал широкий темный лист, положил его на кулак и хлопнул по нему ладонью.

— Эх, — вздохнул он, — и это не получается. Не руки, а грабли.

— А вот это я умею, — сказал я.

Я положил змея, дернул ветку — она при этом потянулась за рукой и просыпала на тротуар росу — и прижал лист к кулаку. Потом размахнулся и шлепнул сверху. Раздался сухой жалкий шелчок — не получилось.

Олежка прыснул, я замахнулся на него змеем. Он отскочил.

— Сказал, умею! — гаркнул я.

Олежка скривился.

По дороге, прямо по проезжей части, семенила местная дворняга — рыжая и облезлая. Заметив нас, она замерла, подумала и двинулась в нашу сторону.

— Не шевелись, — сказал я Олежке.

— Она меня на прошлой неделе чуть не ухватила, — прошептал Олежка и прижался спиной к забору.

Дворняга просеменила к нам, обнюхала мои ботинки, покосилась недоуменно на змея. Потом посмотрела на Олежку и тихо зарычала.

— В глаза смотри, — прошипел я.

— Смотрю, — выдохнул бледный как мел Олежка.

Дворняга зарычала громче и оскалилась.

— У тебя молоток, — напомнил я.

— Я знаю, — пролепетал Олежка.

Олежку надо было спасать.

— Фьють, — позвал я. — Бобик.

Дворняга обернулась.

— Лезь через забор, — прошипел я. — Фьють, фьють.

Олежка стоял не шевелясь, дворняга смотрела на меня.

— Лезь, говорю тебе.

Олежка, не отлипая от забора, сделал шаг в сторону. Потом еще один.

— Бобик, Бобик. Злобный облезлый Бобик.

Дворняга будто поняла меня — и внутри у нее глухо заурчало.

— Хороший Бобик, хороший, добрый и красивый, — затараторил я.

Дворняга продолжала урчать. У нее шерсть торчала во все стороны пучками, и зубы у нее были желтые и кривые.

Олежка стал поднимать правую ногу — с тем, чтобы упереть ее в перемычку забора. В этот момент утреннюю улицу огласил жуткий вопль.

— А ну пшла вон, сволочь!

Я онемел от ужаса и краем глаза увидел, как из-за угла показывается сутулая фигура Терминатора. Терминатор замахнулся своей палкой и снова проскрежетал:

— Пшшла вон!

Дворняга с недоумением посмотрела на Терминатора, догадалась, что обращаются к ней, и рванула прочь, раскидывая в стороны задние лапы.

Олежка медленно опустил ногу.

Терминатор сделал два шага и вдруг снова заорал — теперь на нас:

— А вы что, щенки? Что вы тут шастаете все утро?

Я от такого просто дар речи потерял.

— Совсем с катушек слетел, — тихо сказал Олежка.

Терминатор испокон веков слыл вредным, противным стариком — но не до такой же степени.

— Пойдем, — потянул меня за рукав Олежка. — Еще кинется.

Я стоял как вкопанный и сжимал в руках змея. Ныл палец.

— Пойдем, — повторил Олежка. — На него даже смотреть жутко.

Терминатор стоял, выпучив глаза, и тряся. Он почти всегда тряся — от старости. На его щеки и лоб ложились утренние лучи — но ложились как-то косо, спотыкаясь.

Вдруг он сделал страшное лицо, вскинул руку и замахнулся на нас своей палкой.

Я услышал, как застучали за моей спиной, удаляясь, Олежкины шаги; развернулся — и понесся следом.

* * *

Остановились мы, пролетев несколько переулков, у колонки. Колонка стояла на асфальтовом бугре — напротив цыганского барака. На бугор со всех сторон напознала упрямая трава — и даже протискивалась в трещины. Некогда голубая колонка теперь стояла вся облезлая, обколупанная и выглядела очень старой. Мы сгрудили поклажу на траву и по очереди подставили рты под ледяной поток. Олежа поперхнулся и принялся надрывно кашлять.

— Сколько ему все-таки лет? — спросил я.

Олежа выпрямился, отдышался и вытер мокрое лицо рукавом.

— Без понятия. Не меньше ста.

Он присел на корточки и стал перевязывать шнурки — потуже. Он постоянно так делал, дикая привычка. Развяжет, распластает их на обе стороны, потом вцепится, натянет, как вожжи, и давай завязывать.

Я снова пустил воду и сунул в струю ноющий палец, его заломило от холода.

Закончив свой ритуал, Олежа подошел ко мне вплотную.

— А ты не слышал, что ли, что о нем Дим-Димыч говорил?

— Нет.

— Он сказал как-то... слушай, ну ты же был тогда.

— Не помню.

— Он сказал, что, дескать, у Терминатора детства не было. Потому он нас и ненавидит.

Я усмехнулся.

— Не веришь? Так и сказал: никогда ваш Терминатор ребенком не был.

— Балда, — я пальцем постучал Олежке по лбу, — это оборот речи. Красное словцо.

Олежа взъерошил волосы.

— Красное не красное, а только... Ты вот можешь Терминатора представить... таким, как мы?

Я фыркнул.

— Это не аргумент. Так с любимым стариком дело обстоит.

— Не скажи, — протянул Олежа. — Вот деда моего — могу представить. Бабушку могу. Дим-Димыча. А этот...

— Дим-Димыч не старик еще.

— Ну, почти старик.

— Да какое там... — я начинал раздражаться. — Ты вот любишь нести околесицу.

Солнце оторвалось от крыш и зависло над ними, как будто не знало, что делать дальше. Начинало припекать, роса исчезла — и ветерок притих.

Из барака вышла, подперев бока руками, толстая цыганка. Она проплыла через двор к турнику, на котором сушились какие-то тряпки, и принялась снимать их, набрасывая по одной на плечо.

Мы сунули руки в карманы и замолчали — прятали ногти и зубы.

Вслед за цыганкой из барака выскочил цыганенок в пестрой рубаше до колен. Он подбежал к цыганке, сдернул с ее плеча одну из тряпок, завернулся в нее с головой и принялся нарезать круги по двору.

Мы стояли молча. Цыганка закончила снимать белье, вразвалку дошла до барака и скрылась в черном проеме. Цыганенок еще побегал, раскидывая тощие ручки на манер крыльев, потом заметил нас, остановился и стал на нас смотреть.

Олежа медленно достал руку из кармана и показал цыганенку кулак.

Цыганенок как будто не понял и продолжал стоять до тех пор, пока из барака не послышался визгливый женский голос. Тогда он встрепенулся и, в три прыжка добравшись до перекошенного крыльца, юркнул внутрь.

Мы выдохнули.

Олежка произнес задумчиво:

— А у меня книжка есть — «Цыгане». Пушкина. Картинки — закачаешься.

Я не ответил.

— Только там какие-то другие цыгане, не такие, как эти.

Я наклонился за змеем.

— Мы с тобой до вечера проболтаемся без толку, — сказал я. — Давай уже пробовать.

— Прямо здесь?

— Нет, здесь нельзя, — я почесал затылок. — Чего доброго, заметят; смеху не оберешься.

— А где?

Я повертел змея в руках.

— Давай на школе.

Олежка поднял молоток, фанерки — и мы двинулись в сторону школы.

* * *

Школьный двор прятался от мира за высоким бетонным забором. Чтобы попасть внутрь через парадные ворота — задние летом держали закрытыми, — нужно было вертануть здоровенный крюк по району.

Разумеется, это было бы великой глупостью с нашей стороны. Мы полезли по дрожащим и взвизгивающим воротам, которые, казалось, пришли в ужас от того, что по ним кто-то лезет.

Двор был пуст, большая его часть пряталась в тени школы. Граница света и тени проходила через футбольную площадку, рассекая ее надвое по диагонали. Школа — огромная бело-зеленая коробка — казалась спящей. Солнце нехотя выглядывало из-за нее. Налево тянулся довольно-таки приличный газон, а в его центре стоял несуразный бордовый гараж, предназначенный для того, чтобы забраться ему на спину и наблюдать за жителями частных домов по ту сторону забора.

По двору гулял ветер. Дергал за косы старую березу, волочил по газону бумажки.

В углу площадки, у ворот, лежал забытый кем-то футбольный мяч. Олежка разбежался и ударил.

Мяч улетел за забор, Олежка сделал виноватое лицо.

За забором был чей-то огород.

— Пеле, — сказал я.

Я положил змея на асфальт и принялся разматывать леску. Леска была тоненькая, совсем прозрачная. Размотав, я обернулся и увидел, что Олежка подбежал к забору, влез на кучу песка, наваленную тут же, и теперь вертит головой — ищет мяч.

— Пеле! — крикнул я.

Олежка еще повертелся, потом спрыгнул и побежал ко мне.

— Не видать, — сказал он.

— Все. Нет мяча.

— Да уж.

Я вручил Олежке змея и, взявшись за моток, отошел.

— По команде! — крикнул я. — Ты старайся, чтобы леска была натянута! Не торопись!

Снова заныл успокоившийся было от воды палец.

Олежка кивнул. Он поднял змея над головой и приготовился.

— На счет три! — крикнул я. — Раз! Два! Три!

Я рванул с места — и выдернул змея из Олежкиных рук.

Змей со стуком упал на асфальт.

— Ты чего? — заорал я.

Олежка сконфузился и поднял змея.

— Сломал?

— Вроде нет.

— Я тебе дам «вроде»! Соберись!

Я отвернулся.

— Раз! Два! — я посмотрел на Олежку через плечо. — Три!

На этот раз побежали вместе. Я почувствовал, как леска в руке натянулась, ее повело.

— Пошел! — закричал радостно Олежка. — Есть!

Его голос удалялся.

Я бежал через школьный двор и не верил своему счастью. Леска пошла вверх, почти вертикально. Я обернулся, задрал голову и увидел, как мой неуклюжий, несуразный змей ползет по воздуху. Бумага просвечивала на солнце — и казалось, что змей сияет сам по себе.

Рванул как нельзя кстати ветер, лес у забора затанцевал.

Я остановился — змей дернулся, но продолжил парить. Я медленно распустил моток — и он поднялся выше. Теперь он казался очень красивым — такой ровненький, аккуратный.

Подошел Олежка.

— Здорово, — вздохнул он.

— Ага.

Мы стояли в тени школы, а змей купался в солнечном свете. Леска тянулась от него белая, сияющая, но в какой-то момент вдруг темнела и падала нам в руки.

Ветер поднажал — и змей потянулся еще выше.

— Вот это да... — протянул Олежка.

Я скинул с мотка еще лески, змей уменьшился.

— Эй, щеглы, — окликнул нас кто-то.

В нескольких метрах стояли длинные нескладные старшеклассники. Они обращались к нам с Олежкой, но смотрели вверх, на змея.

— Сейчас в космос улетит, — сказал один.

— Мяч тут видели? — спросил второй.

— Нет, — соврал я и стал медленно сматывать леску.

— Дай погонять, — крикнул третий.

Я промолчал.

— Погонять дай, — просипел четвертый.

Змей продолжал беззаботно качаться, точно не замечал того, что происходило внизу.

— Не могу, — сказал я, чувствуя, как потеют ладони.

— Это почему?

Олежка посмотрел с отчаянием.

— У меня лишай, — ляпнул я первое, что пришло на ум. — Заразный.

Старшеклассники замялись.

— И у меня, — пискнул Олежка.

И прибавил:

— Я от него заразился.

Я кивнул.

Старшеклассники покачали головами — недоверчиво. Я оттопырил палец со стремительно темнеющим ногтем — так, чтобы его было видно.

На площадку со стуком вылетел футбольный мяч. Он пропрыгал до ворот, ткнулся в штангу и откатился от нее обиженно. Из-за забора показалась косматая голова. Голова окинула взглядом двор.

— Бойцы! Мне ваш снаряд лук помял!

Мы промолчали.

— В следующий раз ножом проткну!

Никто не ответил. Мяч лежал у ворот и ждал, когда его спасут.

Голова посверлила нас взглядом, потом запрокинулась.

— Хорошо летит!

И исчезла.

Один из старшеклассников подбежал к мячу, схватил его. Я продолжил сматывать бечевку, змей возвращался нехотя, со скрипом — ветер звал его ввысь, тянул изо всех сил. Наконец змей нырнул в тень, смирился и обреченно упал мне в руки.

— Ладно, лишайные, — сказали старшеклассники. — Лечитесь.

И ушли.

* * *

Мы смотрели леску, обогнули школу и полезли на гараж.

Гараж был теплый, по нему ползала сгребаемая ветром труха — веточки, листья.

— Смотри, — сказал Олежка.

Он поднял зеленый стеклянный шарик и посмотрел сквозь него на солнце.

Я взял шарик из Олежиной руки. Он был красивый, переливающийся, в его глубине плыла дымка, а в ней застыли два перламутровых пузырька. С одной стороны по стеклу бежала тонкая извилистая трещина.

— Ничего.

И я отдал шарик Олежке. Мои мысли были заняты змеем — великолепным, ровненьким, изящным змеем. На таком самому впору летать. Я посмотрел на тетку в беретке и удивился — такой она была красавицей. Она улыбалась торжествующе. На беретке блестела брошка в форме буквы «А».

Заголовок гласил:

«Ай да мы!»

И ниже:

«Брянский скульптор взял золото в международном конкурсе».

А дальше — мелко — текст про какой-то конкурс имени А. К. Толстого.

— Олежка, — позвал я.

— Что?

— Ты Толстого читал?

— Читал.

— А что читал?

— Басни.

— И как?

— Ничего.

Олежка все смотрел на солнце, зажмурив один глаз и приставив к другому шарик.

— Смотри ослепнешь, — сказал я.

Он не отреагировал.

Я вздохнул и улегся на теплую спину гаража, положив змея на грудь. Ветер потянул его на себя, но я не отдал.

Солнце приближалось к зениту. По небу тянулась еле заметная прозрачная рябь. Олежка улегся рядом, выставил руки и продолжил разглядывать шарик. Шарик в лучах солнца прямо-таки огнем горел.

— У меня таких была целая коробка, — сказал я. — В сарае прятал. Однажды прихожу — нет нигде.

— Вот так.

— Вот так.

Сбоку зашумела листва — и ветер проплыл над нами прохладной простыней.

— У меня так конструктор пропал, — сказал Олежка. — Всегда стоял в шкафу, а тут вдруг раз — и нету. Весь дом перерыл — как в воду канул.

— Да дома — ладно. Дома найдется. А из сарая кто угодно мог утащить. Через забор перелез — вот и вся наука.

— Это да, — согласился Олежка.

Помолчали.

— Дай еще посмотреть, — попросил я.

Олежка протянул шарик.

Я взял его двумя пальцами и вытянул руку. Шарик сверкал, нутро пылало изумрудом.

— У моей бабушки, — сказал Олежка, — кольцо есть. Перстень. Так вот там такой камень, что если в него взглядеться, покажется, будто внутри огонек маленький. Искорка.

— Тут ничего такого нет, это свет преломляется.

— Нет, со светом — понятно. А то и в темной комнате... все равно видно.

— Значит, обман зрения.

— Ну, не знаю.

— Сказочник, а сказочник, — повернулся я к нему. — То у тебя старики стариками рождаются, то кольца светятся. Надо же и меру знать.

Олежка вздохнул и взял из моей руки шарик.

Высоко в небе, оставляя за собой две ровные белые линии, полз самолет. Мы смотрели, как он ползет, и молчали. Линии какое-то время держали форму, но потом принимались набухать, расплзаться — и через несколько минут казалось, что небо делит пополам размашистая борозда.

— Слушай, — заговорил наконец Олежка, — а может, и у меня получится?

— Что?

— Ну, змей.

Я пожал плечами.

— Слушай! — воскликнул Олежка. — Ну давай попробуем, а? Вдруг получится?

Я поднял змея и посмотрел сквозь него на солнце. Лицо брянского скульптора засияло.

— Давай. Только у меня больше бумаги нет.

Олежка сел.

— Бумага — это не проблема! Бумагу найти — раз плюнуть!

Он вскочил и даже ногой топнул — от чего по гаражу пробежала мелкая дрожь и труха заструилась в разные стороны — испуганная.

Олежка стоял надо мной и потрясал кулаками.

— Пошли искать, — беззаботно сказал я.

* * *

Змей остался на гараже.

Сразу полезли на забор — сверху виднее. Там, где к нему подступали деревья, или стена школы, или крыши чужих сараев, можно было идти выпрямившись, размахивая руками. Там, где опереться при случае было не на что, приходилось осторожничать и передвигаться сидя, протирая шорты о шершавый бетонный хребет.

Поползли от ворот — и направо.

— У этих цыган, — Олежка вдруг вспомнил про цыган, — из книжки, все время какое-то веселье. Скачут туда-сюда табором и песни поют. И так целыми днями.

Узкая Олежкина спина в красной футболке маячила перед моими глазами.

— Паук, — соврал я.

Олежка замер и потянул руку назад. Тут же отдернул.

— Убери! — воскликнул он.

Он до смерти боялся пауков.

Я помялся для виду.

— Ну убери!

— Да он огромный!

— Убери!

— Мне самому жутко!

— Ну убери!

Я подтянулся поближе и взмахнул рукой.

— Все.

Олежка недоверчиво обернулся, посмотрел на меня через плечо, потом попытался разглядеть спину.

— Точно?

— Точно.

Он выдохнул.

— Фух. Я пауков до смерти боюсь.

Я пожал плечами.

— А ты не боишься?

— Не особо.

— Но ты слизней боишься, я знаю.

Я закатил глаза.

— Не боюсь я слизней.

— Ага, — хмыкнул Олежка.

Я ткнул его ладонью в спину.

— Ползи давай.

И мы поползли дальше — мимо грядок и теплиц. За забором с этой стороны толпились частные дома. Солнце стояло в зените и пекло невыносимо, у меня голова просто горела. Ветер куда-то пропал.

И ныл палец. Я посмотрел на него — ноготь был багровый.

Когда проползали мимо яблони — она стояла у самого забора на одном из участков, — Олежка протянул руку и сорвал блестящее белое яблоко.

— Я сейчас кому-то руки оборву.

Из-за теплицы вынырнула косматая голова — та самая, что грозилась пропороть мяч.

Она вся блестела — по лбу и щекам катились крупные капли.

Олежка крикнул.

Я приготовился нырнуть вниз, на школьный двор, и стал крениться влево.

Голова посмотрела на нас сурово, а потом улыбнулась и подмигнула.

— Ладно, не трусь.

Олежка так и держал яблоко в вытянутой руке.

— Приятного аппетита.

И голова нырнула за теплицу.

— А мне можно? — позвал я негромко.

Голова снова вынырнула. Она прищурилась, посмотрела на меня, оглянулась на дом. Рядом возникла широкая — в земле — ладонь.

— Рви, чего уж.

Я подполз поближе, вытянулся, чуть не упал — пришлось ухватиться второй рукой за ветку — и сорвал ближайшее. Яблоня дернулась — и по земле застучало.

Голова покачалась раздосадованно и исчезла.

Я подышал на яблоко, потер его о футболку и укусил. Меня окутало душистое облаго. Яблоко было хрустящим и сочным, а вкус балансировал ровно посередине между кислым и сладким.

Олежка посмотрел на меня и тоже укусил.

Снова показалась из-за теплицы голова.

— Ну как?

Мы закивали благодарно.

— Хорошие яблоки, — подтвердила голова. — Сейчас еще чуток подспеют — и вообще будет загляденье. Приходите откусать.

Мы закивали.

Голова пропала, но почти сразу вернулась.

— Это же вы змея пускали?

— Мы.

Голова улыбнулась.

— Хороший змей. Хорошо летит. Сами делали?

— Сами.

Голова улыбнулась шире.

— Молодцы. Мы в детстве тоже мастерили, — голова призадумалась и сделала паузу. — Только мне вот они как-то не давались никогда. Даже расстраивался.

Мы развели руками, повисло молчание.

Налетел откуда-то ветер, закачал яблоню, взъерошил косматую шевелюру.

— Да, — выдохнула голова.

— Извините, — заговорил внезапно Олежка, — а у вас газетного листа не будет?

У головы брови взметнулись вверх.

— Газетного? Будет, отчего ж.

Голова выплыла из-за теплицы, превратилась в дядьку в майке и спортивных штанах и зашагала к дому.

Через минуту Олежка уже принимал пухлую газету из черных рук.

— Спасибо.

— Спасибо, — повторил за Олежкой я.

— Да было бы за что, мужички. Будьте здоровы!

Дядька шагнул к теплице, снова превратился в одну только голову, подмигнул нам и скрылся.

Мы догрызли яблоки, примерились и прыгнули на школьный двор.

* * *

У Олежки вместо рук и правда были грабли. Он даже гвоздь не мог нормально забить. Нервничал, наверное.

— Смотри, — говорил я, — вот это вот сюда. И прихватываешь.

Мы сидели в углу футбольной площадки, в тени березы; если только тень от березы можно назвать тенью — листва мелкая, полупрозрачная и постоянно колыхается, и получается не тень, а какая-то каша. Береза была высоченная, мощная — и почти на самом вершине на белом стволе темнел прямоугольник скворечника.

Олежка очень тщательно выбирал разворот для змея. Интервью с актером Сухо-руковым, смеющимся в объектив, ему по вкусу не пришлось. Репортаж о затопленных огородах тоже. Когда я уже начал психовать, он остановился на литературной страни-

це — печатали отрывок из какой-то повести про рыбаков, — но тут же продрал ее гвоздем. Тогда он выхватил наугад — анекдоты и письма читателей.

И вот эти письма читателей мы стали мучить почему зря. Олежка сопел, пыхтел и как будто боялся того, что делал.

— Слушай, — сказал я ему, — да тут не угадаешь на самом деле. Я всегда делал так, как сегодня. И ни разу не получалось. А вот вдруг получилось. Поэтому ты вообще не думай. Делай себе спокойно — а там как пойдет.

Олежка беспомощно развел руками.

— Тут ничего не напишешь, — сказал он. — Это потому что я без отца расту.

— С вами дед живет.

— Да он не в счет, он сам такой.

— Ну, тогда вообще не парься, дед-то у тебя — отличный.

— Так я же не он.

Я не нашел, что ответить. Я посмотрел на актера Сухорукова, потом на Олежку и сказал:

— Слушай, хватит уже. Делай, и все.

У Олежки лицо было как мозаика — по нему скользили лоскутами солнечные блики. У меня, наверное, было такое же. Я скосил глаза — и у актера Сухорукова.

— Мы подарили номер вашей газеты родственникам из Латвии. Они были в восторге, — прочитал Олежка.

— Какая прелесть.

И мы засмеялись.

Поднялся ветер, береза зашумела. Ветер рванул газету и поволок репортаж о затопленных огородах по площадке. За ним вслед бросился порванный отрывок из повести про рыбаков.

Я почувствовал неладное, обернулся и увидел, как с края гаража свешивается мой змей. Он качнулся, прося о помощи, ветер толкнул его — и змей брякнулся в траву, потянув за собой моток.

Я вскочил и помчался к гаражу. Змей был цел, но как же мне было его жаль! — и во взгляде брянского скульптора сквозь улыбку читалось разочарование — что ж ты, дескать, нас оставил?

А я ведь для того и оставил, чтобы не трепать лишний раз.

Я поднял змея и бережно сматал леску. Когда я обернулся, то увидел, что вокруг Олежки стоят уже знакомые старшеклассники — длинные и нескладные, — а Олежка все сидит на корточках над своими фанерками.

С одного края небо было затянуто облаками.

Я юркнул за гараж, подтянулся и закинул на него змея. Потом вышел и направился к Олежке.

Олежка вроде как даже пытался поддержать беседу, выдавливал из себя смешки, сидел, задрал голову, но все подгребал под себя свое рукоделие.

Я подошел и стал молча, не зная, что сказать. Старшеклассники посмотрели на меня равнодушно.

— Ты не так делаешь, — сказал один Олежке. — Вот это сюда надо.

Олежка как-то не к месту хихикнул и повозил фанерками по асфальту. Он иногда терялся, да, совсем выпадал из реальности.

— Говорю тебе, дурень, — продолжал советчик, — забивай. Только надо, чтоб стык чуть под углом был.

— Да у него руки кривые, — сказал другой.

И они загоготали.

— Тебе же помогают, дурень.

На Олежку было жалко смотреть. Он потянулся за молотком.

Я наклонился и выхватил молоток из его руки.

— Это мой молоток, — только и нашелся сказать я. — Батин.

Все уставились на меня.

— И что?

Я не ответил.

Олежка так и сидел на корточках. Из-под его локтя на происходящее смотрел актер Сухоруков. Теперь и старшеклассники были усыпаны прозрачными бликами, и казалось, что они пребывают в непрерывном движении, как будто все время дрожат.

— Нам, — пискнул Олежка, — идти пора.

И он заерзал над своими фанерками.

Старшеклассники скривились, один из них сплюнул себе под ноги и повернулся ко мне.

— Вы чего набрехали? Про лишай.

Я промолчал.

— Зажал змея, да?

Я молчал.

— И где он, твой змей?

Без ответа.

— Да он тоже пришибленный какой-то, — сказал другой.

Снова налетел ветер, береза загудела. Я молился, чтобы змей удержался на гараже.

— Ну, вообще, — сказал третий тихо, — вроде бывает лишай без проявлений.

— Не бывает, — отгрызнулся первый. — Я у мамки спросил!

— Ну, я про такое читал, кажется. На начальных стадиях. Там только сыпь типа какая-то...

— Это и есть проявления! А у них никакой сыпи нету!

Взгляды снова скрестились на мне.

— Эй! Тормоз! Сыпь есть?

— Не знаю, — сказал я.

А потом исправился:

— Есть. Была. Прошла.

— Да лепит он.

Я не знал, что делать. Олежка смотрел с отчаянием. Я подумал, что вот у меня в руке молоток, но что мне с этого молотка? Если я кого-то ударю, меня отправят в колонию для несовершеннолетних, и потом я вернусь через несколько лет, как вернулся Андрияха с соседней улицы, — он испугался, приложил хулигана кирпичом, и все, уехал, а вернулся каким-то диким, мало говорил, мало смеялся и никому не смотрел в глаза. Он старше нас и работает грузчиком, у него через все лицо — через бровь, щеку и губы — тянется тонкий белый шрам.

Но ничего делать не пришлось. Старшеклассники вдруг разом — как по волшебству — потеряли к нам интерес. Им самим это все надоело.

— Мы так до дождя не успеем, — сказал один из них.

Он подкинул мяч, который до этого держал в руках, и с силой ударил по нему — так, что мяч улетел вверх.

Мы все задрали головы.

Мяч поравнялся со скворечником, остановился, точно заглядывал внутрь, и ринулся вниз. Но обратный путь оказался сложным — мяч ткнулся в белую кору, отлетел и заспешил к нам, перепрыгивая с ветки на ветку, как белка.

В самом низу он как-то дернулся, грянулся о ствол и нырнул совсем в другую сторону, к воротам.

Старшеклассники бросились за ним и принялись его пинать.

Я уж было решил, что про нас они забыли, но тот, что приставал с расспросами, обернулся и показал мне кулак.

Олежка встал, прижимая к груди перекошенного змея. Я поднял фанерки, гвозди, то, что осталось от газеты, и мы пошли в сторону центральных ворот, огибая футбольную площадку.

Дальше мы двинулись мимо школы, по дорожке, среди клумб, и наконец покинули школьный двор.

* * *

И конечно, мы тут же свернули налево и пошли вдоль забора — надо было возвращаться за змеем.

— Может, потом заберем? — спросил робко Олежка.

— Дождь ливанет — и капут.

— А вдруг не ливанет?

Но он, вероятно, сам знал, что ливанет: небо было наполовину затянуто облаками и парило не на шутку.

Мы дошли до угла, свернули за продуктовый магазин и нырнули во двор одного из угрюмых трехэтажных домов. Дом был желто-серый, приземистый, как будто настоженный, а в глубине двора, за перекошенными деревянными гаражами и целым лесом сирени маячила все та же серая бетонная стена. Школа возвышалась над домами, как великан.

На каждой лавке кто-то да сидел. Бабульки в платках, мамы с колясками, галдящие девчонки. Мы двинулись напрямую, через детскую площадку. Чтобы забраться на забор с этой стороны, надо было влезть на скелет чьего-то «запорожца», стоящий здесь без стекол, без колес и без одной двери уже лет сто. Олежка все прижимал к себе своего змея.

Когда я вскочил сперва на капот, а потом на крышу «запорожца», бабульки вознегодовали. Я даже глазом не моргнул, ухватился за стену и оседлал ее.

Олежка мялся внизу и не знал, куда деть свое сокровище.

— Спрячь в салон, — посоветовал я и указал на «запорожец».

Олежка замотал головой.

— Олег, — сказал я, — посмотри, какой он кривой. Он все равно не полетит.

Олежка снова замотал головой.

Я махнул рукой.

— Как хочешь.

Олежка смотрел на меня с мольбой.

— Слушай, — сказал он, — а может, я здесь подожду?

Я нахмурился. Потом вздохнул.

— Как хочешь.

Вдруг произошло нечто странное.

Нас накрывала тень от школы. Тень подминала меня, стену, «запорожец», Олежку со змеем и угол одного из гаражей. И тут я увидел, как тень вдруг поползла вперед и окутала гараж целиком, за ним второй, а потом растеклась по двору, карабкаясь на стену дома.

Я вскинул голову — облака закрыли половину неба и спрятали солнце. По двору заметался ветер.

— Жди, — повторил я презрительно, отвернулся и посмотрел вниз.

По эту сторону между стеной и школой был узенький проходик — метра в полтора шириной. С одной стороны — парадной — он был закупорен железной дверью, а с дру-

гой выходил на школьный двор, прямо к заветному гаражу. В этот проходик таскались курить старшеклассники — и все было усыпано окурками. Кроме того, тут было навалено невероятное количество всякого мусора: поломанные стулья, путаница из проволочки, палки, доски и тому подобное. Довершала картину трава по пояс, прорывающаяся кустами крапивы.

Сюда падать было нельзя. Я сел поудобнее и пополз.

Ползти надо было порядочно — мимо школьных окон. По высоте — ровнехонько между первым и вторым этажами. Я полз и заглядывал в окна.

Олежка остался позади. Я выбрался из двора — в соседний, с закрытыми воротами и взъерошенной собакой на цепи — и потерял Олежку из виду.

В одном месте, между кабинетом математики и кабинетом биологии, смотрело прямо в проходик странное и бессмысленное крылечко. Обшарпанная дверь с тремя ступеньками. На двери висел здоровенный замок.

Далее была учительская, за ней — одинокая бойница медкабинета, а за ней — музыкальный класс.

И одно из окон музыкального класса было открыто.

Я застыл.

А потом развернулся и двинулся назад. Взъерошенная собака на цепи, в первый раз проводившая меня равнодушным взглядом, теперь подпрыгнула и залилась лаем. Собака была черная как уголь и очень жуткая.

На кончик моего носа упала капля. И вдруг, точно эта капля что-то сделала с моим обонянием, я почувствовал, как пахнет гроза — вязко и пряно.

Я остановился.

Ныл палец.

Собака скакала на задних лапах и пыталась сорваться с цепи.

У меня внутри будто мельничные жернова терлись друг о друга — медленно, со скрежетом. Я закусил губу, хлопнул себя по коленям, развернулся к гаражу и поспешил за змеем.

На щеку упала вторая капля. Небо было застелено стремительно темнеющими облаками. Справа еще лучилась беззаботно синева, из-за обрыва облаков в нее лился солнечный свет.

Я прополз мимо открытого окна. Манящий полумрак, парты, стулья кверху тормашками, белые парики на портретах — у меня сердце чуть из груди не выскочило.

Но там, совсем рядом, на ржавом гараже улыбалась стремительно темнеющим облакам брянский скульптор в беретке с буквой «А», первый мой змей, который решил взлететь, — и на этот раз я не мог, не смел его предать.

Я с тоской посмотрел на белые парики, оторвал себя от них и ускорился.

Третья капля упала на шею. И за ней сразу четвертая — на колено. Капли были теплыми и крупными.

Когда из-за школы стал виден угол гаража, я соскользнул вниз, в траву. Пришлось высоко поднимать ноги и постоянно через что-то перешагивать. С этой стороны забор был весь исписан — мат сам по себе и оскорбления, имеющие адресатов, громоздились друг на друга, топорщились и ползли во все стороны, как сороконожки. Я нашел взглядом витиеватое ругательство в адрес нашего физрука.

Завыло — и мне в лицо ударил горячий ветер. Я зажмурился. Ветер ворвался, втиснулся в проходик и понесся между школой и стеной, выдирая траву.

Хлопнуло от ветра окно музыкального класса.

Сторож услышит, как оно хлопает, и закроет.

Облаков уже не было — были тучи; вот-вот прорвется и ливанет. Я цаплей добрался до угла, выглянул. Старшеклассники носились по площадке, кричали, пинали мяч.

До гаража еще надо добежать — желательно незамеченным.

Однако с футбольной площадки все просматривалось очень выгодно. Упало еще несколько капель, взревел за спиной ветер — можно было подумать, что он застрял, или зацепился за проволоку, или влез в крапиву — и теперь вот ревет в ярости.

Но старшеклассники непогоды не боялись.

Мне помог мяч — снова. Когда я уже был готов плюнуть на все и выскочить, он взлетел от чьей-то ноги, грянулся о березу и срикошетил во двор к косматой голове. Старшеклассники ступевались, а потом, переругиваясь, побрели к забору.

Я рванул к гаражу, вскарабкался на него, ободрал локоть, но змея не обнаружил.

По гаражу каталась весело труха. Падали звонко редкие капли — дождь все никак не мог начаться, точно меня ждал.

Старшеклассники топтались у горы песка, робели.

Я засуетился, сполз на землю.

Змей стоял вертикально, прислонившись к торцу гаража, — прятался от дождя. Его сбросило ветром — но сбросило, надо сказать, очень удачно. Брянский скульптор улыбалась мне как родному. Я подхватил змея, катушку и кинулся напролом — мимо футбольной площадки и клумб. Перед тем как вынырнуть из центральных ворот, я обернулся на старшеклассников. Они все еще топтались у забора, один стоял на куче песка.

Заметили ли они меня — не знаю.

Небо нависало потолком, на дороге извивались волны пыли. Было так душно, что воздух казался липким.

* * *

Олежка сидел в «запорожце» боком, высунув ноги наружу. Змей развалился в пассажирском кресле.

Олежка увидел меня, вылез, поглядел на небо с опаской.

— Ливанет.

— Ливанет.

Он вытащил из «запорожца» змея и прижал к груди.

— Как прошло?

— Лучше некуда.

Двор опустел, кроме нас с Олежкой — никого. Ветер был точно пьяный: то тишина, духота, то вдруг навалится и давай кусты трепать.

Как-то вдруг потемнело — будто наступил вечер.

— Слушай, — сказал Олежка, — я голодный — жуть.

Я тоже был очень голоден.

— Я тоже.

— Пошли ко мне, — предложил Олежка.

Я замялся — никогда у него не был.

— А кто дома?

— Бабушка. Может, мама. Сестра уехала.

У Олежки была красавица сестра, студентка.

— А дед?

— В санатории.

Олежка вернул змея «запорожцу» и присел на корточки — перевязывать шнурки. Ветер рванул — и змей пополз по сиденью.

Я пожал плечами.

— Пойдем.

Олежка встал, поймал змея и опять посмотрел на небо. Капать перестало, но становилось все темнее и темнее.

— Ты видел когда-нибудь шаровую молнию? — спросил он.
— Нет.
— А я видел.
Начинается.
— Не ври.
— Не вру! У бабушки спросишь!
Я вздохнул. Не хотелось грубить перед походом в гости.
— Хорошо-хорошо, — сказал я.
— Не веришь.
— Верю.
Олежка покачал головой.
— Это вот в том месяце было, в грозу. Когда клен упал.
— Помню.
— Seriously, шаровая молния. Не вру. Она у нас по двору пролетела, мимо окна. Мы с бабушкой видели.
Я кивнул.
— Страшно — жуть, — сказал Олежка. — А вдруг они живые?
— Кто?
— Шаровые молнии.
Это было уже чересчур.
— Олежка, — процедил я, — пойдем, а?
Окно на втором этаже распахнулось, из него высунулась краснощекая женщина.
— Саша! — крикнула женщина. — Домой!
Но во дворе были только мы с Олежкой.
— Саша! — снова крикнула женщина.
Потом посмотрела на нас.
— Олег! Ты Сашу не видел?
Олежка оторопел, замотал головой. Женщина всплеснула руками и исчезла.
Ветер взвыл — и сирень рядом с нами закачалась, вскидывая вверх руки-ветви.
Я посмотрел на Олежку.
— И кто это?
Олежка пожал плечами.
— Не знаю. Не помню. Лицо знакомое, но...
Он не договорил. Снова забились о тропинку крупные редкие капли — гроза теряла терпение.
— Идем, нет?
Олежка кивнул.

* * *

Его дом стоял через три улицы — маленький, низенький, но очень аккуратный, с палисадником в цветах и круглым чердачным окошком. Это была самая зеленая улица в округе — вся в кленах. Когда мы взлетели на крыльцо, клены стонали, скрипели, а листва хлопала, как паруса, но дождь все никак не начинался.

Нас встретила Олежкина бабушка — высокая, худая, со светлыми голубыми глазами. Такими же были и мама, и сестра — высокие, худые, голубоглазые.

Олежкина бабушка носила пышный каштановый парик, на тонкой морщинистой шее сверкали белые бусы.

— Мы обедать, — сказал Олежка.

Я поздоровался.

Олежкина бабушка внимательно посмотрела на меня, потом шагнула в сторону и показала рукой в глубь дома.

— Проходите.

— А можно во дворе? — спросил Олежка.

Бабушка бросила взгляд на клены, пожала плечами.

— Как хотите.

Мы шагнули в узкий темный коридорчик, весь заставленный и завешанный, но почти сразу же Олежка юркнул влево, толкнул дверь, и мы оказались во дворе.

Я успел увидеть маленькую светлую кухню с широким окном и цветами в горшках.

И двор был — сплошные клумбы. Мы свернули за угол, прошли мимо кухонного окна и оказались перед импровизированной беседкой — у самой стены, под козырьком навеса, стоял столик. Две скамейки. Козырек был густо увит виноградом — виноград свешивался гирляндами, на манер занавесок. Чтобы влезть в беседку, нужно было наклоняться.

Теплый виноградный завиток коснулся моей щеки. Воздух дрожал от напряжения — когда же гроза?

Олежка сунул своего змея под лавку, я последовал его примеру. Он смахнул со стола крошки и уселся, упершись локтями в столешницу, — спиной к дому. Я сел рядом.

Над клумбами возвышались две раскидистые яблони, на одной — скворечник. По периметру тянулись целые заросли: сирень, малина, смородина, крыжовник. В углу — сарай с зеленой от мха крышей.

И клумбы, клумбы, клумбы.

Я сидел, спрятав руки под стол. Ветер свирепствовал — и двор был похож на бурлящее зеленое море.

— Может, и не ливанет, — сказал задумчиво Олежка.

— Ливанет, — отрезал я.

Вдалеке заурчал гром.

— Да, наверное, ливанет.

Пришла Олежкина бабушка, поставила на столик две тарелки с голубцами. Пока она уходила и снова возвращалась, гром проурчал еще дважды — громче. Казалось, что гром тоже голоден и потому урчит. Перед нами вырос кувшин с компотом, из-за него выглянули две чашки.

У той, что досталась мне, на ручке был небольшой скол.

Олежкина бабушка пожелала нам приятного аппетита и ушла.

Начали есть. Я, признаться, терпеть не могу голубцы.

— Терпеть не могу голубцы, — сказал Олежка.

Но уплетал так, что за ушами трещало.

Небо вздулось — черно-серое. Оно перекатывалось и уходило вдаль, к горизонту. Из-за сплошного забора было видно крышу соседского дома, выглядывали дрожащие кроны деревьев.

Какая-то птичка выпорхнула из скворечника, обернула круг по двору и нырнула обратно.

— Ого, — сказал я.

И в этот момент на двор обрушился ливень. Обрушился внезапно — сплошным потоком. Мне показалось, что я оглох — такой стоял грохот.

Сверкнула молния, за ней — сразу же — еще одна. Мы оставили в покое голубцы.

Ливень был таким яростным, что нельзя было понять — сверху вниз хлещет вода или наоборот. Листва на деревьях, кустах, цветы, трава — все гнулось к самой земле в надежде спрятаться. Крона за забором исчезла — даже соседская крыша казалась ниже, чем минуту назад.

Дождь водопадом срывался с темных виноградных ветвей, мне в левый локоть отскакивали мелкие холодные брызги.

— Намокнут! — закричал я Олежке на ухо.

Он изогнулся, выхватил своего змея, моего, вскочил на скамейку ногами, подтянулся и пихнул их под самый козырек, на деревянную перемышку.

— Хитро.

Отяжелел от воды и свесился ниже виноградный занавес.

Даже ветер оробел от такого буйства, замер, спрятался — и перед нами стоял лес из тонких серебряных спиц.

Мы вернулись к голубцам, а когда с ними было покончено, разлили по кружкам компот — в нем плавала горстями смородина — и принялись цедить, глядя на дождь.

Мне отчего-то было очень стыдно перед Олежкой — я даже не знал за что. Мы никогда близко не общались, и другом я его не считал, и если бы он тоже не опростоволосился с этими змеями да еще если бы он не уронил в реку банку, в которой я два месяца выращивал кристаллы из медного купороса, — если бы не все это, то я, конечно, не сидел бы сейчас у него во дворе и вообще все это утро с ним бы не шатался.

И он меня порядком раздражал. Он весь был какой-то... несуразный.

Трудно объяснить.

И вот сейчас он сидел рядом и цедил компот, и я цедил, а перед нами грохочущей стеной стоял ливень, и ручьи бежали по вензелям винограда и сыпались на лавку напротив и на край стола.

По столу пополз слева направо жук. Он обернул дугу вокруг графина и двинулся к центру. В центре он замер, пошевелил усиками и спрятался за Олежкину тарелку.

Олежка поднял тарелку.

Жук запаниковал и принялся снова зигзагами, натываясь на капли, а потом не выдержал, рванул к краю стола и скрылся.

Было холодно. Заныл снова палец. Я посмотрел на него — ноготь был похож на квадратик коричневого картона.

— Слезет, — сказал Олежка. — У меня так на ноге было.

Он вытянул босую почему-то ногу из-под стола, уперся ей в лавку и, прижав подбородок к колену, показал на большой палец.

Палец был грязный, мокрый и совершенно обычный.

— Круто, — сказал я.

Олежка спрятал ногу. Потом достал из кармана стеклянный шарик и принялся катать его по столу. Я посмотрел наверх — из-под козырька улыбалась брянский скульптор.

Шарик катался по столу беззвучно: все звуки тонули в ливне. Олежка перестал его катать, взял и в который раз поднес к глазам. А потом опять принялся катать. Он отпущал шарик на волю, легонько подталкивал пальцем, и шарик пускался в путь по прожилкам столешницы, но когда оказывался у самого края и, вероятно, предвкушал свободу — Олежка хватал беглеца и возвращал на место.

Я положил руки на стол, на них — подбородок и стал смотреть на дождь.

Вокруг нас переливалась, мерцающая, серая пелена.

— Так, значит, сегодня не получится? — спросил Олежка.

— Что?

— Ну. Змеи. Дождь же.

Я об этом и не подумал.

Я пожал плечами.

— Завтра, значит. Или послезавтра. Когда-то же он закончится.

Олежка вздохнул.

— Мой так и не опробовали.

— Успеем.

Слева возникла высокая темная фигура. Мы повернулись. Сквозь дождь шла Олешкина бабушка — под широким черным зонтом. Она склонилась и заглянула к нам. Она была похожа на какую-то актрису — я не помнил имени — у нее было старое, сухое, но почему-то очень красивое лицо.

— Идите-ка в дом.

Олешка замялся.

— Олег, ты только что болел. Идите в дом.

Олешка встал и посмотрел на меня. Я тоже встал.

Олешка нырнул под зонт, я как-то кособоко пролез следом — с винограда за шиворот полилась ледяная вода. И мы пошли — медленно, цепляясь ногами.

Уточняя — цеплялись ногами только мы с Олешкой, а его бабушка будто по воздуху плыла — подбородок вздернут, губы поджаты. Олешка жался к ней, прячась от воды, а мне было неловко — и я наполовину был там, вовне, обвитый прозрачными нитями.

На крыльчке перед дверью — три ступени — Олешка споткнулся, но бабушка подхватила его за шиворот свободной рукой. Я посмотрел на другую руку — с длинными тонкими пальцами, на одном которых красовался перстень. Я стал вглядываться — не мерцает ли? — но ничего не увидел.

Когда вошли, Олешкина бабушка поставила раскрытый зонт прямо у двери, перегородив коридорчик, — и вокруг него мгновенно образовалась лужа.

— Вымокли?

Олешка замотал головой.

— Идите в комнату. Чаю сделать?

Олешка закивал.

* * *

В комнате у Олешки пахло цветами. Я повертел головой и — так и есть! — увидел на комодке вазочку, а в ней — цветы.

Меня аж передернуло.

Комната была маленькая — в этом доме больших не имелось, — но, как и все тут, уютная. Справа — диванчик, слева — комод, по центру — письменный стол, окно. Вот и все. Над комодом висела картина — какой-то пейзаж.

— Над кроватью тоже была картина, — сказал Олешка, — но она однажды упала, ночью. Прямо на меня.

Я посмотрел на стену с черной дыркой от гвоздя.

— Испугался?

— Нет.

На столе лежали книги, тетради. Справа от окна висела лампа с тонкими стеклянными завитушками в качестве украшения. Окно закрывал прозрачный тюль, сквозь него был виден двор, придавленный дождем.

По подоконнику стучали звонко капли, шумела ровным гулом гроза.

Олешка сел на стул, я — на диванчик.

Отдельного описания заслуживает комод. К вазочке с цветами со всех сторон стремились динозавры — два десятка фигурок были расставлены на комодке в соответствии с каким-то строгим планом. Все смотрели на вазочку, как на обелиск.

Олешка проследил за моим взглядом и рассмеялся.

Повисла тишина.

Вдруг он вскочил.

— Сейчас!

Он выбежал из комнаты и вернулся через минуту с книгой в руках.

— Вот, «Цыганы».

Он протянул мне — я взял.

Это было подарочное издание — с толстой бумагой и множеством иллюстраций. Текста на страницу приходилось совсем чуть-чуть, вокруг него извивались всякие вензеля. Тут даже была закладка — тонкая золотая лента, вырастающая прямо из корешка.

Я перелистал книгу — страницы замелькали, торопясь друг за другом, — и одобрительно кивнул. Олежка сел рядом и взял «Цыган» из моих рук.

— Вот, — сказал он, — вот как они жили. Гляди какие.

Я увидел костер, а вокруг него людей. Кто-то сидел на земле, кто-то стоял — они держали в руках гитары, пели. Женщины танцевали. На заднем плане темнели треугольники шатров.

— А вот, — сказал Олежка, — вон какая.

Он поскрипел страницами — и нашел портрет девушки. Она была очень красива, у нее были черные кудри, черные глаза, длинная белая шея и белые плечи. Она смотрела на нас с прищуром и, казалось, была недовольна тем, что мы ее потревожили.

— Да, — сказал я, — это какие-то другие цыгане.

— Я о том же.

Дождь усилился — хотя, казалось, уже некуда, — и подоконник затрясся, дребезжа.

— А ты читал? — спросил я Олежку.

— Это?

— Да.

— Не читал.

— Почему?

Олежка пожал плечами.

Он закрыл книгу и положил на стол. Я услышал шаги — в дверном проеме возникла Олежкина бабушка с подносом. На подносе дымились чашки.

— Очень горячий, — сказала она. — Олег, подвинь книгу.

Олежка схватил «Цыган», и бабушка поставила на их место поднос. Потом она откинула со лба искусственную прядь и присмотрелась.

— «Цыганы»?

Олежка кивнул.

— Замечательная вещь.

Она взяла книгу из Олежкиных рук и стала листать. Мелькнул портрет девушки. Олежкина бабушка остановилась, вернулась назад, улыбнулась.

— Ну просто я пятьдесят лет назад, — сказала она.

Я присмотрелся. У Олежкиной бабушки были светлые глаза и ровный, прямой нос. У девушки на портрете нос был с горбинкой, глаза — черные.

Олежка тоже посмотрел на бабушку, потом на меня — и как-то неловко хмыкнул.

Бабушка вернула ему книгу.

— Я буду у себя, — сказала она. — Будете уходить, постучи — могу задремать.

Она пригладила Олежке волосы и вышла. Мы остались вдвоем. Ветер усилился — и теперь капли бились прямо в стекло, а прозрачные нити ходили ходуном, заплетаясь друг о друга. Казалось, что гроза устает.

В соседней комнате забили часы — я даже вздрогнул.

От чашек тянулись вверх лепестки пара — чашки были те же самые.

— Слушай, — воскликнул Олежка, — фокус показать?

Он всех уже достал своими фокусами — но сейчас отказаться я, конечно, не мог.

— Давай.

Он засиял.

— Только... — Олежка повел плечами, — прохладно здесь... Тебе не прохладно? Я утеплюсь, пожалуй.

Он полез в комод и вытянул из него черно-зеленый вязаный свитер.

Я сделал вид, что ничего не понял.

— Сядь вот сюда, — сказал он.

Я придвинулся поближе к столу. Олежка устроился на стуле, попросил меня не смотреть и долго готовился — выкладывал на стол монетки, спички, игральные карты.

Наконец он торжественно хлопнул в ладоши.

— Готово!

Пока он готовился, я рассматривал картину над комодом. Заснеженное поле, речка с мостиком и домики с трубами на той стороне. От мостика к домикам шли через снег двое — взрослый и ребенок. Над ними горело небо — переливалось от зеленого к густо-оранжевому; чернели загогулинами птички косяки.

— Готово, — повторил Олежка.

Я повернулся к нему.

И началось. В Олежкиных руках исчезали и появлялись монетки, спички становились то длинными, то короткими; он угадывал карты, превращал восьмерки в королей и обратно — и при этом все время суетился, пыхтел, и на лбу его даже выступил пот, который он не решался утереть рукавом.

В свитере ему было очень жарко.

Я взял с подноса кружку, поднес к губам, сделал глоток и обжег язык.

Несколько раз что-то шло не так, и из вязаных рукавов сыпались на пол монеты или карты. Он конфузился, вертелся на стуле, пихал упавшее под стол — и вообще вел себя смешно. Я все эти фокусы знал — не просто знал, но и секрет их знал, но мне было совестно прерывать Олежку, и потому я только кивал, делал удивленное лицо и пытался пить чай.

За окном теперь уже не гремело, не стучало — оттуда в комнату плыл мягкий однообразный шум. Я подумал, что, если дождь сейчас закончится, сегодняшняя затея со змеями может остаться в силе.

Наконец Олежка, красный, издерганный, с остывшим чаем на подносе, вскочил со стула.

— И вот — еще один, — гаркнул он.

Я испугался, что он хочет «пригласить зрителя на сцену», и поэтому вскочил — и понял, что это будет выше моих сил; больше я сдерживаться не смогу.

Но он не стал меня поднимать. Он отпрыгнул в противоположный угол, к комоду. Повернулся спиной, развел руки в стороны — насколько позволял комод — и застыл.

А потом...

А потом я подавился остатками чая, потому что Олежка вдруг поднялся в воздух.

Он взлетел совсем невысоко — сантиметров на десять, может, пятнадцать, — но я совершенно ясно видел, что его ноги оторвались от пола и что руками он ни за что не держится.

У меня глаза вылезли из орбит.

А Олежка приземлился, встряхнул руками, обернулся и посмотрел на меня торжествующе.

— Ну? — воскликнул он. — Как?

Я дар речи потерял.

— Круто? Круто же?

Я не знал, что ответить. Я встал, прошел в угол и все осмотрел — нет ли какой хитрости, опоры или вроде того.

Ничего.

Я уставился на Олежку с ужасом. Он ликовал. Я нахмурился, потом выдавил из себя улыбку и спросил:

— Как?

Олежка сделал хитрое лицо, взял с подноса чай, сел на прежнее место и уставился в окно. Я тоже сел на прежнее место — напротив.

— Ну, ладно тебе, — сказал я. — Как?

Олежка продолжал с хитрым видом смотреть в окно. Потом он вздохнул и сказал:

— Дождь заканчивается.

Я даже разозлился.

— Ну, хорош!

Он молчал.

И вдруг на его лицо упал солнечный луч — от верхней губы до середины лба лицо Олежки засияло. Я увидел, что у него карие глаза.

Он прищурился.

Я посмотрел на окно. За ним творилось что-то невообразимое. Дождь еще шел, но уже совсем мелкий. В одном месте тучи — всего-навсего облака — расплзлись, проравшись, и в щель заглядывал огненный диск солнца. Солнце тянуло во все стороны лучи, истосковавшись по земле; земля была мокрая, все было мокрое — и все блестяло и переливалось. Даже дождь блестел и переливался — и казалось, что с неба во двор сыплется горстями бисер.

Это было очень красиво.

Это было чрезвычайно красиво, но у меня из головы не шел Олежкин фокус.

— Олежка, — сказал я умоляюще, — ну расскажи.

Он замотал головой.

— Даже и не проси.

И прибавил:

— Извини.

— Ну, Олежка. Ну, будь другом.

— Не могу.

Я вскочил, прошелся по комнате, снова сел.

— Ну... — я предпринял отчаянную попытку, — а еще раз покажешь?

Олежка распахнул глаза.

— Ни в коем случае!

— Ну, Олег! Это же свинство! Показать-то можно!

Он замялся. Видно было, что его подмывает выйти на бис.

— Ну! — крикнул я.

Олежка глубоко вздохнул, задержал дыхание, потом шумно выдохнул и встал.

— Ладно, — сказал он. — Но только один раз.

И вытер лоб рукавом — не выдержал.

Я сел ровно и вытянул шею. Олежка отошел в угол. Постоял немного. Потом раскинул руки и слегка пошевелил пальцами. Кисти были расслаблены, пальцы смотрели вниз — он точно ни за что не держался.

Я весь превратился в глаза.

Олежка вздрогнул — раз, другой.

И стал подниматься в воздух.

Меня даже затошнило. Телом Олежка оставался недвижим — и все-таки поднимался — медленно, но верно. Сперва между полом и его ногами — я видел обе пятки, сведенные вместе, и левую стопу целиком — была небольшая щель в пару-тройку сантиме-

тров, затем она расширилась. Олежка еще раз вздрогнул — и под ним можно было бы провести ладонью. Еще немного — и под пятки можно поставить динозавра с комода — не слишком высокого, но и не самого мелкого. У меня дыхание перехватило.

И тут я все понял.

Я увидел, что носком правой ноги Олежка стоит на полу. Он перестарался — поднялся чуть выше, чем следовало, — и я все увидел. Он стоял ко мне не ровно спиной, а как будто чуть повернувшись влево, и носок его правой ноги до поры до времени был от меня скрыт.

Но он перестарался — и секрет был раскрыт.

Олежка опять вздрогнул, стукнул пятками о пол и обернулся. И все понял по моим глазам.

Он повесил голову на грудь, дернул стул, плюхнулся на него и спрятал лицо в ладони.

— Ведь читал, — услышал я глухой голос из-за ладоней, — читал, что нельзя, — он отнял руки от лица и стукнул себя кулаком по лбу, — нельзя показывать дважды!

Он запрокинул голову и застонал.

Дождь совсем перестал. Облака таяли, открывая синее полотно неба. Солнце светило по-вечернему ласково.

Олежка дико посмотрел на меня.

— Только не рассказывай никому! — прошептал он. — Не рассказывай!

И прибавил:

— Пожалуйста!

Мне стало его жалко — и я снова почувствовал стыд.

— Не скажу, — я тряхнул головой.

— Дай слово!

— Даю.

Он протянул мне руку, и я ее пожал.

* * *

Мы решили сразу идти на поле — и там ждать остальных.

Перед выходом смяли чуть ли не десяток бутербродов — и выпили еще чаю. Олежкина бабушка проводила нас и долго стояла на крыльце.

Я спиной чувствовал ее взгляд — я ей не нравился.

Все вокруг сверкало, горели лужи-озера — какие-то мы обходили, какие-то перепрыгивали — пахло удивительно, было одновременно и тепло, и свежо, мы держали под мышками змеев и шли в приподнятом настроении.

Нам надо было пройти сквозь весь частный сектор — редущий и расплывающийся.

Чернел на крышах шифер, звенели, срываясь с кленов, капли. Людей на улице было мало, машин — еще меньше.

Мы шли и обсуждали кристаллы из медного купороса.

— Вот кому-то будет находка, — говорил Олежка.

— Находка?

— Ну, представь, сидишь ты такой на берегу, рыбу там удишь — а тут на берег выносит баночку с кристаллами.

Я представил себя на месте рыбака — и впрямь отличная находка.

— Если только она не разбилась, — сказал я. — О камни или еще что.

Олежка промолчал.

Где-то вдалеке протрубел заводской гудок.

— А еще круче, — сказал я, — если эту банку какая-нибудь рыбина проглотит.

- А ее другая рыбина!
- А ее еще одна.
- И где-нибудь...
- В Саргассовом море.
- В Саргассовом море... — Олежка посмотрел на меня. — А где это?
- Без понятия.
- В Саргассовом море рыбаки поймают эту рыбину, а у нее в пузе...
- Да.

Мы какое-то время шли молча — довольные таким сценарием. По небу лениво тянулись облака, подставляли бока солнечным лучам.

- А я ведь решил, что ты это специально, — сказал я.
 - Что?
 - Ну, банку с моста.
- Олежка возмутился.
- Ты что?!

Я кивнул.

Перед каждым домом стояли сырые лавки. На одной из них сидел Терминатор. Он сидел сгорбившись и смотрел перед собой.

- Терминатор, — сказал я.
- Олежка завертел головой.
- Справа.

Терминатор увидел нас и вытянул длинную тонкую шею. Он прищурился и замер. Я вспомнил, как он наорал на нас утром, и замедлил шаг.

- Ты чего? — шепнул Олежка.

Я не ответил. Олежка тоже замедлился. Терминатор не спускал с нас глаз. У него было серое сморщенное лицо, руки лежали на коленях, рядом стояла, прислонившись к лавке, трость.

Мы медленно прошагали мимо него. Он ничего не сказал, даже не пошевелился, только смотрел.

Когда он остался далеко позади, Олежка обернулся, поежился и сказал:

- Жуткий старик.

Я фыркнул.

- Обычный старик.

Олежка остановился, сел на корточки и принялся перевязывать шнурки.

- Слушай, — сказал я. — Зачем ты все время их перевязываешь?

Олежка закончил, выпрямился.

- Не знаю.

Он поднял с дороги камень, размахнулся и кинул его, целясь в дерево. Камень пролетел между ветвями и покотился по траве.

Дорога, по которой мы шли, была усыпана камнями. Камни были грязные — серые или бордовые. Но если взять молоток и расколоть...

Я вдруг понял, что мы где-то оставили молоток. И фанерки. Но фанерки — это пустяк, а вот за молоток могло и влететь.

- Слушай, — обратился я к Олежке, — а где же молоток?

Олежка распахнул глаза, по-дурацки хлопнул себя по карманам.

- Не знаю.

Я стал размышлять вслух:

- К тебе мы пришли без него.
- Без него.
- Но со школьного двора мы его уносили.

— Уносили.

Я посмотрел на Олежку.

— А я тебе его не отдавал, когда за змеем лез?

Олежка взъерошил волосы.

— Не помню.

— Вот и я не помню.

Улицу прошли молча.

Если расколоть такой камень... Откроется узор из волнистых разноцветных линий — но это не главное. Главное, что поверхность скола будет покрыта тонким мерцающим слоем, как будто звездная пыль замурована в булыжник — и ждет, пока ее освободят.

Первым заговорил Олежка.

— Но теперь-то, — сказал он, — теперь-то я тебе не должен?

Я посмотрел на него.

— Нет.

Он кивнул.

Мне вдруг стало не по себе. Мне подумалось, что Олежка, быть может, тоже со мной не бродил бы весь день — если бы не эта несчастная банка. Я покосился на него. Он шел и что-то насвистывал.

Он поймал мой взгляд.

— Что?

— Ничего.

Частный сектор заканчивался, последние упрямые домики смотрели на нас недоверчиво. Здесь за каждым забором было по собаке — и мы шли под аккомпанемент непрерывного лая в десяток голосов.

Солнце клонилось — сползало по небу, как огненная капля. Лучи краснели, стелились широкими полосами.

Наконец улица изогнулась, сжалась и втиснулась в арку из перекошенных коряжистых деревьев, которые сжимали дорогу с двух сторон.

Дорога падала вниз, образуя склон, — весь в колдобинах, изрытый колеями. Торчали отовсюду какие-то прутья, на обочине громоздились рваные покрывки, дырявые канистры, лохмотья ржавого железа. Между деревьями ворчала канава. Пахло мусором.

Мы, спотыкаясь, сбежали вниз и вынырнули на краю поля.

* * *

Поле было похоже на огромную желто-зеленую простыню, пузырящуюся холмами. Ветер гладил траву. Скользила, вихляя и кувыркаясь, дорога. Чуть ли не у каждого холма она расплеталась на тропинки — и разбегалась в разные стороны.

Напротив, вдалеке, поле упиралось в темную стену леса. Справа — терялось в целом архипелаге рощиц. Слева — вытягивалось и вращалось в мерцающую даль. Над полем лежало перевернутым блюдом — грандиозное, невообразимое — небо. Караванами шествовали друг за другом облака, сверкая бронзовыми боками. Небо вырастало из глубокого синего к бледно-голубому, зеленоватому — и раскалялось, соприкасаясь с совсем уже вечерним солнцем.

Справа в синей глубине проглядывал бледный полупрозрачный месяц, и казалось, что синь — это вода, а месяц лежит на дне и блестит.

Пахло травой, слышался щебет — мы увидели, как ныряют в высокой траве серые птицы.

— Куда? — спросил Олежка.

Я кивнул на березовую рощицу.

И мы пошли.

— Надо взять, — говорил Олежка, загребая пыль, — и нарисовать карту.

— Какую карту?

— Карту поля. Со всеми тропинками.

Я хмыкнул.

— Да, было бы неплохо.

Мы свернули вправо. Уже слышно было, как шумят березы. В одном месте поперек тропинки лежало велосипедное колесо с гнутыми спицами.

— А представь, — продолжал Олежка, — вдруг окажется, что тропинки, например, меняют свое направление по ночам.

Я снова хмыкнул.

— И, например, ночью, они ведут не туда, куда днем.

— Да уж.

— Вот бы проверить — а вдруг?

Я рассмеялся. Олежка тоже.

Рощица — три-четыре десятка деревьев — возвышалась над нами и качала верхушками — приветствовала. Дрожал огоньками мелкий березовый лист. Песком рассыпался по округе звенящий шелест, сквозь него доносился стук — где-то в глубине дятел долбил белую кору, — и казалось, что мы слышим, как стучит у рощицы сердце — часто, тревожно.

— Давай еще раз твой запустим, — сказал Олежка.

— Давай.

Я посмотрел на брошку в форме буквы «А».

— Хочешь, ты запусти, — сказал я Олежке.

Он округлил глаза.

— Хочу!

Он побежал к березам и пристроил у корней свое сокровище — со всеми анекдотами и письмами читателей. Когда он вернулся, я вручил ему леску.

— Становись вот сюда.

— Становлюсь.

Олежка сошел с тропинки в траву.

— Ох, трава сырая.

— Ничего.

Я поднял змея над головой.

— Куда мне бежать? — крикнул Олежка.

— Вон туда.

— Куда?

— Вон туда!

Он кивнул.

— Я готов! — крикнул я.

— Я тоже!

— Раз! Два!

Я поднял глаза, посмотрел на улыбку брянского скульптора и мысленно извинился.

— Три!

Мы побежали.

Трава и впрямь была сырой — щиколотки обдало холодом.

— Быстрее беги! — закричал я, чувствуя, как дрожит в руках змей.

Олежка ускорился. Фанерки затрепетали, змей запросился вверх. Я ослабил хватку — только бы не споткнуться — фанерки проехались ребрами по ладони, я дал им прой-

ти еще немного и придерживал змея кончиками пальцев. Развел ладони в стороны — и улыбка брянского скульптора устремилась к небу.

Я остановился. Олечка продолжал бежать.

— Летит! — кричал он, изворачиваясь. — Летит!

— Можешь не бежать! — крикнул я.

Ветер скользил по полю, перекатываясь.

Я развернулся и зашагал к рошице. Я чувствовал, что очень устал за этот день, и не понимал почему.

В рошице я поправил завалившегося набок Олечкиного змея и опустился рядом, прислонившись спиной к шершавому стволу.

Олечка топтался в траве, запрокинув голову, высоко над ним парил змей. Олечка неуклюже пятился, разматывал леску. То и дело он оборачивался и смотрел на меня, ликуя.

— От берез отойди! — крикнул я.

Он послушался.

Шею защекотало — и я схватил в щепотку красного жука-пожарника, перебравшегося на меня с березы. Жук был напуган и просился на волю. Я посадил его в траву и стал смотреть, как он улепетывает, прячась за стебельками.

Когда жук исчез, я запрокинул голову — надо мной рябила переливающаяся листва, сквозь нее я видел усталое синее небо и оранжевые громады облаков.

Стучал дятел. Я повертел головой, но нигде его не увидел.

Шелест убаюкивал, я почувствовал себя очень-очень хорошо — вот так, сидя у дерева теплым солнечным вечером. Если бы не Олечка и его змей, если бы не остальные, которые вот-вот подтянутся, если бы не Дим-Димыч, который тоже будет и будет оценивать и давать советы, а кого-то и хвалить, если бы не все это, я бы сейчас лег на траву и мгновенно уснул. Я бы спал, а по мне бегал бы жук-пожарник — но я бы этого не чувствовал, так я устал. А потом, ночью, я бы проснулся оттого, что луна светит в лицо. Я бы встал, отряхнулся и пошел домой — но тропинки бы вели не туда, куда днем, и я бы двинулся напрямик, через траву, через туман, который застилает по ночам поля.

Я понял, что еще немного — и я действительно усну.

Далеко-далеко, на горизонте, белели три заусенца — трубы цементного завода. От них в небо тянулась дымка.

Я увидел, как Олечка сматывает леску, как змей возмущается и не хочет возвращаться, как наконец сдается и падает ничком в траву.

— Спасибо, — только и сказал Олечка, подходя ко мне и бережно прислоня змея к соседнему дереву.

— Не за что. Ты что, никогда змеев не пускал?

— Таких — никогда.

Я не стал уточнять — каких таких? Я спросил:

— Теперь твой?

— Погоди, — сказал Олечка, шумно дыша. — Дай отдохнуть.

Он сел слева от меня и тоже прислонился к березе.

— Ишь как стучит.

— Ага.

Я снова вспомнил про молоток.

— Слушай, — сказал я, — давай, если не поздно будет, после всего добежим до «запорожца». Вдруг молоток там.

— Давай.

Отсюда, от поля, до «запорожца» было ближе, чем до Олечкиного дома.

— Пожарник, — сказал задумчиво Олежка и снял со своего колена красного жука — он был один в один похож на моего.

Посидели молча. Шумела листва, стучал дятел, свистел в ветвях ветер. Мимо нас в сторону леса прошли рыбаки с удочками.

— А я не люблю рыбалку, — сказал Олежка.

Я пожал плечами.

— А ты? — спросил он меня.

— Не знаю.

Я чувствовал себя очень уставшим и не хотел разговаривать.

Но Олежка хотел.

— Мы с дедом ходили на рыбалку пару раз.

Я кивнул.

— Он тоже ее не любит. Просто решили вот попробовать.

— И как?

— Да никак. Просидели три часа, а поймали какую-то мелюзгу. Когда уходили — отпустили.

Я кивнул. У меня глаза слипались.

Дятел все стучал.

Олежка зевнул, я тоже.

— Спать хочется, — сказал он.

— Мне тоже.

Я потер лицо ладонями и поднялся.

— Давай запускать. А то и правда заснем.

Олежка нехотя встал и отряхнул шорты.

— Кто будет? — спросил он. — Хочешь?

— Давай.

Мы взяли анекдоты и письма читателей — и пошли в траву.

Но этот змей, разумеется, не полетел. Ни у меня, ни у Олежки его запустить не получилось. Змей трепыхался, рвался из рук, но тут же брякался в траву. Мы предприняли по десять попыток каждый, окончательно вымотались — и все безрезультатно.

В конце концов Олежка взял змея и сломал об колено, оцарапавшись при этом до крови.

— Не расстраивайся, — сказал я, когда мы вернулись в рощицу.

Олежка махнул рукой.

— Плевать.

Мы уселись на траву.

— Я серьезно, — сказал я. — Я этих змеев штук сто об колено сломал.

Олежка снова махнул рукой. А потом достал из кармана шарик и принялся подбрасывать его и ловить. Он подбрасывал его и ловил, подбрасывал и ловил — подбрасывал правой рукой, а ловил, складывая обе ладони вместе. Шарик сверкал в лучах солнца.

Наконец — я знал, что так будет — Олежка запустил шарик как-то криво, он ударился о ствол и нырнул в траву. Олежка вскочил, плюхнулся на живот и принялся ползать, причитая.

— Серьезно! — восклицал он. — Серьезно! Я сейчас еще и шарик потеряю!

Я встал и принялся ему помогать. Через несколько минут он заголосил:

— Нашел! Нашел!

Поднял шарик и показал торжествующе.

— Пора, — сказал я.

Олежка кивнул, я взял змея подмышку, мы покинули рощицу и пошли на обычное для таких мероприятий место — по ту сторону дороги, за мостиком. Рощица качала

верхушками и шумела нам вслед. Дятел продолжал стучать. Небо над березами загустело, стало темнее, месяц медленно всплывал со дна, сияя все ярче. Солнце клонилось к горизонту, но как-то неохотно, через силу.

Все поле — трава, дорога, тропинки, холмы, мы с Олежкой — все светилось оранжевым.

* * *

Нужно было пройти по дороге до мостика, а потом свернуть на очередную тропинку. Но и с нее надо было в какой-то момент спрыгнуть и двинуться через траву в сторону — с тем, чтобы вскоре оказаться на вытянутом участке вытопанной, короткой травы, спрятанном между холмами.

Тут пускали змеев — и кто-то очень находчивый окрестил это место взлетной полосой.

На мостике мы остановились и посмотрели в воду. Мостик дугой возвышался над канавой, с двух сторон из земли выглядывали края бетонной трубы — между ними слева направо бежала вода.

Вода была пенистая, зелено-желтая. Вокруг канавы трава была гуще и выше — и в ней прятались лягушки.

— Говорят, что от лягушек бывают бородавки, — сказал Олежка зачем-то. — Но это неправда.

У меня была бородавка — на мизинце правой руки. К ней надо было прикладывать разрезанную пополам ягоду рябины — и тогда она бы сошла. Но мне было лень.

Я посмотрел на улыбку брянского скульптора, потом на темно-фиолетовый ноготь.

— Слушай, — сказал я Олежке. — Хочешь — забирай моего змея.

Олежка посмотрел недоуменно.

— А ты?

Я скривился.

— У меня не получалось. Теперь получилось. Все.

На самом деле я просто дико устал — и как только я представлял, что мне сейчас придется перед всеми скакать, что-то доказывая, меня начинало подташнивать.

Олежка отвернулся.

— Нет, — сказал он, — так нельзя.

Я посмотрел на него с досадой.

Мы оставили мостик позади, попетляли в траве, и очень скоро нам открылась стиснутая холмами взлетная полоса.

Там уже сидели несколько наших — на траве, — и каждый ковырял змея. Всего — человек пять.

Подошли, поздоровались.

— А ты чего без змея? — спросили Олежку.

Он замялся.

— Я просто — посмотреть.

Наши зафыркали.

— Дим-Димыча не будет? — спросил я.

— Будет.

Мы сели на краю полосы. Олежка стал перевязывать шнурки.

— Точно не хочешь взять? — спросил я.

Олежка подбросил шарик и поймал.

— Да теперь-то уже никак.

Он был прав.

Над головами раздался крики — по небу замелькали птицы. Точно на небо вдруг высыпали горсть семечек. Солнце село на плоское вытянутое облако, как на лавку, и приготовилось смотреть.

Наши смеялись и хвастались друг перед другом змеями.

Наконец послышались глухие голоса — и из-за холма показались еще наши, во главе с Дим-Димычем. Дим-Димыч шел, выпятив грудь, и размахивал руками.

Дим-Димыч был здоровенным усатым мужиком — бывшим военным. Он жил на соседней улице и вечерами собирал вокруг себя мальчишек — рассказывал истории, учил мастерить скворечники, кораблики из коры и змеев и много чего еще придумывал интересного. Он был классный мужик, но слишком уж резкий.

Например, в прошлый раз, когда очередной мой змей волочился в пыли, он мне сказал при всех:

— Ты, — сказал, — парень головастый. Но руки у тебя...

Ну, и продолжил — не поскупился на краски.

Это было обидно.

Олежке тот же комплимент прилетел еще раньше, чем мне. С тех пор мое отношение к Дим-Димычу изменилось — а раньше я им восхищался, да.

— Здорово, бойцы! — пробасил он.

Мы поздоровались. Теперь все были в сборе.

Дим-Димыч посмотрел на солнце. Нижним краем оно входило в облако, как нож в масло. До горизонта было рукой подать.

— Ну что, — скомандовал он, — давайте начинать. Что-то мы сегодня припозднились.

Все засуетились, принялись снова взад-вперед, разматывать леску, щупать фанеру. Дим-Димыч, прихрамывая, обошел взлетную полосу и встал, скрестив руки на груди.

А мы с Олежкой все сидели. На меня навалилось такое равнодушие, что я даже сам удивился. Я невероятно устал за этот день и хотел, если честно, вернуться в березовую рожицу, сесть, прислонив спину, и просто сидеть — пока не засну.

Солнце погрузилось в облако наполовину, холмы заливало красным. Ветер казался теплым.

Я взял змея в руки и стал смотреть в лицо брянского скульптора. У нее на одной щеке была ямочка, а на другой не было.

— Слушай, — сказал я Олежке, — а разве такое бывает, чтоб ямочка была только на одной щеке?

Олежка не ответил. Он снял ботинки, вытянул босые ноги и шевелил пальцами — и пристально за этим наблюдал.

— Эй.

И я пихнул его в бок.

Он дернулся.

— Что?

— Я говорю, разве бывает такое, чтоб ямочка — только на одной щеке?

И повернул к нему змея.

Он прищурился.

— Да, бывает.

— Ты такое когда-нибудь видел?

Он пожал плечами.

— Может, видел.

— Может?

— Не задумывался.

А над нами тем временем уже плавали робко первые змеи — сперва их было два, потом подоспел третий, но через минуту дернулся и полетел вниз, его тут же сменил сле-

дующий. Змеи казались растерянными — не знали, чего от них хотят, и все норовили уйти куда-то в сторону. Их жгли красные солнечные лучи — солнце уже только макушкой выглядывало из облака.

Если какой-то из змеев падал или вовсе не взлетал, хозяин подхватывал его и бежал к Дим-Димычу. Дим-Димыч вертел змея в руках и принимался объяснять, где что сделано неправильно и можно ли это исправить.

Если же некому было указывать на ошибки, он давал советы тем, у кого все получалось — кричал, как лучше ловить ветер, на какую сторону переходить и прочее.

Наши метались по полосе, как сумасшедшие: сталкивались, ругались. Но вообще места хватало всем — в крайнем случае можно было влезть на холм.

Некоторые так и делали.

А мы вот с Олежкой все сидели. Дим-Димыч это увидел и направился к нам.

— Ну, — пробасил он, — а вы чего?

— Ничего, — ответил я и удивился своему нахальству.

Он нам загораживал обзор — и у него на ремне блестела здоровенная бляха со звездой.

Солнце исчезло в облаке, и облако переливалось огненными всполохами. Казалось, что оно горит внутри и вот-вот треснет с хрустом — и из него на горизонт посыплется труха.

Я встал, Олежка тоже.

— Вот, — и я показал Дим-Димычу портрет брянского скульптора.

— Красивая женщина, — одобрительно покачал головой Дим-Димыч.

Потом он усмехнулся.

— Пускать будешь? Или полюбоваться принес?

— Буду.

Дим-Димыч сделал шаг в сторону и перестал загораживать обзор. Мы с Олежкой пошли вперед.

Запускать надо было на краю полосы — а потом, когда змей уже был в воздухе, можно было перемещаться в центр. Я размотал леску, вручил Олежке змея — и мы начали.

Змей точно заждался — так быстро он еще никогда не взлетал, я испугался, что леска выскользнет из ладони. А ведь дергать нельзя.

Когда портрет красивой женщины поднялся достаточно высоко, я перебрался в центр полосы. Тут было главное — не спутать леску.

Я наступил кому-то на ногу.

— Эй! — раздалось у меня над ухом. — Смотри, куда прешь!

Я смотрел вверх. Наверху, по холодному стеклянному небу метались прямоугольники змеев. Солнце прожгло облако насквозь и выглянуло из-под него, как из-под шляпы.

По полю прокатилась волна теплого плотного ветра. Заквакала лягушка.

Мой змей был, конечно, самым лучшим. Но никакой радости я от этого не испытывал, я был как в коконе — равнодушие, равнодушие, равнодушие. Где-то далеко, на краю сознания, стрекотала кузнечиком мысль: «Я смог, у меня получилось, вот вам всем, вот тебе, Дим-Димыч, усы и бляха». Но эта мысль была как будто не моя, моего у меня сейчас было одно только равнодушие. Мне казалось, что уши у меня заложены ватой, а тело — легкое и прозрачное, подпрыгну, и змей унесет меня в небо. Пахло травами — так, что голова шла кругом.

Мысль пострекотала-пострекотала и растворилась — точно ее и не было.

Я размотал леску — всю, что была. И снова наступил кому-то на ногу. А этот кто-то — мне.

Справа два прямоугольника столкнулись, задергались и понеслись вниз. Я услышал, как ругаются между собой их хозяева.

— Все! — кричал один. — Сломал! Сломал!

— Сам виноват! — кричал второй.

Леску было приятно держать пальцами — она казалась теплой. Змей нырял то в одну сторону, то в другую, и леска перекатывалась по кончикам пальцев. Я развернулся, отбежал немного и увидел первую звезду — яркую, похожую на песчинку. Она лежала на светлом еще небе — над солнцем.

Ветер бился о холмы и кружил по взлетной полосе, подыгрывая нам.

Я стал осторожно перемещаться и подтягивать леску — я хотел так выставить змея, чтобы он парил напротив звезды.

Змей поплыл вбок, чуть не упал, потом понял меня и стал ровнехонько напротив — и закрыл звезду от меня. Мне казалось, что я дышу не грудью, а шеей, что голова наполняется воздухом и тянет тело вверх.

Кто-то ткнулся мне в спину.

— Извини!

Я не ответил. В ушах загудело — я раскрыл рот и громко зевнул.

— Ишь, запел.

Я моргнул, свободной рукой потер глаза. И стал двигаться к краю, сматывая понемногу леску. Змей противился, ему нравилось в небе. Я дернул еле-еле — и змей с фырканьем упал в траву.

Тут же подскочил Олежка.

— Круто! — заорал он мне на ухо. — Супер!

Я поморщился. Мы вернулись на наше прежнее место.

— И все? — спросил Олежка. — Больше не будешь?

— Нет.

— Почему?

Я пожал плечами.

— Может, ты? — спросил я.

— Нет и нет.

Подошел Дим-Димыч.

— Ну! — гаркнул он и опустил мне на плечо пудовую ладонь-ручищу. — Молодчина!

Я выдавил из себя улыбку.

— Наконец-то!

— Ага.

Дим-Димыч был так рад, точно это у него впервые получилось смастерить что-то пристойное. Он сжал мое плечо — до боли.

Подбрели и стали рядом несколько наших — кто не был занят.

— А все почему? — расхохотался Дим-Димыч, оборачиваясь к подошедшим.

Он взял у меня из рук змея.

— Потому что осознанно подошел к подбору материала! Смотрите, какая бельфам!

Я понятия не имел, что такое бельфам. Но выдавил из себя еще одну улыбку. Наши за животы держались от хохота — как будто они знали, что такое бельфам.

Я посмотрел на Олежку. Он глупо улыбался.

— Мы пойдем... — сказал я, когда хохот утих.

Дим-Димыч вернул мне змея.

— Может, со всеми? — спросил он. — Сейчас темнеть начнет.

Солнце почти касалось горизонта.

— Да нам еще это... надо... — промямлил я.

Олежка смотрел на меня удивленно — он, видно, не хотел уходить. Но спорить не стал.

— Как знаете, — махнул рукой Дим-Димыч. — Только идите прямо сейчас. Чтоб до темноты успеть.

Я кивнул. Мы помахали нашим, те помахали в ответ, и мы двинулись к мостику. Дим-Димыч остался стоять на краю полосы.

Мы взобрались на холм, и уже видно было мостик, но тут я вдруг остановился.

— Погоди, — сказал я Олежке. — Я сейчас.

Я развернулся и побежал обратно, к Дим-Димычу.

Тот посмотрел на меня строго.

— Остаться решил? Рохлю, — он кивнул на холм, — одного не отпущу. Потеряется. Олежка сидел на вершине холма и перевязывал шнурки. Поднял голову и посмотрел на нас.

— Нет, — сказал я, — я ухожу. Я спросить хотел.

— Ну?

Я замялся.

— Вот вы... вы говорили, что у старика, у Терминатора, детства не было.

Дим-Димыч зашевелил усами — он всегда так делал, когда задумывался.

— Ну.

— А это как? Чтоб детства не было. Так же не бывает.

Дим-Димыч цыкнул и скривился.

— Да это ж я образно. Метафорически!

На полосе раздались крики, началась суета. Двое наших сцепились и мутузили друг друга, катаясь по траве, а остальные толпились вокруг и выкрикивали советы. Дим-Димыч заспешил к дерущимся.

Я постоял немного, обернулся на Олежку. Олежка торчал на холме, как солдатик. Я помахал нашим — хотя на меня никто не смотрел — и зашагал вверх.

* * *

На краю поля, у самых деревьев, мы обернулись. Солнце наполовину провалилось за горизонт и отчаянно тянуло лучи во все стороны — будто не хотело покидать этот день. По холмам перекатывались красные волны — ветер расчесывал высокую траву. У рожиц волны пенились и рассыпались. Месяц висел низко, казалось, что ветер сейчас сорвет его и унесет. Облака растаяли, небо отодвинулось от земли, выгнулось дугой. Слева, за одним из холмов, колыхались, точно странные цветки на длинных тонких стеблях, несколько змеев — наши будут пускать их, пока не стемнеет.

Мы с Олежкой засмотрелись на змеев.

— За молотком? — спросил он наконец.

— За молотком.

— К «запорожцу»?

— Да.

Мы отвернулись от поля и шагнули под темный свод скрюченных деревьев. Дорога потянулась наверх, было уже не до разговоров. Один раз я споткнулся и чуть не повалился. Тянуло сыростью, противно пахло, в траве надрывались лягушки, журчала канава.

На улице, за деревьями, все казалось каким-то несуразным: крыши, окна, палисадники с калитками, тархтящие автомобили. Мы шли, точно оглушенные. Отовсюду — шум, гудение, разговоры.

— Вот бы поставить в поле шалаш, — сказал Олежка, — и жить в нем.

Я кивнул.

Здесь было темнее, над домами колыхались вуалью сумерки. Каждое второе окно горело.

— Смотри, — сказал я.

На крыше одного из домов, на самом верху, на тонкой металлической спице темнел флюгер. Флюгер был очень красивый — в виде парусника с острым носом. Он был совсем плоский и дрожал на ветру, искал курс. На фоне бледного вечернего неба он казался вырезанным из черного картона, и мне почему-то при взгляде на него стало грустно.

— Класс, — сказал Олежка.

Когда мы добрались до «запорожца», солнце уже совсем скрылось, но небо с той стороны еще теплилось. Во дворе было полно народу, дети играли на площадке, все скамейки были заняты, и гроздь сирени белела, покачиваясь.

Молоток лежал на сиденье, сиденье было сырым от прошедшего дождя, и молоток тоже был сырым.

Я посмотрел вокруг. Все таяло — скелет «запорожца», сирень, качели. Таяли скамейки, таяли двери подъездов, таяли незажженные окна. Крыша дома сливалась с небом, на котором проступали каплями звезды. Фонари еще не горели, и все казалось призрачным, загадочным. За «запорожцем» бетонный забор врал в школьную стену, и сама школа уплывала куда-то вверх.

Я вспомнил про музыкальный класс.

— Олег!

Он подскочил.

— Что?

— За мной!

Я запрыгнул «запорожцу» на капот, потом на крышу — и полез на стену.

Олежка замялся.

— Мне домой надо...

— Подождет!

— Да время-то...

Я посмотрел на него сверху.

— Там окно открыто.

Даже в сумерках я увидел, как у него округлились глаза.

— Где?

— В музыкальном!

— Врешь!

— Еще днем видел, когда за змеем лез.

Олежка посмотрел недоверчиво.

— А почему не сказал?

— Забыл.

Он продолжал смотреть недоверчиво.

— Как хочешь, — сказал я и сделал вид, что начинаю ползти.

А ползти было неудобно — со змеем под мышкой и с молотком в руке.

— Стой! — воскликнул Олежка как-то тоненько. — Я с тобой!

Он полез на «запорожец». На скамейках снова заворковали негодующе. Я помог Олежке взобраться, и мы поползли.

В сумерках школа казалась просто гигантской — черные окна расплзались и ширились, точно дыры. Над крышей клубилось, тускнея, небо.

В соседнем дворе — том, что с собакой — стояла тишина. Собака, судя по всему, была в конуре — у входа белела миска. Дом уже спал. На балкончик второго этажа вышел мужчина — и мы видели его силуэт на фоне сияющего проема. Он оперся о перила и смотрел перед собой. Заметил ли он нас — не знаю.

Вот крылечко с замком. Вот класс биологии. Вот — учительская. Психолог. А за ним...

Я возликовал — окно было по-прежнему открыто. Я кликнул Олежку, он вытянул шею, прищурился — и радостно засопел.

— Давай слезать, — шепнул я. — Только тихо. Заметят — решат, что мы тут воруем.

Я оставил змея на заборе, прижав его молотком, свесил обе ноги — и замялся. Внизу пузырилась проволокой и травой темнота, был велик риск угодить в крапиву или куда похуже.

— Что там? — зашептал Олежка.

— Ничего. Тише ты!

Я лег на забор животом и стал медленно сползать вниз. Забор больно проехался по груди, я вытянул шею, повис и стал понемногу распрямлять руки. Вот носок коснулся какого-то выступа, а вот уперся в доску. Я ткнул ее ногой — крепкая — и съехал вниз, взмахнув руками, чтобы не упасть — доска была крепкой, но стояла неустойчиво.

— Подай змея.

Олежка протянул мне змея и молоток. В сумерках лицо брянского архитектора казалось усталым — и улыбалась она уже через силу, потому что надо.

— Давай, — поторопил я Олежку.

Под ногами была какая-то зыбь — трава щекотала колени, но крапивы, кажется, не было. Я сделал шаг — и оказался у окна.

В окне было черным-черно.

Я приоткрыл створку, сунул змея и молоток на подоконник и ухватился за край. Сзади зашуршало, Олежка зашипел, подскочил ко мне.

— У-у-у, — шипел он, — в крапиву влез.

— Где ты ее нашел?

— Да где-где! — И он снова стал шипеть. — Все ноги горят!

— Тише! Нас из-за твоих ног поймают!

Олежка перестал шипеть.

— Полезли.

Я крепче ухватился за подоконник, уперся ногой в стену и подтянулся. Змей и молоток соскользнули на пол. Раздался грохот.

Несколько секунд мы не шевелились, потом я плюхнулся животом на подоконник, с горем пополам, согнувшись, вполз в класс, умудрившись не упасть.

Пахло школой.

— Дай руку, — проскрипел Олежка.

Я дал ему руку, он ввалился внутрь, едва не раздавив змея, выпрямился и стал осматривать ноги, обожженные крапивой. Но темень была страшная — и ничего разглядеть было нельзя.

— Сплошные волдыри, наверное, — проскулил он. — Я чувствую.

Он согнулся и стал ощупывать колени.

Я прошел в глубь класса. На партах стояли стулья — вверх ногами. Я нашел свое место, снял стул и сел, положив руки на столешницу.

Олежка оставил в покое свои ноги, подкрался к двери и посмотрел в замочную скважину.

— Темно, — сообщил он удивленно.

Он потянул ручку на себя.

— Закрыто.

Я смотрел по сторонам. Портреты в белых париках выглядели до того жутко, что шея холодела, все время казалось, что они вот-вот зашевелиются, или начнут вертеть

глазами, или еще что. Кабинет тонул во тьме, теряя очертания, вытягиваясь и сужаясь. А вот окно, напротив, казалось теперь совсем светлым: серая стена, над ней черная треугольная крыша, а над крышей — бледно-сиреневое небо, совсем еще вечернее; и звезд — кот наплакал: три, четыре, ну, пять от силы.

Даже странно было — казалось ведь, что уже совсем стемнело.

За окном вздыхал ветер, еле слышно шелестела невидимая листва.

— Ну и темень, — протянул Олежка.

Он подошел, снял соседний стул и уселся рядом со мной.

— А сегодня не полная луна? — спросил он.

И сам ответил:

— Да нет же.

Мне показалось, что я слышу в коридоре шаги. Я встрепенулся.

— Что? — прошептал Олежка.

Шаги стихли.

— Шаги слышал? — спросил я.

— Нет.

— В коридоре.

Олежка пожал плечами.

— Сторож, наверное.

Я кивнул.

— Наверное.

— Хорошо, что сегодня не полнолуние, — сказал Олежка тихо.

— Хорошо.

— Если бы было полнолуние, было бы совсем жутко.

— Точно.

Меня подмывало посмотреть на портреты, я косился на них краем глаза и чувствовал, как холодеют руки.

— Дед рассказывал... — начал Олежка и осекся.

Из-за окна донесся шорох. У меня волосы на затылке зашевелились, я посмотрел на Олежку — он был белый как мел.

Шорох приближался — кто-то медленно шел по проходу. Скрипнула проволока.

Я стал сползать под парту.

— Прячься, дурак, — зарычал я на Олежку.

Он, точно змея, скользнул вниз, и мы оказались под партой. Олежка сопел так громко, что слышно было, наверное, на той стороне земли.

— Не сопи, — сказал я, и он притих.

Снова скрипнула проволока, шорох приближался, приближался, становился громче — и вдруг исчез. Повисла тишина.

Я посмотрел на Олежку, у него глаза были как блюдца.

Я оперся о стул локтем и медленно выглянул из-за парты. Тут же класс закачался перед глазами, меня даже затоснило от испуга.

За окном на фоне серой стены темнело что-то непонятное. Какой-то ровный полукруг. На подоконнике лежали длинные тощие пальцы.

Я вернулся под парту.

— Это Терминатор!

Олежка, видать, не сразу понял, о каком Терминаторе речь. Потом он сам выглянул — и тут же втянул голову в плечи.

И опять засопел.

— Не сопи! — ткнул я его. — Тут темно, он нас не увидит.

Я снова выглянул. Терминатор стоял, задрал нос, и вглядывался в темноту. Его круглая лысина слегка блестела. Олежа высунулся и остался смотреть.

Терминатор медленно водил носом из стороны в сторону, точно принюхиваясь.

Я посмотрел на Олежку — как бы его белые щеки нас не выдали.

Наконец Терминатор убрал с подоконника пальцы и перестал задирать нос. Теперь снова было видно только лысину-полукруг. Она еще немного помаячила за окном и поплыла в сторону. Зашуршала трава — и шуршала все тише и тише, пока не смолкла.

Олежа опять засопел.

— Вот это да, — только и мог сказать он. — Вот это да.

Я выпрямился и подошел к окну, но выглянуть не решился.

— Наверное, он шатался по двору и заметил нас.

Олежа не ответил. Он стоял, прислушиваясь. Потом посмотрел на меня.

— У тебя лицо как мел, — сказал он.

Я фыркнул.

— Да что ж тут такого, — проговорил Олежа задумчиво. — Я вообще чуть в обморок не упал.

Я снова фыркнул. Потом нагнулся за змеем.

Улыбка брянского скульптора оказала ободряющее действие. Мне пришла на ум гениальная мысль.

— Слушай. А давай мы его, — я показал на змея, — на стену повесим — вместо какого-нибудь портрета.

Олежа даже икнул от неожиданности — и заулыбался.

— Давай.

Напряжение спало.

Я представил, как первого сентября в кабинет заходят школьники, рассаживаются, смотрят по сторонам, а одного из портретов — тью-тью. И вместо него — брянский скульптор улыбается.

— Надо только так, чтоб не сразу заметили.

Я стал прикидывать, в каком углу риска меньше всего, и даже выбрал кандидатуру для подмены — один из париков справа от доски, рядом с входной дверью. Но потом я посмотрел на брошку в форме буквы «А» — и мне стало совестно.

— Не, — сказал я. — Не будем.

Олежа, заметно оживившийся, поник.

— Как хочешь.

— Жалко, — сказал я. — Лучше мы в другой раз придем. И что-нибудь другое повесим.

Олежа вздохнул.

— Закрыто будет.

— Знаешь что? — огрызнулся я. — Чужими вещами ты горазд распоряжаться. Своего тащи.

— Я своего на поле сломал.

— Ну и не выступай.

Олежа улыбнулся.

— Да ладно, чего уж тут.

И так он это по-дурацки сказал, у меня аж в носу защекоotalo.

— Но что-то надо сделать, — пробормотал он, оглядываясь.

Тут он был прав. Но в голову ничего не лезло.

Олежа захихикал.

— Придумал!

— Выкладывай.

— Давай, давай... — он задыхался от восторга, — давай все стулья с парт снимем! И поставим, как обычно!

Вряд ли можно было предложить что-то глупее этого. Я посмотрел в окно — над крышей сверкала целая россыпь звезд, и небо уже не было сиреневым — и сливалось с оконной рамой. Надо было идти домой.

— Олег, — сказал я, — это глупо.

Но других вариантов не было. И мы, как дураки, пыхтя и гроыхая, переворачивали один стул за другим и придвигали к парте.

Олежка был счастлив. А я прищемил себе большой палец и чуть не заплакал.

Наконец класс выглядел так, словно он опустел только что — и школьники сейчас бегут по коридору к раздевалке. Мне снова показалось, что я слышу шаги.

— Вот, — кивнул я Олежке. — Слышишь?

Он прислушался.

За окном просвистел ветер.

— Нет.

— Ну вот же.

— Не слышу, — он наклонил голову. — Хотя... Да, может быть. Да, кажется, слышу. Залаяла вдалеке собака — наверное, та самая, черная как уголь. Олежка сел на парту у самого окна и достал шарик.

— Смотри!

Я подошел.

— Светится!

Я пригляделся. Олежка держал шарик на ладони, шарик слегка блестел.

— Это от окна.

Олежка слез с парты и отбежал в угол. Там он отвернулся и поднес шарик к глазам.

— И так светится!

Я подошел. Олежка сунул шарик мне под самый нос.

— Куда смотреть-то? Ничего тут нет.

— В самую глубь!

Я прищурился. У меня даже глаза заслезились от напряжения, и мне стало казаться, что в глубине и правда что-то мерцает. Как будто искорка.

— Светится?

Я потер глаза — перед ними поплыли белые круги.

— Не знаю.

— Точно светится!

Мимо окна что-то промелькнуло.

— Летучая мышь!

Я пожал плечами. Летучей мышью никого не удивишь.

— Домой пора.

— Пора, — согласился Олежка.

Мы еще раз прошлись по классу, поправили несколько стульев.

Первым выбрался наружу я. Олежка подал змея, молоток и полез следом.

— Осторожней, — сказал он, — тут крапива.

— Нет тут никакой крапивы!

— Ага, нет, как же!

Мы вскарабкались на забор. Сладко пахло листвой, ветер перетекал туда-сюда, школа возвышалась над нами — спала. Промчалась мимо летучая мышь, за ней еще одна. Небо было звездным, ясным и оттого казалось близким. Над школой сиял месяц.

На западе от горизонта по небу тянулись широкие зеленые полосы, похожие на ленты.

— Это глупость, что летучие мыши на белое летят, — сказал Олежка. — Они вообще слепые.

— Нет, — сказал я. — Белый они различают и на него летят. Я сто раз видел. Олежка задумался.

* * *

Когда прощались на одном из перекрестков, Олежка сказал:

— Про фокус — никому, ладно?

Я даже обиделся.

— Я же пообещал.

— Да, извини.

Олежка вздохнул.

— Просто я его еще никому не успел показать, кроме тебя, — и сразу провал.

Я развел руками.

Кричали сверчки, в домах горели окна, и можно было различить горшки с цветами на подоконниках.

— Завтра будешь? — спросил Олежка и показал на змея.

— Завтра — нет.

— Почему?

— Предки на шашлыки везут. На целый день.

И у меня живот заурчал.

— Шашлыки — это здорово, — одобрил Олежка. — А послезавтра?

— Не знаю. Может быть.

Я посмотрел на брянского скульптора.

«Ай да мы!»

— Ну, — замялся Олежка, — если будешь... Зови.

— Ага.

Постояли немного.

— Слушай, — сказал я, — если хочешь, бери на завтра.

И я протянул ему змея.

— Нет, нет, — замахал руками Олежка, — все равно одному не получится.

— Как хочешь.

Мы попрощались, посмеялись нашей авантюре с окном и разошлись.

У самого дома я положил змея на землю и влез на гараж, а с него — на клен. Ныл палец. Я забрался почти на самый верх и посмотрел туда, где по небу плыли зеленые ленты. Теперь никаких лент не было, мерцали звезды, над горизонтом белыми комьями катились облака.

Устало качалась листва.

Я увидел, как по соседскому двору крадется серый соседский кот. Он то и дело замирал, припадал брюхом к земле и прислушивался. Поравнявшись с окном, он сел, вильнул хвостом, готовясь к прыжку, взвился вверх, проскрипел по стене когтями и юркнул в открытую форточку.

Я громко — на всю улицу — зевнул.

Александр ВИННИЧУК

ОСНОВНОЙ ВОПРОС МЕТАФИЗИКИ И «ОГРАНИЧИТЕЛИ РЕАЛЬНОСТИ»:

Как математический принцип
регулярности может объяснить
ту геометрическую форму,
в которую воплотилась Вселенная

Почему существует Нечто, а не Ничто? Если мы откажемся от гипотезы божественного сотворения мира, то какие варианты ответа на загадку его существования остаются? Некоторые ученые, когда слышат этот вопрос, обычно пожимают плечами и говорят, что Вселенная попросту существует. Возможно, она существует, потому что существовала всегда. А может быть, она появилась без всякой на то причины, в любом случае она в самом деле существует, и этот факт нельзя опровергнуть.

Мы разбираем вопрос, который считаем самым важным из всех: так почему же существует Нечто, а не Ничто? Начнем с того, что рассмотрим все возможные устройства реальности. Одним из вариантов, разумеется, является наш собственный мир — Вселенная, которая появилась 15 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. Однако реальность может включать в себя и другие миры, существующие параллельно нашему, даже если мы не имеем к ним прямого доступа. Эти миры могут отличаться от нашего в каких-то важных чертах: в своей истории, в управляющих ими законах (или в их отсутствии), в природе вещества, которое их составляет. Каждый из этих отдельных миров назовем «локальной» возможностью, а все множество отдельных миров, которые могут сосуществовать, складывается в «космическую» возможность.

Так какие же виды космических возможностей у нас есть?

Александр Винничук родился в 1990 году. В 2014–2016 годах журналист радио «Дон-ТР» ВГТРК. Журналист радио «Вохе». Магистрант факультета филологии и журналистики ЮФУ (2012). Выпускник аспирантуры Института философии и социально-политических наук ЮФУ, специальность — «Философия, этика и религиоведение» (2017). Лауреат научной премии Гуськова (2015). Автор просветительского проекта «Look эпохи: образ жизни, технологии, философия» в Донской государственной публичной библиотеке. Автор журналов «Сноб», «Нева», «Наш современник», «Знание — сила», «Журнал поэтов», «Контрабанда», «Невский альманах», «День и ночь», «Релга», публиковался в «Независимой газете» и «Литературной газете» и др.

Полный набор подобных космических воплощений представляет собой **все возможные реальности**, какие только могут быть, включая даже чистое Ничто в виде «пустой, или нулевой», возможности. Этому соответствует современная гипотеза Мультиверса, которую среди прочих разрабатывают американские физики русского происхождения Алекс Виленкин и Андрей Линде.

С другой стороны, логически невозможные воплощения реальности не считаются: ни один космический вариант не включает круглые треугольники или зрячих кротов. И из всех возможных вариантов осуществиться должен только один. Американский философ Роберт Нозик обозначил это «принципом плодовитости» и назвал эту самую полную из всех реальностей возможностью «всех миров».

На другом конце стоит космическая возможность полного отсутствия всех миров, которую обозначим **«пустой» возможностью, или Ничто**. Между «всеми мирами» и «нулевым миром Ничто» раскинулся бесконечный диапазон **промежуточных космических возможностей**, одной из которых является возможность существования только хороших миров — то есть все миры в целом этически лучше, чем Ничто. Это, например, «аксиархическая» возможность Джона Лесли. Другой вариант — это существование нашего мира и еще 25 (число произвольно) других миров, сходных с ним, но слегка от него отличающихся; его можно назвать возможностью «26 миров». Еще один вариант — это существование только таких миров, которые подчиняются определенному набору физических законов, например законов теории струн. В соответствии с современной теорией струн таких миров примерно 10 в пятисотой степени, и они составляют то, что физики называют «ландшафтом Мультивселенной». Еще одна космическая возможность — это существование только таких миров, в которых нет сознания, ее можно назвать «вариант зомби Чалмерса». Другой вариант — существование ровно семи миров (людям издревле импонирует эта цифра), каждый из которых имеет определенный цвет: синий, голубой, красный, зеленый, оранжевый, желтый и фиолетовый; его можно назвать «цветным вариантом».

Возникают два вопроса: какой именно вариант мира воплотился и почему?

Из всех возможных космических воплощений наименее загадочным кажется «нулевой» — в нем вообще ничего нет. Как указывал Лейбниц, это самая простая из возможных реальностей. И к тому же единственная, не требующая причинного объяснения. Однако «нулевая» возможность, очевидно, не та форма, которую выбрала реальность.

Тем или иным способом Вселенная сумела возникнуть, и это очевидно. Какая космическая возможность наименее загадочна и одновременно не противоречит факту существования Вселенной? Это возможность «всех миров»: существуют все возможные вселенные.

Любая другая космическая возможность вызывает дальнейшие вопросы. Если наш мир единственный, то мы можем спросить: почему из всех возможных миров существует именно этот? В любом варианте гипотезы многих миров мы сталкиваемся с подобным же вопросом: почему существуют только эти миры, с этими элементами и законами? *Однако если существуют все возможные миры разом*, то такого вопроса не возникает.

Таким образом, возможность «всех миров» является наименее произвольной из всех космических возможностей, но ни одна локальная возможность не исключается. И насколько нам известно, такая наиболее полная из всех возможностей вполне может быть той формой, которую на самом деле принимает реальность.

А как насчет прочих космических возможностей? Если бы законы, управляющие нашим миром (в форме окончательной теории, о которой мечтал Стивен Хокинг), оказались исключительно элегантными, то наш мир мог бы быть частью самой красивой

космической возможности. Или если правы Шопенгауэр и Давид Юм, то наш мир вполне может быть частью наихудшей космической возможности.

Суть в том, что каждая из этих космических возможностей обладает какой-то особенностью: самая простая — «нулевая» возможность, самая полная — «все миры», самая лучшая этически — аксиархическая и так далее. Теперь предположим, что реально воплотившаяся возможность тоже обладает какой-то характерной чертой. Возможно, это не случайно. Может быть, эта возможность воплотилась, потому что она обладает этой чертой. В таком случае эта характерная черта фактически выбирает, какой вид принимает реальность. Назовем эту черту «ограничителем».

Не каждая особенность реальности может стать эффективным ограничителем. Например, допустим, что воплотилась упомянутая выше возможность 26 миров. Число 26 обладает особым свойством: это первое число, следующее за наименьшим составным числом, не представимом в виде разности двух простых. Однако никому не придет в голову, что такое свойство способно объяснить, почему реальность оказалась именно такой. Гораздо разумнее предположить, что число миров случайно оказалось равно 26.

Другое дело — такие качества, как самый лучший, самый полный, самый простой, самый красивый или наименее произвольный: трудно себе представить, что они оказались случайными. Более вероятно, что космическая возможность стала реальностью, потому что обладала таким свойством.

Давайте немного отвлечемся и сыграем в воображаемую онтологическую лотерею. В число участников входят все различные варианты реальности — все космические возможности. А поскольку реальность должна принять некую определенную форму, то одна из этих космических возможностей должна выиграть в силу логической необходимости. Никакой другой альтернативы нет, а потому нет и надобности в любом потайном механизме, обеспечивающем выбор. Таким образом, «ограничитель», воздействуя на результат, не прилагает никакой реальной силы и не совершает никакой работы.

Но что если нет никакого ограничителя? Подобные рассуждения приводят нас к предварительному выводу о том, что могут быть, по крайней мере, два «частичных ограничителя» для реальности: управляемость законами и наличие простых законов. Возможны ли какие-то другие ограничители, которых мы пока не заметили?

Идея «ничто» сама по себе является логически непротиворечивой идеей: по его мнению, это один из возможных способов воплощения реальности. Вполне может быть, что ничего никогда не существовало. Только это не тот вариант реальности, с которым мы актуально имеем дело. Таким образом, «ничто» входит в набор космических возможностей в виде «нулевого» варианта.

Но является ли ничто локальной возможностью? Может ли оно быть одним из многих миров? Единственная реальность, в которой может быть Ничто, это реальность, вообще не имеющая миров, — «нулевая» возможность. Можно иметь два различных Нечто, но нельзя иметь и Нечто, и Ничто: тут исключительно или одно, или другое.

Может ли гипотеза об «ограничителях» объяснить, почему реальность выглядит именно так, как она выглядит? Будет ли вопрос на этом исчерпан? Остановится ли космическое объяснение на уровне «ограничителя»? Или может быть и более глубокое объяснение того, почему из всех возможных ограничителей одержал верх именно этот?

Таким образом, прежде всего нужен ограничитель, чтобы объяснить, почему реальность именно такая. Затем нужен метаограничитель на следующем уровне объяснений, чтобы понять, почему на предыдущем уровне был выбран именно такой ограничитель, воплотивший мир, как он есть. А потом понадобится метаметаограничитель на еще более высоком уровне объяснений для понимания причины выбора метаограничителя. И так далее. Дурная бесконечность, которую боялись еще греки. Есть ли

конец у этого замкнутого круга? И если да, то как его достичь? С помощью некоего наивысшего ограничителя?

Выходит, что поиски объяснений реальности, скорее всего, в конце концов приведут к такому фундаментальному голому факту, который ничем нельзя объяснить (подобно факту существования мира в целом). Как этого избежать? Можно попытаться заявить, что ограничитель сам себя выбирает. Например, если добро окажется наивысшим ограничителем, то можно утверждать, что это потому, что оно лучшее. То есть добро или красота выбрали себя в качестве правителя реальности. Но так ли очевидно, что ограничитель может выбрать себя управляющим принципом на высшем уровне?

Неужели объяснение, упирающееся в голый факт, лучше, чем вообще никакого объяснения: ведь научные объяснения неизбежно принимают именно такую форму? Подобное объяснение по-прежнему может помочь нам выяснить, что на самом деле представляет собой реальность в самом широком масштабе — например, оно может дать нам основания считать, что реальность содержит какие-то другие миры помимо нашего собственного.

Например, ограничитель простоты выбирает нулевую возможность из всех космических возможностей. Таким образом, если бы в мире вообще ничего не было, то это можно было бы объяснить тем, что Ничто есть простейший способ воплощения реальности. Подобным же образом ограничитель добра выбрал бы аксиархическую возможность по Джону Лесли — Вселенную, состоящую только из добрых миров. И если бы реальность оказалась такой, то это можно было бы объяснить тем, что это лучший способ реализации реальности. Однако если бы реальность в самом деле оказалась такой, могло бы это объяснить, почему работает именно ограничитель добра? Только если ограничитель добра сам был выбран добром на метауровне. И здесь мы сталкиваемся с проблемой: ограничитель не может выбрать сам себя. Он не может решить, будет ли он управлять, пока не стал управляющим. Другими словами, никакое объяснение реальности не способно объяснить само себя.

Сделаем заманчивое предположение: если простейшей космической возможностью является существование Ничто, простейшим возможным объяснением является отсутствие ограничителя. На уровне объяснений возможность «нет ограничителя» подобна нулевой возможности на уровне реальности: каждую из них можно объяснить простотой. Тогда если простота управляет на уровне метаобъяснений, то она не выберет себя как ограничителя на уровне объяснений, а просто установит полное отсутствие ограничителя. А как бы выглядела реальность, если бы не было ограничителя? Почти наверняка она не приняла бы особую форму Ничто, форму с самой маленькой энтропией и самую пустую из всех космических возможностей. Отсутствие ограничителя не означает полное отсутствие Вселенной.

Из тех же соображений не следует ожидать и какой-то определенной формы воплощения Вселенной. Если бы ограничителя не было, то не следует ожидать, что реальность будет настолько полной, хорошей или плохой и так далее, насколько она могла бы быть. Скорее, следует ожидать, что слепо выбранная реальность окажется одной из бесчисленных космических возможностей, которые ничем особым не отличаются. Другими словами, реальность должна быть насквозь заурядной, произвольной, посредственной — ряд можно продолжать и продолжать.

Если простота является фундаментальным объяснением мира, то это объясняет, почему существующий мир столь печально посредствен, представляя собой смесь добра и зла, красоты и уродства, порядка и хаоса, — он невообразимо огромен и в то же время очень далек от полного набора возможных сущностей.

Таким образом, если простота является высшим ограничителем, то это объясняет, почему существует Нечто, а не Ничто. Если на уровне объяснений верх берет «ничто-

вость», то тогда нет никакого ограничителя, объясняющего, почему реальность получилась именно такой. Но если никакого ограничителя нет, то воплотился случайный вариант реальности. В этом случае было бы очень странно, если бы реальность оказалась «ничто», потому что «нулевая возможность», являясь простейшей из космических возможностей, тоже особый случай.

Но как получилось, что простота правит на высшем уровне? Как насчет прочих метаограничителей, например полноты? И что если никакого метаограничителя нет? Разве самое общее объяснение реальности неизбежно должно упереться в необъяснимый голый факт?

Предложим теперь объяснение самой общей формы, которую принимает реальность, и это объяснение отвечает на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?».

Для начала примем два принципа:

1. Для каждой истины существует объяснение, почему она истинна.
2. Ни одна истина не объясняет саму себя.

Первый из этих принципов есть принцип достаточного основания Лейбница, утверждающий, что не существует голых фактов. Второй принцип является более общей версией утверждения «Причина не может быть причиной самой себя». В математике этот принцип называют принципом регулярности. Логическое обоснование не может обосновать себя. Бог не может создать сам себя. Множество не может быть элементом самого себя.

А теперь докажем, что существует одно, и только одно полное объяснение формы, которую принимает реальность. На нулевом уровне (уровне реальности) у нас есть все «космические возможности», в которые может воплотиться реальность, в диапазоне от нулевой возможности до возможности всех миров, включая все промежуточные варианты, где существуют одни виды возможностей и не существуют другие. В силу логической необходимости одна из этих космических возможностей должна воплотиться.

На первом уровне (нижнем уровне объяснений) у нас находятся все возможные ограничители, то есть все возможные варианты, способные объяснить, почему реальность на нулевом уровне получилась именно такой. Ограничители включают в себя простоту, добро, полноту, а также возможность отсутствия ограничителя, то есть возможность того, что нет вообще никакого объяснения.

На втором уровне (на уровне метаобъяснения) находятся все метаограничители, то есть все возможные варианты, способные объяснить, почему именно такой ограничитель действует на первом уровне. Метаограничители также включают в себя простоту, добро, полноту и возможность отсутствия метаограничителя.

Предположим, что отсутствие ограничителя объясняет, почему реальность приняла именно такую форму. И нет никакого дальнейшего объяснения того, почему никакого ограничителя нет. Тогда воплощение именно такой формы реальности является голым фактом, что нарушает принцип достаточного основания, и это тупик.

Далее предположим, что один из ограничителей на первом уровне в самом деле объясняет, почему реальность приняла такую форму — назовем этот ограничитель «действующим». Тогда либо существует объяснение того, почему именно «действующий» ограничитель стал определять реальность, либо это является голым фактом — что нарушает принцип достаточного основания и приводит в тупик.

Теперь допустим, что существует объяснение того, почему именно «действующий» ограничитель является ограничителем. Другими словами, допустим, что существует метаограничитель (на втором уровне), который выбрал «действующий» ограничитель (на первом уровне), — назовем его «метадействующий» ограничитель.

Спрашивается: каким может быть «метадействующий» ограничитель?

Мы знаем, что он не может быть таким же, как «действующий», поскольку это нарушит принцип того, что множество не может включать себя само. Например, если «метадействующий» будет платоновским благом (и в этом случае реальность должна будет принять этически наилучшую форму), объяснение не может состоять в том, что благо должно быть ограничителем, потому что это этически наилучший вариант. То же самое можно сказать о других ограничителях, которые выбирают космические возможности в промежутке между пустой возможностью и возможностью всех миров (например, ограничитель полноты, или математической простоты, или зла). Все эти ограничители выбирают сами себя на метауровне, что приводит к замкнутому кругу. Фактически только два метаограничителя на втором уровне способны быть «метадействующим» ограничителем, а именно простота и полнота. Ни один из них не выбирает себя, а, следовательно, не нарушает принцип регулярности математических множеств.

Если бы простота была метаограничителем на втором уровне, то она бы не выбрала себя на первом уровне, а, скорее, выбрала бы вариант отсутствия ограничителя, поскольку это самое простое из возможных объяснений — когда никакого объяснения не требуется. А если бы полнота была метаограничителем, преобладающим на втором уровне, то она бы не выбрала себя на первом уровне, а, скорее, выбрала бы все ограничители первого уровня.

Таким образом, логически следует, что на втором уровне возможны только два метаограничителя: простота и полнота. Один из них и должен быть фундаментальным объяснением. Поэтому мы должны рассмотреть эти два варианта.

Если простота является метаограничителем, тогда она выбрала бы возможность отсутствия ограничителя на первом уровне (точно так же, как простота на первом уровне выбрала бы нулевую возможность на нулевом уровне). Однако если на первом уровне ограничителя нет, то фактически воплотившаяся космическая возможность реально существующей Вселенной выбрана случайно. Тем не менее это не было бы голым фактом, а объяснялось бы простотой на уровне метаобъяснений.

Если полнота является метаограничителем, тогда она выбрала бы все ограничители на первом уровне (точно так же, как полнота на первом уровне выбрала бы возможность всех миров на нулевом уровне). Однако логически невозможно, чтобы все ограничители на первом уровне диктовали реальности форму воплощения, поскольку они противоречат друг другу. Реальность не может быть одновременно абсолютно полной и абсолютно пустой, этически наилучшей и наиболее причинно упорядоченной (поскольку случающиеся время от времени чудеса сделали бы реальность еще лучше), а тем более она не может быть одновременно этически наилучшей и максимально полной зла. В лучшем случае все ограничители первого уровня могли бы действовать вместе в качестве частичных ограничителей. Тогда наша реальность, то есть космическая возможность, выбранная на нулевом уровне в качестве реальности, насквозь посредственна: одновременно как можно более пустая и как можно более полная, как можно более хорошая и как можно более плохая, как можно более упорядоченная и как можно более хаотичная, как можно более элегантная и как можно более уродливая.

В первом варианте наша реальность случайным образом выбирается из всех космических возможностей. Во втором варианте реальность будет самой посредственной из всех космических возможностей. Причем это единственные варианты нулевого уровня, которые не противоречат принципу достаточного основания и принципу регулярности математических множеств.

И они, скорее всего, будут выглядеть одинаково! Случайно выбранная космическая возможность, скорее всего, будет заурядна во всех отношениях, и дело тут просто в числе вариантов. Из всех мыслимых форм, которые может принять реальность, только

ничтожно малая часть обладает особыми чертами вроде идеальной простоты, идеальной доброты или идеальной полноты. Подавляющее большинство возможностей никакими особыми чертами не отличаются, они заурядны.

А как будет выглядеть подобная заурядная реальность? Прежде всего, она будет бесконечна. Реальности, состоящие из бесконечного множества миров, намного превосходят в числе те, которые состоят из конечного множества миров. Этот вывод следует из теории множеств: число конечных подмножеств натуральных чисел, хотя и бесконечно, является бесконечностью меньшего масштаба, чем число бесконечных подмножеств натуральных чисел.

Но даже в своей бесконечности заурядная реальность не сумеет охватить все возможные варианты. Более того, в теории множеств дополнение к бесконечной заурядной реальности тоже будет бесконечно. Таким образом, заурядная реальность стоит бесконечно далеко как от возможности всех миров, так и от пустой возможности. Являясь бесконечной, посредственная реальность, возможно, будет состоять из множества локальных областей, которые будут обладать особыми чертами по отношению друг к другу. Представьте себе бесконечную случайную последовательность двух чисел 1 и 0. Хотя в целом эта последовательность не обладает закономерностью, она содержит (чисто случайно) все мыслимые локальные упорядоченные последовательности. В ней будут промежутки идеальной полноты, состоящие из долгих последовательностей единиц, а также промежутки идеальной пустоты из долгих последовательностей нулей, промежутки, представляющие самые красивые из всех вообразимых последовательностей, и промежутки, представляющие самые уродливые из всех вообразимых последовательностей. Некоторые промежутки будут казаться осмысленными, содержащими скрытые сообщения и цели. Однако каждое такое локальное значение или сообщение будет противоречить другому локальному значению или сообщению где-то в обобщенной реальности. Таким образом, в целом все они складываются в космическую бессмыслицу.

Приведем цитату из рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека»: *«Я думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры, и лестницы, и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться, — такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без грани, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы: Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком — Порядком). Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество».*

Вот такой, скорее всего, будет реальность, если метаограничителем является полнота или простота. А поскольку только эти два варианта логически не противоречат принципу достаточного основания и принципу регулярности, то именно такой и должна быть реальность, если эти принципы верны.

Таким образом, у нас есть полное объяснение той формы, которую имеет реальность — без всяких голых фактов и невыясненных вопросов. Это объяснение отвечает на оба вопроса, с которых мы начали свое метафизическое вопрошание: «Почему Мир?» и «Почему он именно такой?».

К 100-летию Федора Абрамова

Олег ТРУШИН

«ПРЕМИИ — ЭТО БИЗНЕС...»¹

14 мая 1969 года «Литературная газета» опубликовала небольшую заметку «На соискание Государственных премий СССР», тем самым озвучив официальную информацию о претендентах на высокую награду.

В качестве претендентов на премию в области литературы 1969 года в статье были упомянуты разноплановые, но по-своему примечательные романы «Две зимы и три лета» Федора Абрамова, «Кража» и «Последний поклон» Виктора Астафьева, «Белый свет» Семена Бабаевского, «Угол падения» Всеволода Кочетова, книга «Деревенский детектив» Виля Липатова, а также сборники стихов «Дорога под яворами» Андрея Малышко и «Геодолит» Николая Ушакова.

Чуть раньше информация о соискателях прошла в «Правде», «Советской России», «Известиях»...

Узнав о полном списке соискателей, увидев рядом со своей фамилией Бабаевского и Кочетова, Абрамов, по всей видимости, был не очень доволен. В письме от 12 мая 1969 года на этот счет он очень откровенно сообщал Щербакову: «Что касается „Двух зим“, то им теперь дана зеленая улица: ты читал, конечно, о премиях в „Известиях“. Надежд на получение премии у меня мало (увы, ее далеко не всегда дают за литературу). Правда, компания омерзительная, но интересно, что скажут теперь Ваши районные чинуши? Неужели они и теперь будут топтать мой роман как вредный? А в общем, мне плевать и на Вашего Поздеева и на этого слизняка-холуя Земцовского».

Так вот, ни публикация «Двух зим...» отдельной книгой, ни номинирование романа на Госпремию никоим образом не повлияли на позицию редакции «Пинежская правда»: публикацию в газете так и не возобновили.

Более того, архангельская пресса, в частности центральная газета региона «Правда Севера» и газета «За коммунизм» — орган Архангельского обкома и Областного совета депутатов, ни строчкой не обмолвилась по поводу выдвижения Абрамова на Госпремию.

Олег Дмитриевич Трушин родился в 1969 году в г. Шатура Московской области. Окончил Государственный социально-гуманитарный университет (исторический, психологический, юридический факультеты). Прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства. Автор более 1500 работ (повести, рассказы, очерки, эссе, статьи) об истории, культурном наследии, природе России. Публиковался в журналах: «Живописная Россия», «Юность», «Отчий дом», «Юный натуралист», «Детская роман-газета», «Родовое имение». Многие годы постоянный автор национального журнала «Качели» Республики Беларусь. Автор 18 книг. Лауреат многих международных и российских литературных премий, в том числе премии Центрального Федерального округа РФ в области литературы и искусства, Литературной премии им. М. Пришвина, Литературной премии им. А. Н. Толстого. Живет и работает в г. Шатура Московской области.

¹ Глава из готовящейся к публикации книги «Федор Абрамов. Я жил на своей земле». В основу книги положен личный архив писателя, хранящийся в Институте русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург. Продолжение. Начало см.: 2019, № 9, 12.

Ко всему этому следует отметить, что Северо-западное книжное издательство, находившееся в Архангельске, за все 60-е годы не издало ни одной книги Федора Абрамова, тем самым подчеркнув свое безразличное отношение к творчеству своего земляка. Понятно, что у этого безразличия был свой «хозяин» в Архангельском обкоме.

Такое отношение к творчеству Абрамова в Архангельске привело к тому, что 5 апреля 1969 года член Совета по критике СП СССР писатель Александр Михайлов обратился в бюро Архангельского обкома КПСС с заявлением о «странном, неуважительном отношении областных органов печати к творчеству писателя-земляка Федора Абрамова». В частности, в обращении значилось: «Федор Абрамов — уроженец Архангельской области, связан с ней не только постоянными приездами (он живет в Ленинграде), но и творчеством, которое целиком посвящено архангельскому северу... Действие романа („Две зимы и три лета“. — О. Т.) происходит в северной деревне в первые послевоенные годы. Его герои — честные труженики, люди высокой нравственности, сердцем привязанные к земле, люди, на которых во все века стояла и поныне стоит русская деревня. Кому как не северянам откликнуться на это произведение! Но... беспрецедентный случай в России за последние десятилетия в отношении к писателю-земляку, которым надо гордиться!

Вологда когда-то поторопилась с „осуждением“ покойного Яшина за „Вологодскую свадьбу“, но потом сделали все, чтобы загладить этот неприятный инцидент.

„Правда севера“ тоже устроила нечто подобное с Абрамовым за повесть „Вокруг да около“. Теперь всем ясно, что это произведение имело под собою реалистическую, жизненную основу. Не случайно секретарь Правления СП СССР Г. Марков в своем докладе на Четвертом съезде советских писателей дал высокую оценку этому произведению, как одному из лучших о советской деревне. Так неужели сейчас земляки не могут ничего сделать, чтобы загладить этот инцидент, как это сделали вологжане с Александром Яшиным?

Я обращаюсь в бюро обкома КПСС с просьбой:

рассмотреть вопрос об издании в Северо-западном книжном издательстве „Избранного“ Федором Абрамовым или его романов;

2) дать указание органам печати не замалчивать творчество писателя-земляка, по крайней мере, публиковать рецензии на его новые произведения, посвященные жизни северян, ведь это же традиция, которая соблюдается во всех областях и краях России;

3) дать указание Управлению культуры провести читательские конференции по роману „Две зимы и три лета“, выдвинутому на соискание государственной премии, пригласив на них Ф. Абрамова».

Но и предложения Михайлова в Архангельском обкоме не были услышаны.

Да, не только «Правда Севера», «За коммунизм» и им подобные игнорировали тогда Абрамова.

Даже публикация романа в самом престижном литературном толстом журнале не сумела развеять того истерического страха по отношению к имени Федора Абрамова, что махровым цветом взрастили 60-е годы в умах редакторов издательств. Хотя многие из них были не прочь сотрудничать с писателем, и даже начали делать определенные шаги в этом направлении, но после появления ряда критических статей на «Две зимы...», в частности уже упомянутых ранее статей Строкова, включили обратный ход. Причем такая боязнь в ряде случаев приобретала весьма комичный характер. Наглядный пример — история с журналом «Крестьянка».

30 января 1968 года Майя Яковлевна Испольская отписывает Федору Абрамову короткое письмо, в котором, памятуя о занятости писателя, весьма деликатно пред-

лагает сотрудничество с редакцией: «Может быть у Вас все-таки найдется что-нибудь для нас — небольшой рассказ, отрывок, зарисовка. Подумайте. Ладно?»

В ответ на письмо Исполской Абрамов не только положительно откликается на просьбу, но и в один из своих приездов в Ленинград (в это время он находился в Доме творчества в Комарово) отправляет на адрес «Крестьянки» свой изумительный рассказ «Пролетали лебеди» — трогательное лиричное повествование о поздней материнской радости солдатки Авдотьи Малаховой и несчастной судьбе ее детишек-двойняшек Надьки и Паньки, чьи жизни, словно «весенний ручеек», прошлестели «по деревенской улице». По всей видимости, Абрамов, отдавая рассказ, был абсолютно уверен, что он обязательно будет напечатан. Но случилось иначе.

Еще до отъезда в Ленинград, в начале марта Абрамов получает из «Крестьянки» конверт, в котором, кроме письма, был вложен и текст отправленного им в журнал рассказа. Исполская, будто извиняясь, сообщала: «Очень жалко мне возвращать Вам этот рассказ, но ничего не поделаешь. Мне-то самой он очень понравился. Надеюсь, что Вы еще не вернулись в Ленинград, и пакет застанет Вас на месте...»

О причине возврата в письме не было ни слова.

Мы же можем лишь предположить, что причиной возврата стала новая возня критиканства вокруг Абрамова и его романа «Две зимы...», и редакция «Крестьянки», видя все это, прекрасно памятуя и о прошлом, просто возвратила рассказ автору, не указывая на причины такого редакторского решения.

Вообще, споры о романе «Две зимы и три лета» еще долго будут тревожить печать. И даже тогда, когда в «Новом мире» появятся «Пелагея» и «Деревянные кони», критические статьи о романе все одно будут появляться в печати.

Так, в восьмом номере журнала «Дон» за 1970 год будет опубликована критическая статья Петра Строкова «На полевом стане литературы», в которой автор подверг резкой критике роман «Две зимы и три лета», еще совсем недавно номинированный на Государственную премию. Тон статьи был явно вызывающим на жаркий спор. В своем заключении Строков, словно задавая вопрос Абрамову, спрашивал: «Да то ли это крестьянство, что прошло школу трех революций, огни и муки гражданской и Великой отечественной войн — и прошло их с честью и достоинством, все больше выпрямляясь и развертывая свои необъятные, богатырские силы?!»

Реакции Абрамова на эту статью не последовало. Он хорошо знал цену своему второму роману, подкрепленную искренней высокой читательской оценкой.

10 марта 1969 года Федор Александрович получил из редакции газеты «Труд» — органа ВЦСПС — письмо за подписью сотрудника отдела литературы Владимира Левина.

Владимир Исаакович, напомнив в нескольких словах адресату о себе то, что они были когда-то знакомы по «Литературной России» и он пытался опубликовать отрывок из «Две зимы...» и даже ходил с Абрамовым к Поздняеву, сообщил, что будет вести в газете ежегодный литературный конкурс рассказа и что в позапрошлом году первую премию получил Аксенов, вторую — Рошин. «Если у Вас есть рассказ до 10 страниц или отрывок, который можно было бы выдать за рассказ, был бы очень рад Вас напечатать, — и дополнительно, как бы с некоторой оговоркой, предупреждая возможный вопрос со стороны Абрамова, — возможности „проходимости“ как будто бы весьма благоприятные».

Заметьте, читатель, литература «проходная» и «непроходная»! Хорошая или нехорошая, читаемая или нечитаемая, а именно «проходная»! А у Федора Абрамова именно такой было довольно мало, если не сказать, что совсем не было. Ну, и как следствие, ничего абрамовского тогда в «Труде» так и не вышло.

Не вышел в свет и сборник повестей и рассказов «Жила-была семужка», на издание которого «Советская Россия» в 1968 году заключила с Абрамовым авторский договор. Помимо повести, давшей название книге, в сборник была включена и повесть «Вокруг да около», что, естественно, не могло не привлечь внимания цензуры.

Напрасно надеялся Абрамов, что повесть, страсти вокруг которой уже давненько улеглись, все же удастся протиснуть в сборник. Не тут-то было! Два листа из четырех внешней, в общем-то положительной, рецензии на сборник критика Л. Якименко 28 января 1968 года были посвящены именно «Вокруг да около». «В свое время, как известно, вокруг этого произведения возникли серьезные споры, — говорилось в рецензии. — Да, Ф.Абрамов одним из первых в нашей литературе трепетно, драматично увидел значение экономических стимулов, как одного из важных факторов подъема, на сравнительно ограниченном событии (уборка сена). Он сумел показать необходимость тех мер, которые проводятся партией и правительством с такой решительностью в последние годы... Я бы посоветовал автору внимательнее отредактировать „Вокруг да около“. Мне показалось, кое-где создаются временные сдвиги — не поймешь, когда происходит действие повести, в 1960 или 1962 году (15 или 18 лет прошло после победы?) Стоит вместе с редактором просмотреть и чисто публицистический сопроводительный и сопоставительный комментарий».

Никаких комментариев и уж тем более уточнения «временных отрезков» в повести, явно надуманных автором рецензии, Абрамов делать не стал, и, как следствие, издательский контракт был расторгнут.

Выдвижение Абрамова на Госпремию породило появление ряда статей о романе «Две зимы и три лета», где среди положительных были и весьма отрицательные отзывы, в которых говорилось о нежизнеспособности абрамовской прозы, так как она якобы оторвана от реальной жизни и автор не желает изображать те положительные процессы, которые происходили в послевоенной деревне. Так, в рецензии А. Шеляпина «Серые будни Пекашино», выданной под грифом «Обсуждаем произведения, выдвинутые на соискание Государственной премии», отмечалось: «В жизнь вступает новое поколение, для которого Великая отечественная война тоже история. Было бы драматической ошибкой показать ему искаженную картину жизни той поры и первых послевоенных лет, упрятав за житейской неустроенностью и приземленностью бытовизмом громадную силу народного духа, готовность к лишениям ради высокой цели. Будь роман Ф. Абрамова частным фактом литературного процесса, тогда можно было бы поберечь копыя. Но реакция журнала «Новый мир» выдвинула его на соискание государственной премии, придав тем самым этому произведению высокую общественную значимость, да и сам роман, как уже говорилось, наделен весьма внушительными достоинствами. Но наделен он и внушительными просчетами, которые складываются из различных сторон идейно-эстетической позиции писателя.

О двух зимах и трех летах исключительной деревенской маяты рассказал Федор Абрамов... Он решительно взял сторону тех, кто судит вчерашнюю деревню кодексом отвлеченного гуманизма и ждет на этой ниве богатой жатвы. Внеисторический, с изрядной долей передержек, подход к теме может рассчитывать на короткий успех среди некоторой части читающей публики».

И статей, подобных шеляпинской, было в прессе немало.

Следует отметить, что обсуждение произведений, выдвинутых на соискание Госпремии, происходило в очень нервной обстановке для «Нового мира». И даже более того, судьба Твардовского как главного редактора уже давно висела на волоске. Да и сам журнал «Новый мир», по сути, был на грани закрытия.

После того как Твардовский отказался подписать коллективное письмо писателей в поддержку действий советского руководства, направленных на подавление Пражской весны, рассчитывать на то, что ему этот либерализм сойдет с рук, уже не приходилось. И даже вынужденное во благо сохранения журнала решение новомирцев согласиться с правильностью решения о введении советских войск в Чехословакию не спасло редакцию от уничтожения.

А тут еще и исключение Солженицына из Союза писателей, последовавшее осенью 1969 года, которое только подлило масла в огонь. Твардовский и новомирцы не поддержали это решение. Осудил его и Федор Абрамов, который оказался верен «Новому миру». Впрочем, Абрамов был одним из немногих писателей, кто не испугался и высказал свою точку зрения письменно.

Все думаю который уже день как быть: писать или не писать по поводу исключения Солженицына из Союза писателей... Ибо последствия могут быть самые неожиданные, — запишет Абрамов в дневнике 17 ноября 1969 года. — Может вообще ничего не быть, а можно и оказаться за бортом литературы, вернее, журналов, ведь существуют же проскрипционные списки... Вот и решай, как тебе быть. За Солженицына вступить легко, для этого требуется мужество на минуту, а вот для того, чтобы Абрамовым быть в литературе, потребуется мужество на всю жизнь». И вот запись следующего дня: «Решился. Посылаю письмо. Никакими соображениями, доводами нельзя оправдать рабское молчание. И мой голос в защиту Солженицына — это прежде всего голос в защиту себя. Кто ты — тварь дрожащая или человек?»

И снова запись о «Новом мире», Солженицыне, о писательской совести, долге: «Растоптана последняя духовная вышка... Если бы провести референдум, 97 % наверняка одобряют закрытие „Нового мира“ — вот что ужасно. Двадцать пять писателей подали голос протеста против исключения Солженицына. Двадцать пять — из семи или восьми тысяч. Вдумайтесь только в эти цифры!..»

В канун дня Великого Октября Абрамов получает из «Нового мира» поздравительную открытку за подписью А. Твардовского и всего состава редакции: «Дорогой Федор Александрович! Сердечно поздравляем Вас с 52-й годовщиной Великого Октября! С праздником!»

Новомирское поздравление несколько снизило душевный накал, и все одно, Абрамов очень тяжело переживал все, что происходило с «Новым миром». Даже десятидневная поездка во Францию в декабре 1968 года в составе писательской группы не дала успокоения и не развеяла в нем тех тревожных мыслей, в объятиях которых он пребывал последнее время, размышляя о судьбе журнала.

Свидетельство тому — его подробные дневниковые записи, многочисленные пометки в записных книжках, воспоминания близких, и в первую очередь Людмилы Владимировны. Его письма Твардовскому тех лет от первого слова до последнего пронизаны искренней теплотой, с обязательной припиской — «Ваш Федор Абрамов». Так Абрамов подписывался нечасто. Он слишком любил Твардовского и остался верен этому чувству всю свою жизнь, при этом никогда не делал на этот счет обильных словоизлияний даже в своих воспоминаниях, понимая, что это лишь опустошает чувства.

А премию тогда Абрамову, конечно же, не дали. Но шанс получить ее вопреки всему все-таки был. Даже в комиссии по присуждению были те, кто по достоинству оценил «Две зимы...». «Схватка на заседании большая, — сообщал в письме Абрамову заместитель главреда „Нового мира“ Кондратович, присутствовавший на обсуждении. — Итог: шесть на шесть. Не хватило одного голоса для перевеса...» Решающий голос в пользу украинского поэта Андрея Малышко, которому тогда и присудили премию,

отдал представитель ЦК, входивший в состав комиссии. «У Абрамова, — обратился он к присутствовавшим, — тьма в романе такая, что ее можно ножом, как повидло, резать» (по Кондратовичу).

Сам Абрамов 10 ноября 1969 года запишет в дневнике: «Премии не дали. Это надо было ожидать. Макогоненко по этому поводу мне прочитал целую лекцию. С чего дадут очернителю, автору „Нового мира“? Да ведь это признать правильность линии журнала, оправдать его. А кроме того — не забывай: премии — это бизнес...» (Федор Абрамов. «Так что же нам делать?»). Из дневников, записных книжек...).

Еще в июньском номере «Нового мира» за 1969 год вышла абрамовская «Пелагея», вызвавшая новый поток резкой критики не только в адрес автора, но и самого журнала «Новый мир» за то, что во второй раз за столь короткий период вновь представил читателям Абрамова. И все это накануне разрешения вопроса о Госпремии.

«Если напечатаем „Пелагею“, премии Вам не видать... Вот и выбирайте — премия или литература» (Л. Крутикова. «Момент истины»). Эти слова Твардовского Абрамов по памяти записал в своем дневнике. Были ли они пророческими?

Иное дело, если бы разговор шел о выдвинутом на премию романе «Две зимы...». Да и вряд ли мог предполагать Абрамов, создавая свою «Макариху» (именно такое рабочее название было у повести, задуманной автором еще в середине 1958 года), что она вызовет столько шума и критиканского ажиотажа в прессе, особенно в ленинградской.

В статье «Сюжет и жизнь», в контексте повествования о прототипе Пелагеи, Абрамов признается, что окончательно найти сюжет «Пелагеи» помог А. Т. Твардовский: «Помню, как, прочитав повесть, он сказал: — Как будто бы все есть. Есть характеры, есть среда, есть слово, а вещи нет». И далее Абрамов раскрывает: «Я и сам не был удовлетворен своей „Пелагеей“, но конечно, только выслушав мнение такого авторитетного и глубокоуважаемого мной человека, я начал „прозревать“. Короче говоря, после долгих раздумий я пришел к выводу, что ошибка моя заключалась в концовке повести, где после смерти Пелагеи у меня в первом варианте шла еще довольно подробная история жизни Альки в городе. И вот, оказалось, что эта история, сама по себе любопытная и, кажется, неплохо написанная, в этой повести лишняя...»

Вполне возможно, что это было именно так, и Твардовский внес значительную лепту не только в сюжетную линию окончательного варианта «Пелагеи», но и в само название повести, так как в первом ее варианте Александр Трифонович читал ее именно под заголовком «На задворках».

И все же, наверное, стоит оговориться, что главный стержневой корень «Пелагеи», имея свое начало в несостоявшейся повести «На задворках», вызрел у Абрамова куда раньше, нежели с ее текстом ознакомился Твардовский.

Практически то же самое можно сказать и о повести «Алька», появившейся на свет в своем первом варианте еще задолго до прочтения ее Твардовским и о которой Абрамов ни словом не обмолвился в вышеупомянутой статье. А ведь первый вариант «Альки» был создан писателем практически одновременно с повестью «Пелагея». Но у нее, увы, другая судьба.

Да, повесть социально острая, заставляющая думать и сострадать главной героине повести Пелагее Амосовой, простой колхозной пекарихе, на плечах которой не только работа, но и большой муж, заботы по хозяйству и дочь Алька, у которой «единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красоту на себя наводить». Пелагея не принимает то, чем живет Алька. Оттого и «война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно... с того времени, как Алька к нарядам потянулась».

А война эта порой доходила до того, что Пелагее казалось, что «не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее». Но не смогла одолеть Пелагея Альку, все одно укотившую в город. Так и окончила свои дни Пелагея в одиночестве, схоронив мужа, упустив в город дочь, что даже и на похоронах матери не была и приехала лишь неделю спустя, но тем не менее «оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по здешним местам». И все же не осталась на родительском корню, распродав все нажитое матерью, «заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки» на могилы и уехала.

Вроде бы и состоявшееся примирение поколений звучит в финале повести, а все-таки Алька не принимает деревню в том виде, в котором она есть, пожертвовав даже отчим домом.

По сути, в «Пелагее» звучит все та же избитая проблема отцов и детей, к которой не единожды обращалась как отечественная, так и мировая литература, но представленная Абрамовым несколько иначе, не только через призму межличностных отношений, но и сквозь борьбу деревни и города, проявившуюся в нежелании молодого поколения взваливать на свои плечи крестьянский труд на земле. Вот она, социальная проблема нравственного долга и морали молодого поколения, выдернутая автором из жизни вопреки бытовавшему в стране соцреализму. Сюжет повести продиктован жизнью, а значит, Пелагея не одна в своей нелегкой судьбе.

Как и все произведения Абрамова, в которых отражены образы реально существовавших людей, «Пелагея» не была исключением. В литературном образе пекарихи воплотилась Екатерина Макаровна Абрамова, жившая в Верколе и до последних своих дней отказывавшаяся принимать главную героиню повести, примеряя к себе каждый штрих Пелагеи и не желая понимать, что она стала лишь внешней оболочкой для образа, а его начинка — во многом художественный вымысел, но взятый автором из жизни. Абрамов при случае старался объяснить, но его реальная Макариха и слушать об этом не хотела. Ну что ж, обычная для Абрамова история.

И тем не менее Пелагея во многом впитала в себя не только личностные черты веркольской Макарихи, но и истинный антураж ее трудовых будней, ее пекарню, без которой, если сказать словами самой Пелагеи, «ей и дышать нечем». А реалистичность образа Пелагеи позволила автору не только оживить повесть, но и наполнить ее особым знаковым колоритом, создав тем самым еще большую атмосферу подлинности событий.

«Пелагея», встав в один ряд с повестью «Алька», фактически ставшей ее продолжением, рассказом «Деревянные кони» и повестью «Мамониha», работа над которой растянулась без малого на десять лет, стала зачином своеобразной тетралогии из четырех абрамовских произведений о судьбе русской женщины, пусть и не объединенных единым сюжетом, но имеющих один авторский замысел — рассказать о судьбе русской женщины. И ведь недаром Юрий Любимов, затеяв в начале 70-х годов на Таганке своих знаменитых «Деревянных коней», принял в сценарий и «Пелагею» с «Алькой», сотворив тем самым своеобразный триптих, который великолепно смотрелся на сцене как единое целое.

Уже в июле—августе в прессе появились первые нелюбезные статьи о «Пелагее».

18 августа Ефим Дорош, понимая состояние Абрамова после взвалившейся на него критики за «Пелагею», словно успокаивая, делая больший акцент на повести «Деревянные кони», в частности, писал:

Дорогой Федор Александрович!
...Уже само название рассказа расположило меня, и я не ошибся в своих ожиданиях. По-моему, рассказ очень хорош.

Прежде всего хороша старуха, очень верно и интересно написана и молодая. Да и все вокруг — «настоящее и прошлое» — верно, умно, наполнено поэзией...

Во-первых, рассказ будет напечатан в 1970 году, и во-вторых, что мы назовем его повестью. Это для рекламы, т. к. читатель Вас любит и название к тому же прекрасное.

«Пелагею» все вокруг очень хвалят, а «Литгазета» и прочие — бог с ним. Вот Вам и Мелентьевна Ваша сказала бы. Ваш Е. Дорош

Помимо заказных статей «сверху», какой, к примеру, была статья А. Русаковой «Итог одной жизни», опубликованная в «Ленинградской правде» 10 января 1970 года, были и положительные отклики. Так, следом за публикацией Русаковой, 11 января в газете «Правда Севера» появилась статья Шамиля Галимова «В глубины жизни», и чуть позже его же публикация «Мужество таланта» в седьмом номере журнала «Север», раскрывающие истинные характеристики «Пелагеи». Впоследствии его мысль повторили и авторы публикаций, появившихся в журналах «Современник», «Вопросы литературы», «Литературной газете» и многих других.

Так, Игорь Дедков в статье-рецензии «Межа Пелагеи Амосовой», опубликованной в девятом номере «Нового мира» за 1972 год, так отозвался о жанре повести: «Есть у Федора Абрамова восхищение „по-русски неброской, даже застенчивой“ красотой, „сделанной топором и ножом“. Книга написана человеком, жадным до людей, до все новых и новых людей, до самых обыкновенных. Если б признан был жанр житейских „встреч“, то можно было бы сказать, что значительная часть книги исполнена в нем». И как долгое эхо дедковской статьи — мысль литературоведа Андрея Туркова в статье «Великий след», журнал «Дружба народов» № 2 за 1973 год: «Но все-таки источник заветнейших мыслей Федора Абрамова, в первую очередь, не в литературе, а в жизни... а это есть голос нрава...»

И если статьи в прессе появились, выдержав определенный, пусть и малый срок после выхода «Пелагеи», то письма читателей обрушились на Абрамова почти сразу же, как только повесть получила выход в народ. Письма с разной оценкой повести приходили не только на ленинградский адрес писателя, но и в редакцию «Нового мира». Как и статьи, по своему содержанию они были разными. Помимо добрых отзывов были и упрекающие Абрамова за ненужное обличительство и нравоучение, которого и без того с лихвой в литературе.

Одним из первых откликнулся на «Пелагею» Василий Белов.

Вообще письма Василия Ивановича к Абрамову, а их в писательском архиве немало, всегда искренни, по-дружески совестливы, без потаенной зависти в слове, теплые и, как говаривала моя бабушка, хоть руки об них грей. Белов всегда считал Абрамова своей путеводной звездой, строгим критиком и порой публично, по-отечески, признавался в этом. Но и в своей оценке абрамовских творений Белов был честен и прямолинеен.

«...Да, Пелагею я прочитал, — сообщал Белов, — и скажу честно, что она оставила очень противоречивое впечатление. Те места где ты писал жалея, а не обличал, эти места, по-моему, изумительны. А этих мест меньше и они не увязываются с общим пафосом, с общим настроем (извини за эту надуманность, не знаю как сказать проще). Чего это ты? Разве мало у русского мужика обличителей без тебя? Ну да ладно, ты, наверняка, это и сам чувствуешь и знаешь все лучше меня. Не стоило только наверное печатать повесть в „Н. Мире“, там по-моему, есть силы определенные, эти самые обличительские, оправдывающие беды народа его собственной тупостью и далекостью и всякой классовостью. Твардовскому наверняка приходится сдерживать этот обличительский пыл, и по-моему, ему нелегко вдвойне. Не знаю, конечно, но мне так кажется.

Хорошо, что на роман есть статьи (тут, по всей видимости, Белов имел в виду роман „Две зимы и три лета“. — О. Т.)... А как ты к этим статьям? Ишь ты, нашли козла отпущения — Егоршу... А по-моему, мне неизвестно, такой ли уж отрицательный этот Егорша. А может это просто способ спасти роман от нападков со стороны ортодоксов. Ладно, пятого ноября все узнаем. Вот когда получишь звезду, тогда я попрошу рублей триста взаймы. А может и раньше... потому что за „Бухтины“ мне дадут всего рублей 400... Ну, ладно, это все ерунда.

А что за „Деревянные кони“? Начал только или уже много сделал? Черкни. Передай поклон Люсе и Федору (Мельникову. — О. Т.). Пусть он, Федор Федорович, как следует прочихается на прежнюю должность, да живет нормально. Живы будем не помрем. Привет от Олюхи и от мамы, которая засела в Тимонихе и не хочет ехать в Вологду. Уж больно там ей хорошо — есть дрова и мука, родина, товарки, тишина и лес. Кормила меня блинами и рыжиками. Жаль не смог ты с Люсей приехать. Пока! Крепко обнимаю, не забывай. Твой Белов».

10 октября 1969 года Федор Абрамов после прочтения беловского письма записал в своем дневнике: «Получил письмо от Белова. Упрекает за обличительство в „Пелагее“. Дескать, и без тебя хватает у нас обличителей.

Но где, какое обличительство в „Пелагее“? Я никогда в жизни своей не занимался этим ненужным делом. И вообще я не знаю, что такое восхваление и обличение в литературе. Я стараюсь писать то, что есть. Правда, правда и еще раз правда. А в „Пелагее“, если и есть обличительство, то разве оно против Пелагеи направлено? И вообще, как не понять, что Пелагея — жертва, жертва, которую нельзя не пожалеть».

Но были и такие читательские письма, где «Пелагея» неожиданно сравнивалась с Мишкой, и эта параллель уже сама по себе была интригующей для Абрамова.

Из письма ленинградского читателя Бориса Бельтронова: «Прочел только что Вашу „Пелагею“. Плохой все-таки она человек — я еле слезы сдержал, когда кончилась повесть. Какими Вы секретами владеете, чтобы добиться такого эффекта?..

Михаил Пряслин — это ясно... но почему Пелагея — все, как не подходи — не сахар. Человек в сущности эгоистичный... и почему она вызывает сочувствие?.. Но ведь Михаил Пряслин тоже не... а настолько в нравственном отношении он выше ее? В этом, в этой нравственной силе, вернее сила народная, как я понимаю. И никаким „образованиям“ (я имею в виду отрицательное влияние) эту силу не убить...»

Писатель Алексей Садовский в своем письме Абрамову от 26 сентября 1968 года не просто подверг критике повесть, усмотрев в ней «провинциализм», но и определил, какую она, по его мнению, должна была иметь концовку:

Язык повести рыхловат. Порой колорит оборачивается обыкновенным провинциализмом. А порой и недостатки замечаешь...

Но на одном эпизоде мне хотелось бы, все-таки, попридержаться твое внимание. Я имею в виду конец 21 и начало 22 глав. Думается, их надо изменить несколько. В конце первой из этих глав ты рассказываешь, как умирающую Пелагею согревает надежда, что дочь ее, Алька ее, вернется. Вот этим (так я думаю) и надо закончить главу, а следующую 22-ю начать энергично, просто: «Вернулась Алька». Или чем-нибудь в этом роде.

Конечно, Садовский не знал, что у «Пелагеи» есть продолжение — «Алька». Не упомянул об этом в ответном письме и Абрамов.

Сам же Твардовский не оставил отзыва о «Пелагее». По крайней мере, нам такие рецензии не известны.

А вот Мария Илларионовна, супруга поэта, уже после его кончины прочитав «Пелагею» и «Альку» в сборнике «Последняя охота», изданном в «Советской России» в 1973 году, открыто писала Абрамову:

Дорогой Федор Абрамович (!) (так в оригинале. — О. Т.)

Хочу напомнить о добром намерении Вашем — прислать копии писем Александра Трифоновича. Жду. (Абрамов выполнил просьбу, отправив подлинники писем. — О. Т.)

Симпатичную книжечку Вашу с одним («деревянным конем») получила и за нее Вас благодарю.

Думаю, что после наших столичных газет, недавно обсуждавших (я имею в виду «Л. Г.») Ваше творчество и особо повесть об Альке, мой читательский отклик покажется Вам пресным уже в силу того, что не несет в себе заряда гласности и должной ответственности, это просто два слова читателя о том, что ему (читателю) понравилось.

Понравилась, конечно, Пелагея. Эта Ваша вещь поживет. Большой подтекст (не выпирающий, но чувствующийся, который в любую минуту может быть призван для аргументации образа) — подтекст этот придает книге (и образу Пелагеи в первую очередь) объемность, книга имеет и большую протяженность, чем собственно текст, занимающий менее сотни страниц.

Судьба этой женщины заставляет читателя задуматься, как задумывались мы о героине Флобера, о пушкинской Татьяне, о Вассе Железновой.

— А что если бы?

Извечный вопрос, вызванный сопереживанием читателя и его заинтересованностью в судьбе образа, нарисованного правдиво, т. е. со всеми жизненными противоречиями.

— А что, если бы Пелагея? Кем могла бы быть такая идущая к своей цели без компромиссов натура, для которой потеря цели явилась и потерей жизни?

Повесть, повторы, хорошая, очень хороша, написана хорошим языком, без сентиментальностей (которые в других рассказах иногда мелькают).

Другие вещи Ваши послабее. Конечно, ничего в них стыдного нет. Они тоже обнаруживают талантливость автора. Они послабее перед «Пелагеей», но не стоит объяснять, что только зубья в гребне одной высоты.

И хотя в других рассказах тоже много хорошего и много наблюденного у жизни — есть ощущение некоторой этнографичности в подаче людей старинных, против параллельно идущего описания людей сегодняшних — такие описания грешат всегда некоторой искусственностью и идеализацией.

Само заранее помеченное противопоставление предопределяет ослабленность и некую ущербность одной из противостоящих сторон.

Мне кажется, что материал такого рода (о прошлом и его людях) лучше втапывать в большие вещи, где он на фоне раскрытых характеров «большого полотна» может говорить сам за себя без тенденциозности, которая, повторно, заранее обрекает половину героев на «голубые» роли.

Словом, как заключил бы наш дорогой А. Т. обобщая самого себя: человек Вы талантливейший и талант Ваш от Бога, а все остальное — от себя.

Работать, работать.

Всего Вам доброго, и успешной работы более всего.

М. И. Твардовская...

Впрочем, уже несколько забежав вперед во временном отрезке, снова вернемся в конец декабря 1969 года, когда для Федора Абрамова все споры о «Пелагее», разом померкнув, отступили далеко на задний план.

22 декабря умер Василий — средний и последний из братьев Федора Абрамова, живший в селе Подюга Архангельской области и работавший там же директором сельской

школы. Сгорел на работе, как потом говорили. В последний день своей жизни провел уроки, дошел до дому, повернулся к окну, и... инфаркт, в 55 лет. Федор Александрович был на похоронах.

Роковые 55! Жизненный рубеж, который не осилил ни один из старших братьев Федора Абрамова. Более того, не только брат Василий умер именно в этом возрасте, но и старший Михаил почил именно в эти годы.

Для Федора Абрамова это был своего рода сигнал, недобрый знак. И все последующие пять лет, приближающие его к этой жизненной черте, — постоянные размышления, невольные думы о скорой смерти. Нечасто говорил он об этом вслух, но близкие подтверждают, что такие разговоры были.

А в Ленинграде по-прежнему не умолкали споры вокруг «Пелагеи», и критика, взяв в приоритет статью Русаковой, резала вдоль и поперек абрамовскую повесть, не обращая внимания на положительные отклики в прессе.

Но случилось то, о чем Абрамов не мог и подумать: в его защиту, в защиту его «Пелагеи» выступил ряд ленинградских писателей.

Еще 22 октября 1969 года на заседании бюро секции прозы Ленинградского отделения Союза писателей выступавшие единодушно говорили о «Пелагее» как об интересном, значительном явлении современной прозы.

Положительные отклики повесть получила, и 31 октября в Ленинградском институте культуры, где помимо приглашенных литераторов в обсуждении приняли участие преподаватели и студенты вуза.

И вот после появления статьи Русаковой ряд писателей — М. Слонимский, Е. Добин, А. Македонов, Б. Бурсов, В. Берковский, Г. Горышин, который к тому же являлся председателем бюро секции прозы, — 28 января 1970 года подписали и направили в газету «Ленинградская правда» открытое письмо, в котором опровергли позицию автора «Итога одной жизни», подчеркнув следующее: «Выводы рецензии А. Русаковой неосновательны, предвзяты, находятся в разительном противоречии с гуманистическим пафосом повести Абрамова „Пелагея“. Рецензия эта дезориентирует читателя, она вредна для писателя, который работает сейчас особенно много и плодотворно... Повесть „Пелагея“ явилась естественным продолжением, развитием главной темы Абрамова: материального и духовного становления северной колхозной деревни... проникнута чувством личной сопричастности, партийной заинтересованностью в нелегком, но, несомненно поступательном движении, которое происходит сейчас на селе».

Естественно, такой вызов группы писателей не мог остаться без внимания тех, кому творчество Абрамова было, мягко сказать, не по нюху.

Теперь под проработку попали не только те писатели, кто выступил в защиту Абрамова, но и само Ленинградское писательское отделение, допустившие такой просчет в идеологической работе. Возглавлявший писательскую организацию Даниил Гранин был вызван на обкомовский ковер.

Вскоре на уровне обкома была создана комиссия, задачей которой было немедленное проведение работы по выявлению просчетов в идеологической работе Ленинградского отделения Союза писателей, и принято по этому поводу соответствующее решение.

На состоявшемся писательском партбюро, куда был приглашен и Федор Абрамов, его повесть «Пелагея» была еще раз окрещена «очернительской». Итоговое решение — срыв в идейно-теоретической работе организации.

Абрамов вновь попал в какой-то невидимый, но очень мощный водоворот страстей, разразившихся вокруг его имени, но казавшихся, и не только ему одному, какими-то вычурными, надуманными, нелепыми и очень походившими на те, что уже когда-то случались, когда в отношении него выносились постановления ЦК.

«...А может быть, это расчет со мной за письмо в поддержку Солженицына?» — отмечает в эти дни Абрамов в своем дневнике, размышляя над происходящим.

А несколькими месяцами раньше, и без того в весьма неблагоприятной обстановке к активному писательству, под самый новый год грустное известие из «Нового мира»: отказ в публикации «Материнского сердца». Причина отказа — в письме Дороса от 21 ноября 1969 года:

«Рассказ всем нравится. Все за то, чтобы печатать, однако все понимают, какие трудности вызовет известное Вам место... Ваши рассуждения о патриотичности рассказа и т. д., разумеется, верны, однако бывает и иное понимание этого, что хорошо, что плохо, и с этим приходится считаться.

Только что прочитал новые Ваши рассказы. Скажу честно, что „Деревянные кони“ значительно сильнее. Однако дело не в этом. „Материнское сердце“, мне думается, ничего нового не прибавляет к тому, что уже было в романе, это как бы кусок из него — сильный своей правдой, однако очень трудный для публикации.

А вот рассказы бабки Олены, по-моему, монтируются с „Конями“. Если чуть-чуть почистить, я имею в виду некоторые вопросы и реплики Вовки, как бы взятые из детгизовской литературы — это рассказ, мне думается, будет хорош... с этим я и дал его сегодня Алексею Ивановичу» (по всей видимости, Дорос упоминает в письме Кондратовича. — О. Т.)

Несмотря на вроде бы и оптимистическое упоминание в письме «Деревянных коней», их дальнейшая судьба была по-прежнему призрачно не ясна. Что скажет на их счет Кондратович? И какое решение по ним примет Твардовский в такое очень серьезное для «Нового мира» время, да и для него самого?

Лишь 3 января Твардовский отправит Абрамову сухой текст телеграммы: «„Коней“ запускаем».

А для себя, видимо вскоре после прочтения «Коней», 19 декабря 1969 года Твардовский так записал в своем дневнике: «Ф. Абрамов, его великолепный рассказ „Деревянные кони“ (заглавие несколько натянутое)...»²

«Деревянные кони» — еще одна многострадальная абрамовская вещь, которой был уготован счастливый, но чрезвычайно трудный путь обретения массового читателя. И наверное, если бы не Твардовский, под чью редакторскую руку успел лечь рассказ и который смог убедить Абрамова «отутюжить» «Коней» так, чтобы внимание цензуры было минимальным, повесть так и осталась бы в редакционном портфеле.

Больше похожая на рассказ, повесть написана в особом ритме повествования-исповеди, рассуждения о пережитом и действительном, в форме внутреннего диалога автора с жизнью, свойственного абрамовской прозе и которому в повести отведено особое место. Ему, приехавшему в «тихий уголок» — старую деревушку Пижму, где «все под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды», была поведена судьба старой Милендьевны, пожаловавшей всего-то на три дня к сыну Максиму и снохе Евгении и после отъезда которой даже просторный дом с конем, «развернутый фасадом вниз по течению реки», начиненный всякой «крестьянской утварью», не смог удержать автора — без Василисы Милендьевны и дом уже был не дом. А почему? Так все ж в рассказе, где прототипом Милендьевны стала Евдокия Ивановна Стахеева, жительница ныне опустевшей деревушки Смutowo, в доме которой в августе 1967 года, спасаясь от тяжелых дум о судьбе «Двух зим...» в «Новом мире», и жил Федор Абрамов. До Смutowa, что сто-

² Твардовский А. Т. Новомирский дневник. Т. II. 1967–1970. М., 2009. С. 441.

яло от Верколы на другом берегу Пинеги и от Ежемени в пару верст, путь был недалог, почитай что в Верколе живешь³.

Тогда на короткое время рабочим кабинетом Федора Абрамова стала небольшая уютная комнатка, оборудованная на чердаке дома, — «вышка с резным балкончиком», вход на которую был с пахнущей травами повети, под которой был «двор с разными стайками и хлевами». Не приспособленная под житье в холодное время года, в теплую пору вышка оживала. Приятно было пожить под сводами большого дома, под самым искусно вырезанным «полотенцем» и гостям дома, да и самим хозяевам.

Не случайно оказался тогда Федор Абрамов в стахеевском доме Евдокии Ивановны. Сын хозяйки дома Андрей, с которым Абрамов был знаком давно, пригласил погостить писателя.

Так, за охотой и рыбалкой, походами в лес по грибы да ягоды, долгими разговорами, и рождались зарисовки новой повести «Деревянные кони», которой суждено будет не только издаваться на разных языках, но и идти на театральных подмостках по всему миру.

А вот окончательно повесть «Деревянные кони» дорабатывалась Абрамовым летом 1969 года в Комарове. На вопрос писателя Глеба Горышина, посетившего Федора Александровича в этот период, «А что теперь за работа?» Абрамов ответил: «Большой пишу рассказ, листа на два. О старой русской крестьянке. Судьба ее поучительна, тесно сплетена с историей страны. Такие старухи есть в деревнях — я готов на колени перед ними стать» (Глеб Горышин. «В гостях у Федора Абрамова». «Литературная газета» № 5, июль 1969 года).

Великой крестьянкой с «кремневым характером» назовет Абрамов свою героиню, которая вполне могла стать в рассказе Василисой Прекрасной (именно такое название изначально должна была иметь повесть), за то, что всю жизнь, делая добро людям, жила «настоящей жизнью», работала так, что и в свои преклонные года не могла сидеть сложа руки. И деревянные кони на крышах всех пижемских домов — красота и особенность домов-богатырей — «вскормлены» ею.

«Прочитал в „Новом мире“ рассказ „Деревянные кони“. Добре! Язык добр! Хорошо! Полезно!» — напишет в своем письме 25 марта 1971 года односложно, но с явным восхищением и уважением к автору читатель из Москвы, путешественник Борис Никитин.

И даже если бы Федор Абрамов не был автором цикла романов о судьбе Пряслиных, и не было бы за его плечами «Безотцовщины» и «Пелагеи», то благодаря одним «Деревянными коням» он бы наверняка заслужил безмерную славу у простого читателя за то, что «подарил... радость познания жизни, до сих пор... неизвестную, что... открыл ее» и дал увидеть «человека, которого не знал бы никогда». «Автор с неповторимым миром духовным, неисчерпаемым, сердцем впитавший все то, что носит имя жизнь — предстал перед тобой в „Деревянных конях“, как явление той же жизни, ощутить которую большое уже счастье», — из письма Веры Бабич, Комарово, 19 марта 1976 года.

Критик Александр Михайлов, сам северных корней, одним из первых прочитавший «Деревянных коней», сообщал в письме Абрамову 1 мая 1970 года: «Лежу на диване,

³ Тут, отступив во времени, справедливости ради надо сказать, что тот дом-богатырь — частичка абрамовской летописи — уцелел и ныне стоит в полной сохранности на Абрамовском угоре, а самое главное — обжитой. И все благодаря Игорю Чекалину, москвичу, полюбившему пинежские места, который купил у прежних хозяев в Смутове стахеевский дом да перевез его в Верколу и, подлатав немного, дал ему вторую жизнь.

в гостях у тещи, в Серпухове, и думаю, думаю горькую думу о наших бабках и матерях, о судьбе русской крестьянки, думаю о том, откуда шла, какого корня прирастала народная сила, которой хватило стоять насмерть перед судьбой-мачехой и злым врагом...

Хорошо ты написал, с болью сердечной и с великой благодарностью женщине-крестьянке. Нашей северянке. Спасибо тебе».

Но нет, не таких «Деревянных коней», что читал Михайлов в гостях у тещи, желал увидеть Абрамов в «Новом мире».

Конечно, в свете всей той суеты вокруг и внутри опального журнала, над которым реально нависла угроза закрытия, эта новая абрамовская вещь могла вовсе затеряться в редакционном портфеле. И то, что она в конечном итоге все же обрела свою жизнь на страницах журнала, уже было огромной победой Абрамова, хотя сам Федор Александрович на этот счет мыслил иначе.

Едва не испортив отношения с Дорошем в связи с редакторской корректурой «Деревянных коней», 4 января 1970 года Абрамов, уже несколько смягчив тон своего письма, отправляемого с новой правкой повести, сообщал Ефиму Яковлевичу: «Мне очень жаль, что мои последние письма вызвали у Вас неудовольствие. Правда, за самое последнее письмо я полностью не ручаюсь: оно писано не в легкую для меня полосу жизни и потом — поймите волнения автора, не имевшего возможности взглянуть на свою рукопись перед сдачей ее в набор... А впрочем, стоит ли выяснять отношения? Одно мне ясно: я очень ценю и люблю Вас и как человека, и как писателя, и мне не хотелось бы, чтобы Вы на меня были в обиде... Я хочу поблагодарить Вас за внимательное отношение к моей рукописи, за стилистические поправки, хотя некоторые сокращения вызывают у меня возражения... В цензурной правке есть некоторые переборы... Дорогой Ефим Яковлевич! Посмотрите еще раз так наз. „уязвимые“ места. Может, все-таки можно кое-что из них сохранить?»

Конечно, позиции Абрамова и Дороша в контексте работы над повестью коренным образом не могли не расходиться. Если Федор Александрович старался отстоять текст от чрезмерной редакторской правки, то Ефим Яковлевич, отлично понимая, что повесть привлечет весьма пристальное внимание цензоров, прежде всего пытался сохранить ее в «Новом мире», пусть и в несколько усеченном виде.

И все же это противоречие, возникшее между Абрамовым и редакцией «Нового мира», дало свои нежелательные плоды.

«Деревянные кони» могли быть вообще не напечатаны в «Новом мире» не только по прихоти цензуры, но, как это ни парадоксально звучит, и по решению самого Абрамова. Конфликт, разыгравшийся между Абрамовым и редакцией в январе 1970-го, чуть было не привел к тому, что повесть едва не была снята с набора и не возвращена автору.

Что стало причиной абрамовского негодования, доподлинно не известно. Возможно, недоверие к определенному ряду сотрудников редакции, по мнению Абрамова вторично не пропустивших в печать рассказы «Материнское сердце» и «Могила над крутояром», а может быть, и накопившаяся усталость ожидания публикации, подкрепленная нервозностью нездоровой ситуации вокруг «Нового мира». Да и отказ в публикации «Альки» сделал свое дело. Знал ли об этом конфликте Твардовский, мы не знаем. Но о том, что он имел место, говорит письмо Ефима Дороша Абрамову от 20 января 1970 года, сохранившееся в писательском архиве:

Возвращаю Вам «Материнское сердце», «Могила на крутояре», посылаю так же второй экземпляр «Из рассказов Олены Даниловны», может быть, вам пригодятся. Признаться, я не могу понять, почему тон Ваших последних писем столь нервен

и раздражителен. Что до этих двух рассказов, то Вам я и другие товарищи говорили, что они нам не подходят, и объясняли почему. Но Вы зачем-то снова дали их Александру Трифоновичу, хотя с нами как будто и не спорили. Далее, заявление Ваше относительно «Деревянных коней», что это первый вариант, прозвучало для меня, признаться, несколько неожиданно. Рассказ у нас довольно давно, причем сразу же Вам было заявлено, что он нам нравится, что мы постараемся его напечатать, и вдруг, когда рассказ в наборе, оказывается, что он недоработан. Не очень понравились мне слова — «оставляю за собой право». Это звучит как цитата из юридического документа, как заявление, так называют стороны. Мне кажется, что наш журнал, печатая роман, а затем «Пелагею», высказал в отношении Вас и Ваших работ и внимание, и заботу, и прямую заинтересованность в том, чтобы ничто не мешало читателям почувствовать всю силу правды, заключенной в Ваших произведениях. Право, мы не заслужили упреков в робости, и едва ли справедливо ставите нам в пример смелость «Советского писателя». Искренне уважающий Вас — Е. Дорош.

В итоге какими силами — мы не знаем, но конфликт был погашен. «Деревянные кони», как и обещал Твардовский, шли во втором номере новомирской книги, и Федор Александрович с нетерпением ждал выхода публикации.

Но февральский разгром редакции, когда из ее состава были выведены шесть человек, и последующий вынужденный уход Твардовского с поста главного редактора внесли свои коррективы в публикацию «Деревянных коней».

12 февраля Твардовский отправленным в секретариат правления Союза писателей СССР заявлением попросил снять его подпись как главного редактора с февральского номера журнала, что само по себе означало не только сложение с себя полномочий главного редактора, но и приостановление выхода в свет второго номера «Нового мира» за 1970 год.

О решении Твардовского оставить редакцию Абрамов узнал из телефонного разговора с Дементьевым уже 13 февраля.

Все случившееся с «Новым миром» для Федора Абрамова стало настоящим потрясением. «Нет, мы еще не отдаем себе отчета в том, что произошло, — запишет Абрамов в дневнике 15 февраля 1970 года. — Катастрофа! Землетрясение!» Разгром «Нового мира» он воспринял как личную трагедию.

Переживания о ситуации в «Новом мире», о Твардовском, о судьбе «Деревянных коней» — все тогда перемешалось в абрамовских думах. Он был готов ехать, бежать в столицу, неоднократно звонил Кондратьеву, Лакшину, Хитрову... И в конце концов, бросив все дела, вырвался к Твардовскому, но уже в Красную Пахру. Абрамов был одним из первых авторов «Нового мира», кто навестил Твардовского в самые трудные для него первые дни ухода из редакции, и он будет частым гостем в его доме все последующие месяцы жизни поэта.

В мартовском номере «Информационного бюллетеня Союза писателей СССР» за 1970 год была опубликована официальная информация об изменениях в составе редакции журнала «Новый мир», в которой, в частности, говорилось: «Секретариат Правления Союза писателей СССР удовлетворил просьбу А. Т. Твардовского — освободил его от обязанностей главного редактора журнала „Новый мир“.

Главным редактором журнала „Новый мир“ утвержден В. А. Косолапов».

Эпоха «Нового мира» Твардовского закончилась. Наступали новые времена.

А как же «Деревянные кони»?

О том, что повесть снята и не пойдет в февральском номере журнала, Абрамову скажет еще Твардовский на той встрече в Пахре в конце февраля. А в конце марта, при-

ехав в «Новый мир», Абрамов вновь погрузится в тягостную работу, ядовито навязанную цензурой, которой, как потом выяснится, и этого будет мало. Не только сцена раскулачивания, но и само словесное понятие этого действия были исключены из текста повести... без ведома автора. Абрамов узнает об этом только после того, как сам прочитает уже напечатанную в журнале повесть.

Реакция Абрамова на этот удар в спину была резкой. В отправленном в адрес Косолапова письме были не просто ноты негодования, а Абрамов умел высказаться весьма сурово, но и настроен на полный разрыв творческих отношений с редакцией. Понятно, что такое решение принималось Абрамовым спонтанно, на пике эмоционального всплеска, как безудержная ответная реакция на отношение не только к нему самому, но и в знак солидарности с Твардовским, да и, наверное, как памятка на отказ в публикации «Двух зим...» в «Роман-газете».

Право! Косолапов мог вполне не отвечать на это гневное абрамовское письмо. Но ответил. Почему? И ведь не просто ответил, а еще предложил Абрамову проанонсировать что-то новенькое на будущий 1971 год.

Вот это любопытное письмо:

27 мая 1970 года.

Уважаемый Федор Александрович!

В августовском номере «Нового мира» редакция будет, как обычно, публиковать перечень основных произведений, планируемых на 1971 год. Для коллектива редакции и для меня лично вы — желанный автор, давно полюбившийся читателям журнала. Думаю, что редакция вправе рассчитывать и впредь на Ваше сотрудничество. Хотелось бы получить от Вас сообщение о том, над чем Вы сейчас работаете и что можно анонсировать на 1971 год?

Теперь о Вашем письме об опечатках и искажениях в рассказе «Деревянные кони». Провел самое тщательное расследование. Дело в том, что я был в курсе дела только касательно замены слова «раскулачили» словом «обидели». Два других огреха явились для меня загадкой.

Что же выяснилось?

Фраза на стр. 84-й — «И вот сама сколько-то так пожила...» — именно в таком виде была набрана и никем, в том числе и автором, не правилась. Передо мной лежит сейчас экземпляр верстки, вычитанный и выправленный Вами, подписанный Е. Я. Дорошем и М. Н. Хитровым, экземпляр, с которого, корректора переносили всю авторскую и редакторскую правку.

Фраза на стр. 78-й исключена по вине корректоров журнала. Набрана она была так: «Всяко, думаю, не для того, что по грибы в первую ночь бегать ...» (К сожалению, Вы, вычитывая рассказ, также не обратили внимания на набранное «что» вместо «чтобы»). Затем следовал абзац: «Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошком». И вот эту фразу вы на полях верстки дополнили словами: «будто там каленое ядро разорвалось». И хоть Вы корректорским знаком правильно обозначили в какое место рассказа должны быть поставлены эти слова, корректора, перенося правку, всадили их в конец предыдущей фразы. Соответствующую беседу с корректорами я, разумеется, провел. Люди это опытные, добросовестные, давно работающие в «Новом мире». Но, как говорится, «и на старуху бывает проруха». Они очень переживают случившееся. Откровенно говоря, мне бы не хотелось наказывать их в административном порядке: я ведь понимаю, что работа над номером шла в обстановке довольно нервной, а рассказ ставился в номер дополнительно, на последнем этапе.

Что касается замены слова «раскулачили» словом «обидели», то сделано это было буквально перед самым матрицированием номера, и отнюдь не по моему желанию. Учитывая, что до этих слов идет текст — «Робила-робила — да ты виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да како-

во, говорит, людей под монастырь подвести»; учитывая также, что вслед за словами «— Каких людей? Разве кого обидели?» идет абзац: «Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал». А вы еще усилили этот абзац словами «но она сцепила зубы и надолго замолчала...» — учитывая все это, я дал согласие на замену слова.

Право же, читателю все абсолютно ясно! Единственно в чем винюсь — не заказал телефонного разговора с Ленинградом и не известил Вас о сложившейся ситуации: Вам и так мы немало нервы потрепали с «Деревянными конями».

Очень прошу принять извинения редакции и не настаивать на публикации Вашего письма. Во-первых, любой печатный орган делает это, откровенно говоря, всегда очень неохотно, лишь в самых крайних случаях. Во-вторых, если уж давать поправку, то немедленно, в следующем же номере журнала. А у нас положение сейчас такое: третий номер вышел, четвертый заматрицирован и печатается. Таким образом, читатель увидел бы эту поправку через несколько месяцев после публикации рассказа. Наконец, публикация исправлений повлекла бы за собой наказание виновных. А этого, повторюсь, мне не хотелось бы.

С искренним уважением и самыми добрыми пожеланиями. В. Косолапов.

Напряжение между Абрамовым и «Новым миром», к счастью для обеих сторон, было снято.

«Деревянные кони» с иллюстрациями Федора Мельникова, запланированные к выходу в свет отдельной книгой на 1970 год, появятся в «Советском писателе» лишь два года спустя. Литературовед Михаил Слонимский в своей внешней рецензии на сборник еще 30 декабря 1969 года напишет: «Все семь произведений, включенных в эту книгу (Абрамов впоследствии еще дополнил сборник, в который вошли „Пелагея“, „Деревянные кони“, „Жила-была семужка“, „Могила на крутояре“, „Из рассказов Олены Даниловны“, „Однажды осенью“. „Материнское сердце“, „Собачья гордость“, „Последняя охота“. — О. Т.), написаны превосходно. По богатству, красочности, меткости, выразительности языка мало кто может соревноваться с Ф. Абрамовым».

Академик Лихачев, одним из первых получивший от Абрамова «Деревянных коней», с восторгом ответит автору: «Дорогой Федор Александрович! Спасибо Вам большое за „Деревянных коней“. Очень ценю Вас. Всегда Ваш. Д. Лихачев 18.IX.72». И в конце письма приписка: «Пишу с завитушками, так как подарок всегда вызывает у меня праздничное настроение (так с детства)».

И надо же было тому случиться, что именно в этом високосном феврале, когда рухнул «Новый мир» Твардовского, Федору Абрамову исполнилось 50 лет.

Через десять лет, 25 августа 1980 года вологодский поэт Александр Романов по поводу своего полувекового юбилея напишет Федору Абрамову: «Пятьдесят лет даются человеку не зря: надо в эти годы доставать своим делом, как якорем, до незамутненных глубин родного слова, чтобы удержаться в русской поэзии». Прямо скажем, Абрамов же к своим 50 годам достиг больших глубин!

Писатель Юрий Бирман, обращаясь в письме 13 апреля 1970 года к Федору Александровичу и Людмиле Владимировне, писал: «Сегодня я узнал, что в этом году Феде исполнилось 50 лет... Итак, еще один мой старый знакомец перевалил за полвека. Шел он, как я понимаю, не всегда разбирая дорогу, било и трепало его сильно, но почти всегда он в главном был самим собой...».

Я вас обоих обнимаю и желаю хорошей и спокойно-беспокойной жизни, спокойной — без травли и трепки, беспокойной — чтобы все было интересно и ново, как „в первый день творения“».

А вообще, Абрамов не любил свои дни рождения, как, впрочем, праздники вообще. Еще в письме Щербакову 10 ноября 1967 года он открыто признавался: «Я ведь праздников не люблю. У меня какая-то тоска в праздники».

И если бы не друзья, знакомые, близкие люди, то и столь значимый для Федора Александровича юбилей наверняка прошел бы для него не замеченным, за письменным столом в маленькой комнатке комаровского Дома писателей, где он с осени усердно работал над новым третьим романом о жизни Пекашино, да в думах о «Новом мире», в котором он вновь почувствовал опору своему творчеству.

Скупая, равнодушная природа
Приветствует Вас раз в четыре года.
Исправим мы лукавый календарь!
Февраль мы подравняем под январь,
Разделим вместе это наваждение —
И будет праздник Вашего рожденья!

Не один, не два, а десятки подобных шуточных стихотворных экспромтов получил Федор Абрамов в день своего юбилея.

Но были среди них и такие, которые вновь и вновь заставляли переживать его новомирскую трагедию.

Вот Вам ручки именинные,
Пожелание — простое:
Повести писать предлинные,
Слово молвить золотое,
Золотое, по-таковски,
Чтоб печатал Вас Твардовский!

Тот, кто писал эти поздравительные строки, конечно же, не знал, что еще 20 февраля Твардовский последний раз переступил редакционный порог «Нового мира».

Из всех официальных изданий на юбилей Федора Абрамова откликнулась лишь «Литературка», поместив 11 марта небольшую заметку о писателе, украсив ее, видимо для солидности, фотографией юбиляра. Впрочем, для Абрамова и этого было достаточно. После всех тех перипетий, что произошли с ним на литературном поприще за последние несколько лет, он не ждал большего.

С юбилеем для Федора Абрамова началось еще одно, последнее, десятилетие его жизни. Как в житейском, так и в творческом плане оно не станет для него простым, но и не будет таким суровым, как предыдущее, и уж тем более таким несправедливо жестоким, как первые два с небольшим года 80-х. Оно определит новые горизонты его творчества, подарит Абрамова-прозаика театру, а его читателям новые бессмертные произведения. И в то же время заставит вновь и вновь тревожиться за судьбу России, за свой родной Север. Эти десять лет пройдут для Абрамова под знаком Государственной премии и романа «Дом», завершившего пряслинскую эпопею.

И вот уж совсем удивительно, не обласканный властями, а, наоборот, битый ими, не имевший никаких литературных наград, проработав в прозе всего лишь чуть больше одного десятилетия, к началу 70-х годов Федор Абрамов имел такой авторитет в писательском цехе, что не считаться с ним было просто нельзя. Его правдивое лите-

ратурное слово, подкрепленное искренней читательской благодарностью, было сильнее любого чиновничьего ранга, и это хорошо понимали те, кто стоял у руля Союза писателей. На приводимые им аргументы было тяжело отвечать, с ним было не просто спорить. Он всегда знал, о чем говорил, и в отстаивании правды, увы, не знал предела. Его боялись и уважали, порой сторонились, дабы не вызвать на себя гнев его разящего слова. Он не был изгоем в литературных кругах, но и не был приближенным к вершителям писательских судеб. У него была своя правда, непримиримая и бескомпромиссная.

8 июня 1970 года постановлением секретариата правления Союза писателей РСФСР Федора Абрамова вводят в состав совета правления СП РСФСР по русской прозе. Смысл этого назначения можно расценить по-разному: от полного творческого признания до нежелания союза больше держать Абрамова на длинном поводке. Гадать не будем, у каждого на этот счет могут быть свои мнения.

А вот как отнесся сам Федор Александрович к такому назначению? Был ли готов? И как принял его? Наверняка он бы больше возрадовался выходу в свет своей новой книги, чем записи в строй чиновников от литературы, ведь членство в совете обязывало ко многому, но не к самому главному — занятию литературой. А для Абрамова второе было куда важнее первого. Заседания, секретариаты, семинары... все то, от чего он ушел в конце 50-х, вернулось к нему, только в новом, несколько измененном виде.

Уже в ноябре этого года Федору Александровичу за активное проведение выездного секретариата СП РСФСР в Архангельске и Вологде председателем правления Сергеем Михалковым была вынесена благодарность. В этом же месяце как член совета по прозе он принимает активное участие в семинаре для писателей-очеркистов и публицистов, организованном секретариатом правления Союза писателей СССР в ознаменование подготовки к XXIV съезду КПСС. Абрамов тогда, отложив все свои дела, прожил больше двух недель в литинститутском общежитии на Добролюбова, отправляясь каждый день в Литинститут, как на работу.

Так случилось, что в год своего юбилея Федор Александрович обрел новый ленинградский адрес. Им стала квартира в доме № 58 на 3-й линии Васильевского острова, в которой в свое время больше тридцати лет прожил известный писатель-натуралист Виталий Валентинович Бианки. После его кончины в 1959 году квартиру распределили университетскому профессору Владимиру Владимировичу Мокринскому и его супруге — известному на всю страну геологу Ирме Эрнестовне Вальц. Именно она после смерти супруга в 1969 году и предложила Абрамову совершить весьма выгодный для обеих сторон квартирный обмен, который и произошел годом позже.

Это была весьма просторная трехкомнатная квартира с большой кухней на третьем этаже, выходящая всеми окнами на светлую сторону улицы 3-й линии. Федору Александровичу квартира очень понравилась. Под кабинет им была облюбована самая дальняя комната. А в первых двух устроили гостиную и кабинет Людмилы Владимировны. В свою очередь, кабинеты служили и спальнями.

Под занавес уходящего, юбилейного для Федора Абрамова года порадовал журнал «Советская литература», опубликовав в ноябрьском номере перевод рассказа «В Питер за сарафаном» на трех языках: английском, немецком, польском, а в декабрьском — на испанском.

2 июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за «заслуги в развитии советской культуры, литературы, искусства, активное участие в коммунистическом

воспитании трудящихся и успешное выполнение заданий пятилетнего плана» Федора Александровича наградили орденом «Знак Почета».

Для Федора Абрамова, в адрес произведений которого дважды принимались постановления ЦК, присуждение столь высокой государственной награды было чем-то особенным, противоестественным, больше похожим на преклонение колена самой властью перед его именем.

Никогда не страдавший головокружением от номенклатурных успехов и всякого рода назначений, Абрамов сдержанно отнесся к награде, а получив письмо М. Ф. Щербачева с поздравлениями на этот счет, взволнованно и резко ответил последнему: «13 сентября 1971 года. Федосеич, ты ли это? Неужели ты придаешь какое-то значение всей этой х... — и выборам в правление, и награждению орденами (да, да, меня наградили) и пр. и пр.? Нет, я думал, ты умнее.

В составе Правления сейчас что-то около 200 человек. Порядочно, верно? А писателей сколько там? А писателей пересчитаешь по пальцам. Вот тебе и цена всем почестям. Нет, друг мой, в литературе чины ерунда, в литературе книги имеют значение. Книги — и больше ничего!»

В этом абрамовском ответе не только его отношение к настоящей, подлинной литературе, но и к облику писателя, который так легко потерять, поддавшись всякого рода соблазнам. 1 ноября 1970 года он напишет тогда еще совсем молодой, но очень даровитой вологодской поэтессе Ольге Фокиной: «Одного боюсь: захвалят Вас, заласкают. Бойтесь этого как огня. Идите своей дорогой. Не изменяйте себе, слушайте своего внутреннего голоса. Только ему одному доверяйте. И, конечно, еще один совет: учитесь! Думайте, смелее думайте. Держитесь зубами за родную почву, но и охватывайте духовным взором всю страну. Помните: настоящая литература, да и вообще искусство — это всегда вызов. Вызов существующему, устоявшемуся. Вызов привычным представлениям». Это было не просто напутствие от Абрамова, в этой выраженной им мысли было его собственное видение творчества и отношение к нему самого писателя.

Весь 1971 год пройдет для Федора Абрамова без Пинежья. На родину он так и не выберется, не сумев выкроить в своем плотном графике пару-тройку безмятежных недель. Не принесла душевного спокойствия и сентябрьская поездка на воды в Кисловодск. «Кажется, немножко окреп, подлечился, — напишет он в письме Минину А. М. 16 октября 1971 года, — а вообще-то тоска смертная эти санатории. Я второй раз за свою жизнь был на курорте и второй раз волком выл. Ей-Богу!»

Он подолгу будет жить в Комарове, и его писательский стол, как и всегда, будет покрыт исписанными от руки листами бумаги.

В этот год он не единожды побывает за границей: в Румынии, Дании, Швеции, и откликом на его зарубежные поездки станут новые дневниковые записи.

Вообще все десятилетие 70-х будет наполнено для Абрамова многочисленными зарубежными поездками, когда творческими, а когда и просто экскурсионными. Нельзя сказать, что его так манила заграница и он был бы столь падок на такого рода поездки. Нет, Абрамов достаточно много ездил и по стране. И тем не менее Федор Александрович никогда не упускал возможности отправиться за рубеж. Для него это были не просто путешествия по миру с восторженным созерцанием красот, а сопоставление увиденного с тем, чем живет Россия. В какой бы из стран он бы ни был, с ним везде был его народ, его Россия. Однажды на вопрос племянника Владимира: «Дядя Федя, а зачем так много за границу ездешь?» — Абрамов ответил: «А оттуда все наши проблемы как в зеркале видны!»

1971 год выдался для Абрамова еще и напряженным в творческом плане. Пребывание в Комарове все же не давало оторванности от обыденного мира, да и его творческая атмосфера не была той деревенской, к которой очень тянулся Федор Александрович и которой ему постоянно не хватало в городе. За длительное время ленинградской жизни он так и не сделался горожанином до мозга костей, хотя внешне вполне походил на него. Город, давший ему образование, работу, возможность воплощения его литературных замыслов, не смог вытеснить из его сердца деревню, думы о которой были всегда с ним. И в этом смысле спасением для него стал небольшой домик давней знакомой Ирины Столяровой в деревне Опальнево на Ярославщине, в который он стал частенько наведываться, начиная со второй половины 60-х годов. Столярова была сотрудницей кафедры истории русской литературы Ленинградского университета, а в прошлом студенткой филфака, ученицей Абрамова. Ее отчий дом на Борисоглебщине приглянулся Федору Александровичу не только как место отдыха, но и как своеобразный уголок уединения, где ему неплохо работалось. Здесь, в Опальневе, в конце 60-х и родилась «Пелагея», а также некоторые главы будущего романа «Пути-перепутья». Тут весной 1970 года появилась на свет в своем последнем черновом варианте и многострадальная «Алька».

Еще почти год Абрамов будет работать над черновым вариантом повести, прежде чем в июле 1971 года отправит некогда отвергнутую «Новым миром» «Альку» в журнал «Наш современник», в котором повесть примут и почти сразу поставят в план январского номера 1972 года.

Конечно, это была уже не та «Алька», которую видел Твардовский.

После того как повесть была возвращена, Абрамов все последующие два года ее тщательно выправлял, вносил изменения и лишь за месяц до отправки текста в редакцию оформил ее в чистовой вариант. Все это время он упористо делил «Альку» с новым романом о Пряслиных, который планировал закончить к апрелю 1972 года.

Так «Алька» рождалась в третий, последний для себя раз. Пройдя период своего существования в контексте повести «На задворках», а потом и в той форме, от которой отвернулся «Новый мир», Абрамов все же смог придать повести уверенную самостоятельность, сумев сделать так, что «Пелагея» стала для «Альки» своеобразным фоном, благодаря которому образ главной героини повести Альки, ее помыслы, ее метания между городом и деревней высветились еще сильнее.

И тем не менее память о «Пелагее» крепко засела в «Альке». Она не только в образе самой главной героини, вернувшейся в родную деревню Летовку год спустя после смерти матери, но и в ностальгических воспоминаниях о детстве, в запахах листвы в лесу, в который она ходила с матерью по ягоды, в «паладьиной меже» — тропинке, что тянется от реки в деревню, по которой Пелагея каждый день проходила дважды (больше нее по этой тропке никто не хаживал, говорили в деревне), в материнском доме. Да и в Алькиных словах «Мама, я пришла» оживает образ Пелагеи. Воскрешается ее образ и в Алькиных упреках самой себе, что «город на мать променяла», и в слезах, что «текли по ее щекам», и в том, что Алька принялась убирать материнский дом и вдруг поняла — как хорошо «с утра топить печь, самой мыть полы, греть самовар... и ходить босиком по чистому, намытому полу!» И то, чем жила ее мать и от чего бежала сама Алька, вдруг стало ей близким и родным, и она даже решила вернуться в деревню и пойти работать дояркой.

Но как ни старался автор вернуть Альку в деревню, откуда ее корни, где могила матери, не удалось. Работа стюардессой куда престижней доярки, и Алька, приняв заманчивое предложение, собралась продать дом, решив навсегда порвать с Летовкой.

И вот когда повесть была уже в редакции, случилось то, чего вообще не могло быть. В процессе редакторской работы, во время пересылки Абрамову, гранки повести были безвозвратно утеряны.

Выяснилось случайно: молчание Абрамова по поводу возможных правок насторожило редакцию.

За полтора месяца до запланированной публикации «Альки», 12 ноября Федор Александрович вновь получает письмо из «Нашего современника», в котором содержится просьба срочно поднять копию набора повести и уже теперь ввиду нехватки времени разрешить все редакторские вопросы по телефону.

«Алька» вышла в назначенный срок. Спустя несколько месяцев ее публикация повторится в литературном сборнике «Сельские страницы» за 1972 год, что еще больше расширит читательскую географию.

Казалось бы, сюжет повести весьма прост, и тем не менее ни одна из повестей Абрамова не вызвала столько споров, сколько «Алька».

Спустя несколько лет критик В. Переведенцев в своей статье «Феномен Альки Амосовой», опубликованной в девятом номере журнала «Литературное обозрение» за 1975 год, назовет Альку «маргинальным человеком... который от села уже отстал, а к городу еще не пристал», и по-своему будет прав.

Сам же Абрамов нашел в образе Альки «самый распространенный, самый массовый тип нынешней молодежи — чувственный, эгоистичный, с ярко выраженными потребительскими запросами» (Федор Абрамов. «Так что же нам делать?». Из дневников, записных книжек, писем... Запись от 3 марта 1971 года).

И все же если в «Пелагее» для Альки «хлеб, которым жила Пелагея... не хлеб», «у девчонки иной аппетит», «не хлеб насущный занимает ее в жизни» и «память о матери нисколько не дорога ей» (по тексту статьи «По ткани повести. Заметки на полях новой книги», «Пинежская правда» от 23 августа 1969 года), то в «Альке» мы видим дочь Пелагеи совсем другой. И не Алькина в том вина, что она решается продать материнский дом и окончательно переехать в город. Именно такой воспитала ее мать! И не бесшабашность с распутностью движут ею, а слова матери: «Ладно, уж мы наработались, мы наломали спину, так пусть хоть дети наши проживут по-человечески». И Алька просто не желает повторять трудовой путь матери. И нелюбовь Альки к пекарне вовсе не олицетворяет ее нелюбовь к труду. Она очень трудолюбива и не раз это доказывала на деле. Просто она другая, и такой сделала ее мать.

В 1976 году в седьмом номере журнала «Литературное обозрение» была помещена статья Бориса Можая «Запах мяты и хлеб насущный», в которой, рассуждая о нравственном разрыве Пелагеи и Альки, автор приходит к выводу, что больше всего в этом виновата сама Пелагея: «Страсти ее честолюбия исключают давний крестьянский идеал — в поте лица своего добывая хлеб насущный. И ты, и дети твои, и внуки. Всем очерчен круг единый: жить в согласии и довольстве, но не в алчной зависти, не в жадности, а в умеренности. То, что для себя Пелагея считала еще законным, для дитя своего считала вовсе не обязательным. Погоня за достатком во имя того, чтобы освободить от тяжелого труда дочь, стала самоцелью». А в этом и есть яблоко раздора между матерью и выросшей дочерью, по-иному взглянувшей на жизнь, отодвинувшей от себя не только «ненавистную работу», но и все, что с ней связано. И что самое удивительное, Абрамов не осуждает Альку, хорошо понимая, что она является еще и заложником тех процессов урбанизации деревни, которые развернулись в конце 60-х годов. «Мы живем в век великого передвижения. Все сидели на своей земле — мои родители никуда не уезжали. А тут вся Россия пришла в движение. Вся Россия стала летать из конца в конец. Кто же сядет пассажиром в эти самолеты? Конечно же, молодежь садится прежде всего. Алька втянута в общий, в новый поток жизни, совершенно неизвестный для ее матери», — скажет Федор Абрамов об Альке в интервью корреспонденту журнала «Молодой коммунист» Г. Амбернади в 1976 году.

И все-таки в большинстве случаев читатели видели в главной героине повести именно отрицательного героя, ищущего легкой жизни.

С момента выхода повести не умолкала и критика: статьи Л. Мельницкой «Озиминка из этой озими» в «Правде Севера» и Феликса Кузнецова «Самая кровная связь» в «Литературной газете», В. Соколова «Недостаточность сердца» в «Юности» и И. Дедкова «Межа Пелагеи Амосовой» в «Новом мире»... Статьи были разные: хвалебные и бранные, уличающие в простоте и нераскрытии сюжета и, наоборот, поднимающие повесть в глазах читателей.

И тем не менее повесть была принята и критикой, и читателями, а ярким показателем этого будет ее скорое воплощение на театральных подмостках.

В декабре 1972 года за повести «Алька» и «Деревянные кони» Федор Абрамов был удостоен весьма необычной награды — читательской премии совхоза «Алеховщина», что находился в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Конкурс «Труженики земли», учрежденный Лодейнопольским городским комитетом КПСС, проводился среди предприятий Ленинграда и области и был посвящен 50-летию образования СССР, причем сезон 1972 года был уже третьим.

7 января 1973 года «Правда Севера» сообщала, что «рабочие совхоза „Алеховщина“ высоко оценили „Деревянные кони“ и повесть „Алька“, единодушно присудив писателю памятную награду», которой явился диплом первой степени.

По-доброму, с нескрываемым интересом была принята «Алька» и на родине писателя в Верколе. Не одно восторженное читательское письмо получил Федор Александрович с Пинежья, а 1 апреля 1974 года в Веркольском Доме культуры состоится большая читательская конференция по повестям «Пелагея» и «Алька».

Конечно, Федору Александровичу очень хотелось бы услышать мнение Твардовского о «новой» «Альке», но бывшему главреду «Нового мира» уже не суждено было узнать о ее публикации. Он умер у себя на даче месяцем раньше — 18 декабря 1971 года. Прощание в Московском Доме литераторов было людным. Абрамов не лез в кадр, не светился у гроба дорогого для него человека, не грохотал пламенными панихидными речами, как некоторые, использующие место у гроба в качестве трибуны. Он был в тиши, со своей душевной скорбью, трогательно простившись с усопшим еще накануне в траурном зале при больнице.

А вот вдова Твардовского в своем вышеупомянутом письме к Абрамову, пусть и вскользь, причем не читая самой повести, но коснулась и «Альки»: «С одного приступа (судя по отзыву, вещи я не читала) Альку Вы не покорили. Думаю, что это закономерно, но тема эта обязательно Вам покорится. Глубоко убеждена. Идете Вы, постепенно расширяя свою писательскую территорию. Алка — проблема новая, проблема не только самая современная, но, может быть, самая главная для нас сегодня, только не говорят и не пишут об этом. Обкатать эту тему, и не один раз — победа будет за Вами. М. Т.».

Что именно имела в виду под словом «не покорили», Мария Илларионовна в письме не пояснила.

К 230-летию Александра Грибоедова¹

Вячеслав ВЛАЩЕНКО

«БОГ ЗНАЕТ, В НЕМ КАКАЯ ТАЙНА СКРЫТА...»

(Новая интерпретация
образа Молчалина)

1.

В качестве эпиграфа к этой работе можно взять цитату из книги Т. Касаткиной, одного из самых глубоких современных исследователей творчества Достоевского: «...творение писателя уподобляется творению Господню, когда автор воспринимается как инструмент (Бога или стихий), и тогда интерпретатор приходит как полновластный исследователь <...> могущий открыть то, что было неведомо ни автору, ни читателям до него» [26:223].

В 1839 году восемнадцатилетний Достоевский в письме к своему брату Михаилу так определил высшую цель писателя, наделенного Божественным даром слова: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [19:XXVIII/1, 63].

Если художник слова всю жизнь разгадывает тайну человека, то литературовед-интерпретатор стремится постигнуть тайну литературного творения и его героев, **тайну художественного образа**, являющегося «важным средством познания человеком себя самого, мира и через это — Бога» (Л. Левшун). Радостное открытие новых смыслов в духовно-нравственном содержании классического произведения, возможное при-

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внеклассного чтения в старших классах» (Л., 1988), «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009), «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“» (СПб., 2014) и более 120 публикаций о русской литературе XIX—XX веков («Московский пушкинист», «Social Sciences», «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Русская словесность», «Литература», «Начальная школа» и др. издания). Лауреат премии журнала «Нева» (2018).

¹ Согласно новой «Летописи», наиболее вероятной датой рождения драматурга является 1790 год, а не 1795-й, как это долгое время официально было принято считать [35:20]. С. Фомичев в своей энциклопедии «Грибоедов» называет 1794 год [65:45].

ближение к той истине, которую только «Бог знает», создание ясной и непротиворечивой концепции «в контексте христианской традиции», «в контексте православного типа культуры» (И. Есаулов) и есть, в нашем понимании, высшая цель современного исследователя-интерпретатора, от которого требуется «духовное напряжение разума, сердца и воли», преодолевающее эгоистическое желание «заниматься собой, своей ролью в жизни» (А. Шмеман).

Автор данной статьи хорошо понимает большой риск быть не услышанным, не понятым конкретным читателем, «академическим» литературоведом, историком литературы, остро чувствует реальную опасность обреченности самой идеи новой интерпретации Молчалина, одного из героев «гениальнейшей русской драмы» (А. Блок), давно и, кажется, навсегда беспощадно судимого гордым Чацким и многими читателями, без права на помилование, на реабилитацию. Порой возникало сомнение в оправданности неизбежных затрат сил, времени, душевной энергии, так необходимых для того, чтобы еще успеть сказать, досказать главное — для себя открытое в русской классической литературе, радостно прочувствованное и осмысленное за годы напряженной творческой работы в школе и вузе, но в памяти возникали десятки умных детских лиц и внимательных, сочувственных глаз своих учеников-собеседников, еще сохранивших доброжелательное отношение к людям и внутреннюю свободу, способность удивляться и открывать новое, искреннее желание понять другого, чего так катастрофически не хватает многим взрослым людям.

Поэтому с необходимым чувством внутренней убежденности в том, что пишешь, когда сразу видны все возможные возражения, с надеждой, что получится не просто проходная «статья», но нечто заслуживающее внимания, мы все-таки начнем **диалог** с Автором и его текстом, существующими не только в конкретно-историческую эпоху, но и в «большом времени» (М. Бахтин), диалог с многочисленными критиками и исследователями комедии «Горе от ума», диалог с современным, самостоятельно мыслящим читателем, начнем рискованный эксперимент **литературоведческого анализа** пьесы Грибоедова для проверки своей **гипотезы**, помня, что даже отрицательный результат имеет определенный смысл. А по-новому вслушиваться, вчитываться в текст хрестоматийного произведения, «плыть против течения», разрушая принятые шаблоны и устойчивые стереотипы восприятия, споря с тем, что «видится закаменело, предвзято» (А. Солженицын), всегда намного труднее и требует значительных душевных и даже духовных усилий. И здесь надо жить по Евангелию: «...ищите, и обрящете; стучите, и вам отворят» (Мф. 7:7).

При этом очень важно не переходить границы того семантического поля (значительно более широкого в драме, чем в эпосе), в пределах которого объективно существует художественное произведение и вне которого в современной постмодернистской культуре действуют иные «законы», провозглашенные Роланом Бартом (1915–1980) и Жаком Дерида (1930–2004), — смерть Автора и принцип деконструкции текста.

В своем страстном монологе о любви, находящемся точно в центре текста пьесы Грибоедова (3 д., 1 явл.), Чацкий произносит очень важные слова и дает свое объяснение отношения Софьи к Молчалину:

Бог знает, в нем какая тайна скрыта;

Бог знает, за него что выдумали вы,

Чем голова его ввек не была набита.

Быть может, качеств ваших тьму,

Любуясь им, вы придали ему;

Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее.

Так есть ли **тайна** и скрытая глубина в **Молчалине**? Возможно ли по-новому прочесть, понять и объяснить этого для всех «простых» читателей, искушенных филологов, режиссеров и театральных критиков однозначно отрицательного героя в комедии Грибоедова, возможно ли увидеть в нем не «тип беспринципного российского чиновника» [Фомичев 64:246], не «вечный» социальный тип лжеца, «прислужника и подлеца», не безобразную **личину** (какую видит Чацкий, а вслед на нем и почти все читатели), но — живое человеческое **лицо**, многогранный характер, сложную личность? Почему «умному» Чацкому Софья предпочла «глупого» Молчалина? Прав ли А. Солженицын (1918—2008), утверждающий, что «чувство ее к Молчалину имеет духовную основу» [57:356]? По словам Б. Голлера, автора очень интересной статьи о пьесе Грибоедова, опубликованной еще в 1988 году, «София Грибоедова — главная загадка комедии» [15:100]; и, добавим мы, загадочна ее любовь к Молчалину, ее глубокое и искреннее чувство, через которое раскрывается ее душа и характер, ее внутренний мир и ее нравственный идеал.

Чем же является любовь Софьи — проявлением книжной мечты юности и романтической игрой в любовь, или «затмением» страстной и бунтующей молодости, или расчетливым выбором здравого смысла уже взрослого человека, или все-таки **мудрым прозрением** «умного сердца» и открытием образа Божия в другом человеке, его духовного **лика**, то есть скрытого, глубинного, идеального в человеке, каким **Бог его задумал**, что видит только истинно любящий, христианский взгляд? Какого же Молчалина полюбила Софья? Можно ли, не меняя в тексте пьесы ни одного слова, сыграть на сцене Молчалина, который несет в себе не просто какую-то загадку, но **тайну** человеческой души, подобно тому как в произведениях Достоевского не только главные герои, но даже второстепенные персонажи несут в себе тайну характера?

Казалось бы, о чем спорить, если сам Грибоедов в письме к своему другу, поэту и драматургу П. Катенину (1792—1853), отвечая на его критику пьесы, в январе 1825 года уже как будто объяснил и основной смысл произведения, и характеры главных героев:

Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас, грешных, был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек разумеется в противуречии с обществом <...> Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший и все повторяют <...> притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего сахара медовича [9:45].

Для многих историков литературы (для которых сущность академических исследований состоит в стремлении к максимальному постижению авторского замысла и авторской воли, выраженных в художественном произведении) в этом письме Грибоедова раскрывается объективный, единственно правильный смысл пьесы, и тогда произведение обретает статус классического литературного памятника, а все исследования становятся просто подтверждением и развитием объяснений автора или разнообразным комментарием, причем все другие трактовки как будто оказываются субъективными, искажающими ясно выраженную авторскую идею. На наш взгляд, в письме Грибоедова отражен всего лишь первоначальный **авторский замысел**, неизбежно претерпевающий значительные изменения в процессе длительной работы над текстом стихотворной комедии, в результате чего в художественных образах пьесы рождаются новые смыслы, которые не соответствуют или даже противоречат публицистическому объяснению драматургом своего произведения².

² Еще выдающийся филолог XIX века А. Потебня (1835—1891) утверждал: «Сущность, сила произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно»

Современному исследователю в своих интерпретациях совершенно необходимо учитывать, что есть **тайна вдохновения**, что часто «поэт не волен в своем творчестве» (Вл. Соловьев) и в значительной степени «творчество вырастает из бессознательных бездн» (К. Юнг), а **главный смысл** произведения подлинного художника раскрывается не в изначальных намерениях автора и не в «рецептивном отношении к уже созданному произведению» (М. Бахтин), но в глубинном, **подсознательном** творческом процессе, что и «прорывается в произведении помимо его воли и сознания» (М. Волошин), а созданное произведение уже не зависит от автора и в «большом времени» живет своей самостоятельной жизнью³.

В современной теории литературы доминирует понимание того, что **художественная идея** не вносится в произведение извне как заранее хорошо продуманная и рационально сформулированная мысль, но **рождается** в процессе творчества одновременно с рождением художественного слова и образа, а в стихотворном произведении — еще и с появлением новой **рифмы**⁴, преображающей авторский замысел. Поэтому необходимо критическое отношение исследователя к любым объяснениям автора, ибо, как отмечает Т. Касаткина, «произведение пишется не для того, чтобы изложить некоторую систему взглядов <...> но для того, чтобы создать мир, который может быть постигнут только в процессе его создания» [26:10].

В пьесе Грибоедова — три главных героя, и поэтому о Молчалине нельзя говорить отдельно, не соотнося его с Чацким и Софьей. В критике, литературоведении и в сценических постановках можно выделить по три основных трактовки образов Чацкого и Софьи, причем очень интересно посмотреть, как меняются формулировки критиков, современников Грибоедова, и исследователей уже следующих эпох.

Чацкий — это

1) «сумасброд, который находится в обществе людей совсем не глупых» [Дмитриев 9:50]; «просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит» [Белинский 9:98]; «истинно жалкое и смешное лицо» [Вяземский 13:238]; «комический герой» [Дубровин 19:73]; «разрушитель-демон <...> бунтарь-язычник» [Баженов 5:71, 80];

2) «умный, пылкий и добрый молодой человек, но не вовсе свободный от слабостей: в нем их две <...> заносчивость и нетерпеливость» [Сомов 9:54—55]; «точный портрет Грибоедова» [Веселовский 9:175]; «перед нами два Чацких: один <...> гордый, самолю-

но, в неисчерпаемом возможном его содержании. <...> Заслуга художника не в том minimum'e содержания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание» [53:167].

Ту же идею выразил и поэт М. Волошин (1877—1932): «Истинная ценность художественных произведений <...> кроется не в замысле, не в намерениях автора, а в том подсознательном творчестве, которое прорывается в произведении помимо его воли и сознания. <...> Вдохновение в высшем смысле этого слова это именно то, что раскрывается как откровение, по ту сторону идей и целей поэта. В каждом произведении ценно не то, что автор хотел сделать, а то, что сказалось против его воли» [12:290].

³ Ср. противоположные позиции крупнейших ученых XX века, представителя философской филологии М. Бахтина (1895—1975) и стиховеда, исследователя античной литературы М. Гаспарова (1935—2005), полагавшего, что научная точка зрения может быть только одна — «историческая»: «...произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени <...> обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания» [6:350]; «Филология призвана истолковать текст так, как его понимал создатель» [14:7].

⁴ Летом 1824 года Грибоедов, уезжая из Москвы в Петербург, в письме к своему ближайшему другу Степану Бегичеву (1785—1859) сообщает: «...представь себе, что я с лишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменял...» [16:263].

бивый насмешник <...> Другой — серьезный обличитель разных общественных недугов» [Котляревский 29:259]; «Чацкий незауряден острым умом, но незауряден и бессердечностью» [Солженицын 57:364]; «умный Чацкий оказался слеп и безрассуден» [Манн 42:161]; «колкость, язвительность, желчность, доходящие порой до бешенства, соединяются с веселостью, добродушием, внезапной мягкостью и даже нежностью» [Маркович 43:64]; «один из первых ярких героев темы „лишнего человека“ <...> в Чацком — на поверхности полнота жизни, по существу — пустота, одиночество» [Аникин 4:130, 131];

3) «единственное истинно героическое лицо нашей литературы» [Григорьев 9:114]; «вечный обличитель лжи <...> неизбежен при каждой смене одного века другим» [Гончаров 9:148]; «оскорбленный гений русского общества <...> самый героический и светлый тип в нашей литературе» [Меньшиков 9:215]; «рыцарь слова, человек отважной и честной речи» [Айхенвальд 2:53]; «мы воспринимаем Чацкого как декабриста» [Лотман 37:332]; «идеальная личность <...> проповедник божественной правды» [Шаврыгин 69:140]; «его образ выступает в плотном ореоле ассоциативно-сакральных мотивов <...> вместе с Чацким в этот дом приходит и день судный — точно так же, как и второе пришествие Логоса в некогда покинутый им земной мир приносит в этот мир день Страшного Суда» [Лебедева 34:389, 400—401]; «проницательный, глубокий и трезвый ум <...> оратор по лексике <...> проповедник по темпераменту, социальный реформатор по идеологии» [Мильдон 45:49, 53, 160].

Софья — это

1) «ничтожная и мелочная натура» [Григорьев 9:122]; «вопиющая безнравственность в комедии» [Вяземский 13:242]; «любовница лакея <...> вавилонская блудница» [Ильин 36:211, 212]; «оказывается плотью от плоти этого мира» [Фомичев 56:193]; «стремительно усваивает молчалинскую науку притворства и лжи» [Костелянец 28:43]; «главный представитель тьмы в комедии» [Лебедева 34:395]; «клеветница и сплетница» [Тамарченко 61:415]; «властолюбием и эгоизмом <...> заражена Софья» [Радомская 54:52]; «с первого своего появления на сцене лжет, обманывает отца <...> именно Софья станет источником лживой сплетни о сумасшествии Чацкого» [Богданова 7:37];

2) «смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота <...> в Софье Павловне <...> есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Ларину <...> есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума» [Гончаров 9:144, 145]; «В этой девушке большие запасы добра и любви. Ее жизнь — главным образом внутренняя (скрытая от нас автором)» [Солженицын 57:356]; «характер положительный <...> в диалоге с Лизой выявляются черты далеко не светлые: мелкое самолюбие, обидчивость и даже недалекий ум» [Медведева 44:12, 13]; «мечтательна и деловита, наивно непосредственна и расчетлива» [Лебедев 33:108]; «сочетание в натуре героини неподдельной искренности, душевности и использование лжи как тактического приема» [Шаврыгин 69:135]; «наиболее сложный портрет, характер пьесы» [Сухих 60:297];

3) «**мудрая христианка** с «созидательным началом», представитель мира «традиционного православия» [Баженов 5:41].

И только **Молчалин** практически всеми воспринимается как однозначно **отрицательный герой**, но все-таки и здесь выделяются две трактовки — глупого и ничтожного или хитрого и очень опасного человека:

«этот презренный Алексей Степанович <...> негодяй <...> глупый» [Ушаков 9:66, 67]; «низкий ползун, весь заключенный в ничтожные формы, льстец подлый и предатель коварный» [Полевой 9:82]; «проницательное бессловесное существо» [Меньшиков 9:204]; «молчащий идиот» [Розанов 9:231]; «нравственное и умственное ничтожество» [Бем 36:154]; «глуп, ограничен <...> мелкая душа» [Осоргина 36:18]; «бездушный глупый» [Осоргина 36:18];

пец» [Медведева 44:48]; «...он ничтожен, но он не хитрит, не интригует, он просто живет по отцовским заветам <...> Грибоедов разоблачает в нем <...> российскую государственную систему, которая охотнее выдвигает бесталанных прислужников, а не людей с умом и душой» [Цимбаева 67:30, 31]; «несомненно, Молчалин — подл; он воплощенные чиновного ничтожества» [Шаргунов 70:34]; «ограниченный человек без души, без сердца, без всяких человеческих потребностей, мерзавец, низкопоклонник, ползающая тварь <...> умен, как дьявол, когда дело идет о его личных выгодах» [Белинский 9:94, 101]; «особый цинизм, особое дьявольство Молчалина в его умении безукоризненно притворяться святым» [Достоевский 19:XXIV, 240]; «страшно талантлив своим подлым талантом подхалимства <...> виртуоз и в науке страсти нежной» [Яблоновский 9:243]; «деловит и расчетлив, обдуманно лжив <...> бессердечен» [Шаврыгин 69:133]; «гениально лжет» [Баженов 5:23]; «лжив вдвойне и втройне <...> лживы его ухаживания за Софьей <...> лжет, кажется, и Лизе...» [Богданова 7:37]; «грибоедовский хамелеон» [Сухих 60:296].

Издредка появлялись и другие суждения. Например, Пушкин в письме к А. Бестужеву замечает: «Молчалин не довольно резко подл» [9:60]. П. Вяземский (1792—1878) защищает Молчалина от обвинения в глупости: «...во всей своей роли Молчалин ни одною глупостью не проговаривается. Напротив, он оказывается человеком довольно благоразумным; он слабохарактерен, это правда: обстоятельства наложили на него узы зависимости перед окружающей его средою» [13:241].

А. Солженицын в своем эссе «Протеревши глаза» (1954) подчеркивает двойственность, противоречивость характера Молчалина: «...страшный человек, собранный в одну волю <...> штурмующий высоты богатства и знатности <...> Его любовь к Лизе заслуживает не меньшего, а большего уважения, чем любовь Чацкого к Софье <...> Сердце Молчалина — подлинная проблема пьесы» [57:358, 359].

О «многоплановой, даже объемной» характеристике Молчалина осторожно пишет петербургский литературовед В. Маркович (1936—2016): «...его притворство в отношениях с увлеченной своими мечтами Софьей не имеет „злодейского“ смысла: роль Молчалина в этом искусственном „романе“ — пассивная, почти подневольная и не слишком грешная <...> Молчалин по-своему неглуп, а в его смиренных ответах Чацкому можно заподозрить некоторую долю иронии» [43:64, 65].

И. Золотусский объясняет Молчалина «участью маленького человека»: «Для таких, как Молчалин, „умеренность и аккуратность“ — способ спасения, но не рассчитанная подлость, а „не смей свое суждение иметь“ — защита от сильных, наказ судьбы. <...> Молчалин и Скалозуб <...> оппозиция уму Чацкого. У него ум праздности, ум эгоизма, у них — ум выживания. Этот ум — удел не отдельных „гениев“, а ум большинства» [23:13].

Как часто в реальной жизни люди очень легко наклеивают простые и, кажется, очевидные ярлыки на другого человека и без особых сомнений судят его за действительные или на самом деле только мнимые ошибки, «пятна» и какие-то «падения» в конкретных ситуациях. Это так удобно и даже приятно для своего самолюбия, для успокоения собственной совести, для оправдания и прикрытия своих, конечно же, незначительных грехов и недостатков, отдельных неблагоприятных, но, кажется, вынужденных поступков. Как часто люди осуждают другого и легко оправдывают себя, забывая евангельскую истину: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).

2.

Выдающийся ученый XX века Ю. Лотман (1922—1993), литературовед, культуролог и семиотик, в своих многочисленных исследованиях в поисках истины иногда проводил неожиданные и смелые эксперименты: если допустить, что... то из этого предва-

рительного предположения вытекает следующее... И результаты оказывались логически убедительными и тщательно аргументированными. Попробуем и мы провести подобный исследовательский эксперимент, радостно погружаясь в текст произведения, перечитывая и переосмысляя «бессмертную комедию» Грибоедова, смиренно и благодарно по отношению к Автору.

Если в Софье⁵ мы, как и страстно влюбленный Чацкий, видим, прозреваем высокое, идеальное, «святое» («Лицо святейшей богомолки!»⁶), если мы Софью (а в православной культуре Софией именуют Премудрость Божию) вслед за А. Баженовым воспринимаем как «**мудрую христианку**», для которой **любовь** является высшей ценностью человеческого бытия («Да что мне до кого? до них? до всей вселенны?») и «доброта души» — самым ценным нравственным качеством, а любимый человек «дороже всех сокровищ», то тогда какими же в ее глазах и в нашем читательском восприятии предстают Чацкий и Молчалин?

Мудрость Софьи в отношении к Чацкому проявляется в понимании особой опасности **гордыни**⁷, внутреннего зла, в людях высших, людях идеи, обладающих незаурядным умом и талантом. Именно о подобном зле в своей книге о псалмах размышлял известный ирландский писатель, ученый и богослов К.-С. Льюис (1898—1963): «Повидимому, в мире нравственном есть правило: чем выше, тем опасней <...> именно из этих, „высших“, выходят **страшные, бесовские** люди <...> Безжалостным фанатиком становится не обыватель, а потенциальный святой. Тот, кто готов умереть за идею, готов за нее убивать. Чем больше ставка, тем больше искушение» [39:29—30].

Благодаря «уму сердца» Софья интуитивно предчувствует то, о чем уже в наше время написал выдающийся филолог С. Аверинцев (1937—2004): «Один из уроков, которые мы извлекаем из анализа тоталитарных безумств, состоит в том, что **безумством** оказывается всякая система рассуждений, когда она становится некритической по отношению к себе. В особенности для любого вида критицизма дело чести — трезвый взгляд на себя» [1:144].

Из четырех традиционных областей русского стиха — метрики, ритмики, строфики, рифмы — именно **рифма в стихотворной пьесе**⁸ наиболее значима и является одной из важнейших форм выражения художественной идеи и позиции Автора, который не тождествен биографическому автору произведения. Еще П. Вяземский в послании «К В. А. Жуковскому» (1819) ясно обозначил неизбежную антиномию «рифма—смысл»: «Ум говорит одно, а вздорщица свое». И Пушкин в своих стихах неоднократно писал о «звонкой рифме» («Разговор книгопродавца с поэтом», 1824), о «летучей рифме» («Прозаик и поэт», 1825), о «прислужнице странной» («Зима. Что делать нам в деревне?...», 1829), о «рифмах легких» («Осень», 1833) и посвятил рифме два стихотворения: «Рифма, звучная подруга...» (1828) и «Рифма» (1830). Особую роль рифмы в стихах подчеркивал Ю. Лотман⁹, а поэт Д. Самойлов (1920—1990) даже написал «Книгу о русской рифме», в которой, в частности, утверждает: «Рифма — не только звуковой

⁵ Т. Радомская утверждает: «Автор иронизирует, называя героиню таким именем. Ее смысленность, умение выкрутиться составляет фамусовскую земную мудрость. И эта мудрость посрамляется» [54:53].

⁶ А. Никин, А. Дубровин, В. Мильдон, Ю. Никишов, Т. Радомская видят в этих словах иронию, сарказм, дружескую насмешку Чацкого над Софьей.

⁷ «...Гордыня — это то, что из ангела света сделало дьявола. И там, где есть гордыня, там никогда не будет Христа» [Шмеман 73:677].

⁸ О. Меньшиков, поставивший «Горе от ума» в 1998 году, в одном из интервью говорит о том, что «видит в грибоедовской комедии не столько драматургический материал, сколько удивительную поэзию, пронизанную ощущением жизни» [68:192].

⁹ «Рифма играет в стихе особую роль: на рифму падает обычно смысловое и интонационное ударение, рифма в звуковом отношении представляет собой наиболее сильное место в стихе. Поэтому слова, стоящие в рифменном положении, как правило, — основные носители смысла» [38:816].

или ритмический элемент. Она — рычаг ассоциативного мышления <...> Рифма — возбудитель ассоциаций, катализатор поэтической мысли» [56:12].

Отрицательные черты сложного характера Чацкого (в котором соединяются несомненные достоинства и опасные пороки) раскрываются в пьесе Грибоедова, обладавшего абсолютным музыкальным слухом, в четырех **ключевых рифмах**: «*сокровищ — чудовищ*», «*дурацкий — Чацкий*», «*ума — чума*», «*смех — грех*», а также в словах Софьи: «*Не человек, змея!*» — и в высказывании самого Чацкого: «*Ум с сердцем не в ладу*». Голос Автора в «комедии в стихах», в отличие от «романа в стихах», не звучит отдельно и самостоятельно, а его позиция только угадывается как в целом произведении, так и в отдельных элементах текста.

Первая **символическая** рифма звучит в рассказе Софьи о своем необыкновенном сне: «*Он будто мне дороже всех сокровищ, / Хочу к нему — вы тащите с собой: / Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ!*» (1 д., 4 явл.)¹⁰.

Этот сон почти все исследователи считают «придуманным» [Пиксанов 52:270], «выдуманным от начала до конца» [Лебедева 34:403], «импровизацией» [Медведева 44:13] и даже «клеветой» [Строганов 59:62], для того чтобы обмануть встревоженного отца. С нашей точки зрения, Софья ничего не выдумывала, но ей действительно приснился этот сон (естественно, не в эту ночь, проведенную с Молчалиным за игрой на фортепиано и флейте, а в одну из предыдущих¹¹), поистине **пророческий, вещий сон**, в котором она ищет спасительную, чудодейственную «*траву*» и смысл которого необходимо понять исследователю¹². Такой сон в пьесе Грибоедова может служить ключом, открывающим читателю тайну души и загадку характеров главных героев.

«*Сокровище*» для Софьи — это «*милый*» и «*умный*», но «*робкий*» и «*бедный*» Молчалин, его «*добрая душа*» (Мф. 6:21: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»), а «*чудовище*» — это еще не появившийся в доме Фамусова Чацкий, который грозное «*гоненье на Москву*» сразу начнет с едких насмешек над «*батюшкой*», «*дядюшкой*» и «*тетушкой*» Софьи, над всей ее родней и общими знакомыми («*Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен*»), что будет воспринято Софьей как бездушные светские сплетни («*Вот вас бы с тетушкой свести, / Чтоб всех знакомых перечесть*»; 1 д., 7 явл.)¹³. Интересно, если бы отец Чацкого (близкий друг Фамусова, в доме которого и вырос сирота) был жив, то гордый, принципиальный и умный сын пощадил бы его в своей резкой, обличительной критике и беспощадном суде над всеми? Вряд ли. А закончит «сплетник» Чацкий ядовитым высмеиванием Молчалина, любимого Софьей.

Еще не осознавая этого, еще до появления Чацкого Софья как будто с нарастающей тревогой предчувствует, что главная опасность для нее и Молчалина, для их любви («*А горе ждет из-за угла*») будет исходить именно от Чацкого, который, узнав их «*тайну*», не пощадит никого. Не случайно после первого же очень неприятного для Софьи разговора с «ядовитым» Чацким она говорит отцу: «*Ах, батюшка, сон в руку*» (1 д., 8 явл.). Это значит, что сон действительно сбылся, ожидаемая опасность стала реальностью и теперь необходимо защищать и любимого человека, и свою любовь¹⁴.

¹⁰ В ранней редакции (Музейный автограф) была другая рифма: «*побоищ — чудовищ*» [16:135].

¹¹ Впервые это предположение высказала поэтесса И. Гриневская в статье «Оклеветанная девушка» (1901).

¹² Называя сон вымышленным, Л. Хихадзе в то же время психологически точно объясняет предпосылки для реального сна: «...этот сон свидетельство постоянно травмирующей девушку ситуации ежечасного ожидания беды, подавляемого страха, под гнетом которого она живет» [66:78–79].

¹³ И. Гриневская, Ю. Айхенвальд, М. Нечкина предположили, что Софья продолжает любить Чацкого.

¹⁴ Подробнее о символическом смысле сна Софьи см. нашу статью в журнале «Литература в школе» (2007. № 9).

И Фамусов, всерьез обеспокоенный за дочь и тоже чувствующий приближающуюся опасность («Да, дурен сон...»; «Бывают странны сны...»; «Проклятый сон»), два раза повторяет слова Софьи: «сон в руку». Финальный в пьесе монолог потрясенного и взбешенного Чацкого («Не знаю, как в себе я бешенство умерил!»; 4 д., 13 явл.) будет звучать для Софьи действительно как «стон, рев, хохот, свист» из ее пророческого сна.

А впервые в пьесе имя Чацкого произносит верная служанка Софьи Лиза, которая сравнивает его со Скалозубом и противопоставляет их, используя точную **рифму**: «Да-с, так сказать речист, а больно **не хитер**; / Но будь военный, будь он статский, / Кто так чувствителен, и весел, и **остер**, / Как Александр Андреич Чацкий!» (1 д., 5 явл.).

Но как будет ясно из дальнейшего текста пьесы, **амбивалентная** рифма не только **противопоставляет**, но и на нравственном уровне в определенной степени **уравнивает** для Софьи «речистого» Скалозуба (о котором она говорит: «Мне все равно, что за него, что в воду») и «красноречивого» Чацкого («Остер, умен, красноречив») как отвергнутых ею возможных женихов. С нашей точки зрения, прав Белинский, в статье 1839 года утверждающий: «Скалозуб острит, да еще как! — точь-в-точь как Чацкий» [9:111]. И действительно, насмешливый рассказ Скалозуба о княгине Ласовой по остроумию не уступает безжалостным остротам Чацкого.

Во втором действии определенное сходство между Скалозубом и Чацким проявляется и на уровне отдельных высказываний (Скалозуб: «Довольно счастлив я в товарищах моих»; Софья о Чацком: «В друзьях особенно счастлив...»), и в своем отношении к беде другого — падению Молчалина с лошади, в отсутствии малейшего сочувствия к нему (Скалозуб: «Поводья затянул. Ну жалкий же ездок. / Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?»; Чацкий: «Пускай себе сломил бы шею, / Вас чуть было не уморил»). А Лиза прямо ставит в один ряд Чацкого и Скалозуба как в равной мере опасных для репутации Софьи: «На смех, того гляди, подымет Чацкий вас; / И Скалозуб, как свой хохол закрутит, / Расскажет обморок, прибавит сто прикрас; / Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит!» (2 д., 11 явл.).

Чацкий на сцене впервые появляется на комической звонкой рифме «**дурацкий** — **Чацкий**»¹⁵ и вызывает у читателей ироничную улыбку; и это сразу позволяет предположить, что очевидный для многих комизм заложен в ядро характера, что в Чацком наряду с высоким и трагическим началом много и «*дурацкого*», смешного, нелепого, комического, что уже отмечали многие исследователи.

Лиза

Простите, право, как Бог свят,
Хотела я, чтоб этот **смех дурацкий**
Вас несколько развеселить помог.

Явление 6

София, Лиза, Слуга, за ним Чацкий.

Слуга

К вам Александр Андреич **Чацкий**.
(*Уходит.*)

¹⁵ Эту рифму В. Маркович объясняет «комедийной художественной стихией» и утверждает: «...смех не изменяет нашей позиции или оценки благородного героя» [43:82, 83]. М. Строганов здесь видит «эхо сплетни», рождающейся в результате «романтического конфликта героя и толпы»: «То, что ему суждено, сказала рифма. Рифма — эхо сплетни. Это еще не завязка комедии. Это вся история в свернутом виде. Но клевета еще не пущена, сплетня еще спит» [59:61]. Комментарий Ю. Никишова: «Она означает, что герой, чистый, человечный, прибыл в мир **дурацкий**, где ему обеспечен только «миллион терзаний»; рифма сулит драму герою, но нисколько не роняет его» [50:63].

Если в стихотворном тексте пьесы особое значение имеет рифма, то в сценическом воплощении комедии решающую роль всегда играют **интонация** и **пауза**¹⁶. Именно благодаря интонации актера и своевременной паузе одни и те же слова могут нести совершенно разный, а порой и противоположный смысл.

Разоблачающую «высокого героя» рифму «**дурацкий — Чацкий**» можно спрятать от зрителя, нивелировать ее воздействие благодаря нейтральному произнесению стихов и значительной паузе между словами Лизы и слуги, как будто подчеркнутой сменой явлений¹⁷, а можно выделить, акцентировать на ней внимание, чтобы рифма зазвучала как колокол, усилить ее воздействие тревожной музыкой и многократным затихающим повтором (использовать эффект эхо: «*дурацкий — Чацкий, дурацкий — Чацкий*»...) и таким образом, как прожектором, осветить ярким светом трагикомическую фигуру Чацкого, что подтвердится уже его первыми словами и авторской ремаркой, комическим и сумбурным переплетением ног и рук: «*Чуть свет уж на **ногах!** и я у ваших **ног.** (С жаром целует **руку**)*».

Что в этих словах проявляется — самоирония Чацкого или ироничное отношение автора к своему герою? Способен ли Чацкий посмотреть на себя со стороны, посмеяться и над собой? Замечает ли он сам, как комично, например, звучат его слова, когда он говорит о своей страстной любви к Софье: «*Велите ж мне в огонь: пойду как на обед*»¹⁸ Так могли сказать Скалозуб или Фамусов, для которых «любовь» и «обед» как будто ценностные слова одного ряда. А как многозначно звучат слова Чацкого из его первого страстного монолога: «*И растерялся весь, и падал сколько раз — / И вот за подвиги награда!*» (1 д., 7 явл.). В его многократных беспощадных насмешках над другими людьми можно видеть постоянные нравственные «падения», а в его гордыне — скрытое духовное падение.

Следующая символическая рифма снова появляется в словах Софьи, сравнивающей антиподов Молчалина и Чацкого: «*Конечно, нет в нем этого **ума**, / Что гений для иных, а для иных **чума**, / Который скор, блестящ и скоро опротивит...*» (3 д., 1 явл.).

Мудрость Софьи в отношении к Чацкому проявляется в понимании того, что умный и талантливый человек, если в нем нет «*доброты души*» и способности к состраданию, жалости, милосердию («*В презренье к людям так нескрыту*»), если он «*об себе задумал так высоко*», становится очень опасным для окружающих, подобно ядовитой змее («*Не человек, змея*») или «*чудовищу*»; в понимании того, что ум в сочетании с гордыней, с презрением к людям хуже «*чумы*», что «ум без любви <...> разрушителен (ибо жалит, казнит, насмехается) и бесплоден» [Золотусский 23:13].

Наконец, в тексте, в словах старухи Хлестовой, занимающей особое место среди гостей Фамусова, появляется «нравственная» рифма: «**смех — грех**».

Ну? а что нашел смешного?
Чему он рад? Какой тут **смех**?
Над старостью смеяться **грех**.

¹⁶ «Пауза — это перерыв, тишина. Неподвижность. <...> Паузу нужно вовремя начать и вовремя выйти из нее, и время здесь измеряется не минутами и не секундами, а иной мерой — интуитивным ощущением сценического ритма. <...> От неподвижности актера зритель начинает внутренне действовать за него. Пробуждается его мысль, его фантазия. <...> сохраняется и растет внутреннее напряжение. <...> И когда в прекрасном спектакле наступает пауза, все — и тот, кто играет, и тот, кто смотрит, объединяются в удивительном творческом усилии — постижении истины театром и домысливают то, чего не выразишь словами» [Юрский 74:98–99, 101, 106].

¹⁷ По мнению Б. Томашевского (1890–1957), «совершенно недопустимо приглушение рифмы в произнесении стиха „Горя от ума“» [63:178].

¹⁸ Т. Радомская эти слова объясняет «привычкой к остроумию» [54:56].

Я помню, ты дитей с ним часто танцевала,
Я за уши его дирала, только мало. (3 д., 10 явл.)

Хлестова — это тетушка Софьи, уже старая женщина, которая, приняв приглашение Фамусова, с большим трудом добирается до его дома («*Мученье! / Час битый ехала с Покровки, силы нет...*») и сразу проявляет заботу о крепостной служанке и собачке («*От скуки я взяла с собой / Арапку-девку да собачку; / Вели их накормить ужю, дружок мой...*»)¹⁹. После первых же правдивых слов о Загорецком («*Лгунишка он, картежник, вор*») она начинает его, «*мастера услужить*», искренне хвалить и благодарить за услуги («*дай Бог ему здоровье!*»), а Чацкий тут же над ней откровенно и громко смеется. И старуха Хлестова не оскорблена, не возмущена этим смехом, а всего лишь как мудрый старый человек признает и свою вину за детское воспитание и такое бестактное, вызывающее поведение взрослого «*весельчака*»: «*Я за уши его дирала, только мало*».

Оказывается, умный и образованный Чацкий не понимает такой простой истины: нельзя, грех, преступно смеяться над старыми людьми, над своими близкими, безнравственно так зло смеяться над другим человеком. Мы особенно понимаем, как беспощадно и жестоко высмеивает Чацкий Молчалина («*Ведь нынче любят бессловесных*»), если учитываем комментарий С. Фомичева: «...в грибоедовское время это слово употреблялось в значении „тварь, неразумное животное“» [64:105]. В таком смехе проявляется «духовное калечество», «духовный вывих» человека, если использовать слова философа Н. Бердяева (1874—1948) из его работы «Духи русской революции» (1918).

Смех бывает очень разным: есть **детский** радостный и беззаботный смех от непосредственного ощущения счастья просто жить в этом чудесном и удивительном мире, в мире божественной природной красоты, когда сама жизнь бессознательно воспринимается как Божий дар; есть, казалось бы, беспричинный **девичий** смех, но это радостный смех от глубинного предчувствия неперменного счастья любви, от надежды и веры в чудо «алых парусов»; а есть **взрослый** — «*дурацкий*» — смех над другими людьми, ядовитый смех над их слабостями, недостатками и ошибками, смех над их «*пятнами*» и над их «*уродством*».

Когда В. Розанов (1856—1919) в одной из своих многочисленных статей о Гоголе заметил, что «Христос никогда не смеялся», то он имел в виду прежде всего ядовитый смех над людьми. Безудержно над всем смеется только дьявол. По словам известного пушкиниста В. Непомнящего, «сатана хохочет потому, что падший мир смешон — ибо он есть профанация Божьего замысла о мире; сатана хохочет над „кривой рожей“ со- вращенного, соблазненного им человеческого мира» [48:191].

Чацкий как будто в значительной степени уподобляется злему мальчику Каю, герою сказки Г.-Х. Андерсена (1805—1875) «Снежная королева», которому в сердце и в глаз попали осколки дьявольского зеркала, и он все стал видеть в искаженном, смешном и страшном виде.

В III действии пьесы в доме Фамусова появляется пародийный двойник Чацкого — гордая и злая графиня-внучка Хрюмина, которая сама едко посмеивается и над ним («*Мсье Чацкий! вы в Москве! как были, все такие? <...> Вернулись холостые?*»; 3 д., 8 явл.),

¹⁹ Н. Пиксанов (1878—1969) особенно отмечает «красочный язык» Хлестовой: «Замечательно выдержан стиль речей Хлестовой. Кажется, из всех персонажей комедии тетка Софья говорит самым выдержанным, самым красочным языком. Здесь все характерно, все глубоко правдиво, слово здесь является тончайшим покровом, отображающим все линии мысли и эмоции; ни формальные требования стиха, ни условности литературного стиля не властны над речью Хлестовой. Ни разу здесь не прозвучит фальшь, не почувствуется искусственность...» [52:167].

и над другими людьми («Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать! / Какие-то уроды с того света, / И не с кем говорить, и не с кем танцевать»; 4 д., 1 явл.).

О ней княгиня Тугоуховская говорит так: «Вот нас честит! / Вот первая, и нас за никого считает! / Зла, в девках целый век, уж Бог ее простит» (3 д., 8 явл.). Знаменательно, что эта княгиня, имеющая шесть дочерей, которых уже пора и необходимо выдать замуж, проявляет здесь милосердие и выражает **христианский взгляд** на обогранных людей, которые, по словам Л. Толстого, «очень несчастны, не зная радости доброго расположения духа, и поэтому надо не сердиться на них, а жалеть их» [62:140].

У нашего читателя-оппонента естественно может возникнуть вопрос: как «мудрость» Софьи согласуется с ее «сознательной мстостью» (Ю. Манн), с ее «чудовищной клеветой» (А. Ранчин), с ее мстительной «сплетней» о сумасшествии Чацкого²⁰. Но и здесь гениальный текст Грибоедова можно интерпретировать совершенно иначе и найти разумное объяснение в границах предложенной нами концепции всего произведения.

Софья, обладающая «умом сердца», понимает или интуитивно чувствует, что безмерную **гордыню** Чацкого, делающую его ядовитой «змеей», «чудовищем», наконец, просто «смешным» (Чацкий: «Я сам? не правда ли, смешон?»; Софья: «Да! грозный взгляд и резкий тон, / И этих в вас особенностей бездна; / А над собой гроза куда не бесполезна»; 3 д., 1 явл.), можно **победить** только **смехом**, и дает ему поучительный урок: «А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, / Угодно ль на себе примерить?» (3 д., 14 явл.). В этом проявляется ее стремление не отомстить ему, а **вылечить** безумного гордеца, чего желает ему и старуха Хлестова: «Так Бог ему судил; а впрочем, / Полечат, вылечат авось» (4 д., 8 явл.). А последние в пьесе слова Хлестовой, обращенные к пародийному двойнику Чацкого — Репетилову («Прощайте, батюшка; пора перебеситься»), можно переадресовать и к «безумному» Чацкому.

По мнению А. Солженицына, «Софья вынуждена обороняться! <...> Из этой ее обороны и рождается в разговоре с N (и то рождается наполовину, как бы непреднамеренно, произвольно) слух о сумасшествии Чацкого, уже больше договоренный господами N, D и Загорецким. Софья не имела плана злословия» [57:356].

И представители «фамусовского общества» (люди совсем не глупые, собравшиеся в доме отца Софьи хорошо провести время, потанцевать, повеселиться, умеющие посмеяться и над собой²¹) начинают забавную **игру**, артистически весело и по-детски непосредственно обыгрывают «сплетню» о сумасшествии Чацкого, перебрасываясь смешными репликами, как мячом в детской игре: «По матери пошел, по Анне Алексевне; / Покойница с ума сходила восемь раз» (Фамусов) — «На свете дивные бывают при-

²⁰ Приведем некоторые типичные высказывания литературоведов: слова Молчалина («Ах! злые языки страшнее пистолета») «Софья в третьем действии возьмет на вооружение и пустит в ход свою сплетню. Тогда станет ясно, что уроки Молчалина Софья усвоила не только усердно, но и творчески <...> она предстает агрессивной сторонницей определенной жизненной программы: молчалинско-фамусовской» [Костелянец 28:47, 48]; «Кульминация сюжета — объявление Чацкого сумасшедшим <...> Чацкий оказывается в роли шута<...> а Софья — в роли клеветницы и сплетницы. Между тем персонажи, вполне совпадающие с нормами того мира, в котором происходит действие, — чуть ли не все сплошь сплетники, клеветники и шуты» [Тамарченко 61: 415].

²¹ Ср. с режиссерской интерпретацией Г. Товстоногова (1915—1989) в спектакле БДТ, поставленном в 1962 году: «Скалозуб в исполнении В. Кузнецова <...> все делает несерьезно. У него умные смеющиеся глаза. Он <...> просто иронический человек, который пародирует солдафонство и словно предлагает Чацкому, Фамусову и Софье весело посмеяться вместе с ним над людьми подобного типа. <...> След за Софьей из лагеря заклятых врагов Чацкого режиссер увел и Фамусова <...> очень милый и приятный светский человек <...> терпимый, добродушный <...> Молчалин, Фамусов, Скалозуб <...> реплики подают в манере тонкой иронии <...> Молчалин <...> иронизирует над самим собой, вернее, над маской угодника, которую он вынужден носить» [Алперс 3:318, 319].

ключенья! / В его лета с ума прыгнул! / Чай, пил не по летам» (Хлестова) — «О! верно...» (Княгиня) — «Без сомненья» (Графиня-внучка) — «Шампанское стаканами тянул» (Хлестова) — «Бутылками-с, и пребольшими» (Наталья Дмитриевна) — «Нет-с, бочками сороковыми» (Загорецкий) (3 д., 21 явл.)²². «Не смех, а явно злость» и «нелепость глупцов» в этой яркой мизансцене видят только те читатели и критики, которые на все смотрят глазами Чацкого и вместе с ним готовы беспощадно обвинять и судить других людей, весь мир²³.

Несмотря на все свои недостатки, «пятна» и пороки, некоторые представители этого общества (в которых Чацкий видит «мучителей толпу», «в вражде неутомимых») в самом важном оказываются выше «обличителя лжи» — в способности к состраданию, жалости, милосердию, и этим они выражают **христианский** взгляд на людей²⁴: «Жаль, очень жаль, он малый с головой / И славно пишет, переводит. / Нельзя не пожалеть, что с таким умом...» (Фамусов; 2 д., 4 явл.)²⁵; «Жалели вас» (Молчалин; 3 д., 3 явл.); «А Чацкого мне жаль. / По-христиански так, он жалости достоин» (Хлестова; 3 д., 19 явл.); «Ах! Чацкий! бедный! вот!» (Репетилов; 4 д., 8 явл.). Для Чацкого слова Фамусова о жалости к нему унизительны, оскорбительны, но искренняя человеческая жалость есть проявление доброты, любви, а унизительна она только для гордых людей, которые высокомерно презирают других и зачастую сами подменяют это понятие и выражают свое мнимое превосходство «жалостью». Многие исследователи в словах Хлестовой видят только лицемерие²⁶, но затем она проявляет христианскую доброту и к Молчалину: «Молчалин, вот чуланчик твой, / Не нужны проводы; поди, Господь с тобой» (4 д., 8 явл.).

В пьесе в обращении к другому совсем не случайно в фамусовском обществе многократно звучат такие слова, как «друг» (26 раз), «брат» (20) и «братец» (8).

Действительно, в значительной степени «безумным» («Безумный! что он тут за чепуху молот!») выглядит заключительный страстный монолог Чацкого, в котором выражена не просто «желчь» и «досада», но «слепая» и «грозная» ненависть и к Софье («...с вами я горжусь своим разрывом»), и к московскому обществу, в котором продолжается настоящее «гоненье на Москву», монолог, который (если вспомнить последние слова Репетилова: «Пооди, сажай меня в карету, / Вези куда-нибудь») заканчивается так трагикомически: «Вон из Москвы! сюда я больше не ездук, / Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, / Где оскорбленному есть чувству уголок!.. / Карету мне, карету!»

²² Ср. с противоположным восприятием: «...нечто огромное, многоликое, непреодолимое, страшное в своей порочности и безумии <...> обрушится всюю своею массою на врага — на того единственного, в ком есть живой разум и кого преследуют потому с лютою злобой, беспощадно» [Маймин 40:157]; «...комедийное действие в пьесе Грибоедова выливается в клеветническое судилище своекорыстного общества над подлинным умом» [Фомичев 64:102].

²³ Например, В. Ильин (1891–1974) называет объявление Чацкого сумасшедшим его «духовным убийством, которое ближе всего походит на отравление» [36:213].

²⁴ По мнению С. Васильева, «одним из устойчивых в произведении является мотив христианского милосердия, связанный с исполнением важнейшей заповеди о любви к ближнему (Мф. 22:39)» [8:22].

²⁵ Интересно о «тайне» Фамусова пишет Б. Голлер: «...он ставит свой опыт на Чацком! Начинает испытывать Чацкого. На роль вполне определенную: жениха собственной дочери. <...> Фамусов — бывший бунтовщик! Только тот, что смирился <...> Он поддразнивает Чацкого, провоцируя его. <...> Вот — тайна Фамусова! Вот почему он испытывает Чацкого рассказами про Максима Петровича! <...> Это — насмешка — в том числе и над собой. Старого фрондера, который смирился <...> И теперь он, Фамусов, стоит в растерянности — перед бунтовщиком нового времени» [15:122, 127, 12].

²⁶ Например, М. Дунаев [21:145], а И. Сухих безоговорочно утверждает: «Старуха Хлестова — злобная сплетница, подхватывающая клевету...» [60:292].

Драма Чацкого — это драма умного человека с обозленной душой, омраченной опаснейшим пороком — гордыней²⁷, которая рождается в человеке в отрочестве (как показал Л. Толстой в своей «автобиографической трилогии»). И если человек не осознает в себе этот порок, не стремится его преодолеть, то, «отпущенный на волю», он грозит гибелью душе, несмотря на все ее «прекрасные порывы»: **«Ум с сердцем не в ладу»**.

Ум, направленный только на критику, обличение и разрушение, сам становится «бездуховным и бессердечным» (И. Ильин) и представляет собой величайшую опасность для самого человека. Именно о подобных борцах со злом написал в своем «Дневнике» прот. А. Шмеман: «...борьба со злом — при полном отсутствии идеи или видения того добра, во имя которого борьба ведется <...> становится самоцелью. А борьба как самоцель неизбежно сама становится злом. Мир полон злых борцов со злом!» [72:426]. Как отметил И. Золотусский, «гордость ума — вот „болезнь“ Чацкого. И — болезнь века. <...> сумасшествие Чацкого не помешательство, а болезнь разрыва между словом и делом» [23:13].

В этом смысле Чацкий стоит в одном ряду таких героев русской литературы, как «нравственный калека» Печорин, «самоломанный», Базаров, «ужасно гордый» Раскольников, для которого человек есть «вошь», «тварь дрожащая», или лирический герой в ранней лирике Маяковского с его «святой злобой» «ко всему», для которого «нет людей», а есть «образины» и «толпа <...> стоглавая вошь». В основе мироощущения этих героев лежит идея безбожия, безверия, отражающая «всемирно-исторический кризис религиозного мирозерцания» (И. Виноградов). Ум в сочетании с гордыней приводит этих героев к внутреннему расколу, к трагическому конфликту между сознанием, идеей и сердцем, душой, нравственной природой человека: **«Ум с сердцем не в ладу»**²⁸.

В образе Чацкого можно увидеть русского интеллигента XIX века, человека, который, по словам историка В. Ключевского (1841—1911), «утратил прежнее смирение и возгордился», который «из скромной и трудолюбивой пчелы превратился в кичливого празднословия, исполненного «фразерства и гордыни», проникнутого нехристианской нетерпимостью» [27:302, 303].

Погибнет ли Чацкий, подобно Печорину и Базарову, или сможет измениться, прозреть, возродиться к жизни, как Раскольников с его «великой грустью» и «скорбью», благодаря которым он смог проделать мучительный путь от «злобного презрения» и «глубочайшего омерзения», от «гордости сатанинской» к «бесконечной любви» к людям? Финал пьесы Грибоедова остается открытым, но «миллион терзаний» Чацкого и его страдания оставляют на это надежду, о чем говорит и сама фамилия «Чацкий», имеющая разные значения: и «чад», и «чаять», то есть надеяться.

Читателю оставлена надежда на то, что на смену нетерпеливой, бунтующей молодости к Чацкому придет мудрая зрелость с ее «духом смирения, терпения любви» (если вспомнить Пушкина), когда человек находит наслаждение в творческом труде, в мысли и страданиях («Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»), когда главной опорой

²⁷ По словам А. Моторина, «гордое игнорирование ума, утверждение своего умственного превосходства — вот истинная страсть Чацкого» [46:35].

²⁸ Совершенно иначе эти слова Чацкого понимают В. Мильдон («Ум прав, а в сердце досада <...> человек не весь помещается в уме, потому с ним не ладит сердце» [45:51]), М. Строганов («Здесь бытовое представление о влюбленном, как о безумце, есть результат приземления рационалистически понятого ума, рассудка — силы регулирующей, рационалистичной, и любви — силы иррационалистичной, неурегулированной. <...> сердце (Эрот) и ум (Рассудок) дают ему разные ответы. Но Чацкий проговаривает здесь формулу, которую пристрастное прочтение может истолковать и как знак сумасшествия. Чацкий, оказывается, сам на себя наговаривает. Стоит только этой формуле отделиться от Чацкого — и клевета готова» [59:61—62]), А. Ранчин («Суть дела не в ущербности ума, а в слепоте сердца...» [55:179]).

в жизни становятся семья и созидающий труд, когда любовь, деятельное служение отчизне и духовная жизнь сливаются в одно гармоническое целое.

Прозрение и спасение Чацкого возможно, если на смену гордыне к нему придет смирение как основная христианская добродетель, признание своего несовершенства и своей недостаточности; если на смену гневу придут грусть, «способность к истинной любви того, кому страдаешь», и скорбь, «способность прощать того, кого готов обвинять» (В. Ключевский); если он встанет на путь покаяния, которым только и возможно всякое исцеление и воскресение, если он проделает духовный путь от просветительского материализма и атеизма к христианству, как прошел этот путь автор «Горя от ума» Грибоедов, который, как утверждает П. Струве (1898—1985), «не просто рассчитался с увлечениями молодости и отделался от них. Он испытал целый душевный переворот, из которого вышел не только закаленным, но и очищенным. Его воля овладела страстями, подчинившись высшему началу — религии. Его честолюбие из узкого себялюбивого чувства и неосмысленной бытовой привычки среды превратилось в настоящее патриотическое горение» [36:59].

3.

Почему же Софья полюбила Молчалина? В критической литературе и в литературоведческих работах о пьесе Грибоедова мы найдем этому несколько разных объяснений.

Одни исследователи видят главную причину в самой Софье: в ее **воспитании** и житейской неопытности, в сильном влиянии на нее французских сентиментальных романов [Осоргина 36:189; Петров 51:38; Медведева 44:11; Доризо 18:80; Дунаев 21:167; Степанов 58:106; Мильдон 45:48; Кунарев 31:163; Фомичев 65:329]; или в ее давней **обиде** на Чацкого за его неожиданный отъезд из Москвы три года тому назад, в «оскорбленном чувстве», в любви как будто ему «назло», в «подсознательном споре с Чацким» [Айхенвальд 2:51; Хихадзе 66:77; Ищук-Фадеева 24:10]; или в ее скрытом стремлении **к власти** в любви и в будущей семье [Гончаров 9:145; Тынянов 9:328; Радомская 54:51—52]. Видимо, все это в разной степени действительно повлияло на выбор Софьи.

По мнению других исследователей, решающую роль здесь сыграли **хитрость** Молчалина и его умение, настоящее искусство лгать и притворяться [Ушаков 9:66; Котляревский 29:246; Меньшиков 9:205; Кошелев 30:189; Баженов 5:123], а также, возможно, его **красивая внешность** [Андреевский 9:221; Дубровин 20:63], его «слащавая красота» [Цимбаева 67:123].

Б. Голлер, отмечая, что «любовь, если она истинная, по самой природе своей — необъяснимое чувство», утверждает: «Как бы мы ни пытались объяснить любовь Софьи к Молчалину, Софья — единственный человек в пьесе, кто понимает мучительное положение Молчалина в доме и в обществе, собирающемся здесь, и от всей души сочувствует ему» [15:109, 113]. Но, может быть, добавим мы, это сочувствие и женская жалость к «робкому» и «бедному» Молчалину, даже **материнская жалость**, и является одним из главных источников ее любви.

Как показывает русская классическая литература, именно материнская жалость, «богородичное» чувство, а не «безумная», демоническая страсть определяет ядро истинной, а не эгоистической женской любви. В этом ее мудрость, ее идеальность. Это христианское чувство, подобное целебной «траве» на «цветистом лугу», которую Софья искала в своем вещем сне, защищает и спасает любимого человека от зла внешнего мира, где так много несправедливости и жестокости, где другой человек может обернуться «ядовитой змеей» или «безумным чудовищем»; это христианское чувство спасает и защищает любимого человека и от внутреннего зла, греховных страстей

и пороков, грозящих уничтожением райского состояния «доброй души» и воцарением в душе настоящего «ада», дьявольским торжеством.

Отношение Софьи к Чацкому за три года значительно изменилось, и для этого было несколько причин. Прежде всего отметим сильную детскую обиду: ему стало «скучно» с ней («...но потом / Он съехал, уж у нас ему казалось скучно, / И редко посещал наш дом»), а затем он и совсем уехал («Охота странствовать напала на него»). Эгоистическая любовь Чацкого, исключая глубокое понимание души другого человека и несущая не светлую радость, а острую душевную боль, видимо, нанесла Софье серьезную психическую травму, требующую спасительного исцеления. И сон Софьи отражает чудесное преобразование внутреннего мира женской души.

И сама Софья изменилась, изменилось ее отношение к людям, к миру. Прошел возраст милых забав, веселых шуток, беззаботного смеха; прошло детское время, когда ей нравилось вместе с остроумным Чацким смеяться над другими, да и прежний смех Чацкого, видимо, все-таки был веселым, а не злым («Он славно / Пересмеять умеет всех, / Болтает, шутит, мне забавно»; 1 д., 5 явл.).

Само страстное чувство внезапно вернувшегося Чацкого («с жаром целует руку») вызывает у Софьи сомнения, холодность, даже неприязнь. Оно быстро может пройти, сгореть. Оно делает Чацкого слишком говорливым, дерзким, бесцеремонным («Не влюблены ли вы? прошу мне дать ответ / Без думы, полноте смущаться»). Софья по темпераменту другая, более спокойная, созерцательная и в любви ищет не «ветер, бурю», грозящие неизбежными «падениями», а внутреннее спокойствие, душевную гармонию («Ни беспокойства, ни сомненья...»). В душе Софьи живет чистое и поэтическое чувство влюбленности в Молчалина, когда «застенчивость, несмелость» любимого человека так естественна и приятна, когда вполне достаточно простого и нежного прикосновения к руке, когда ночь так быстро и незаметно пролетает за игрой на «фортепьяно с флейтой» («Забылись музыкой, и время шло так плавно»).

Выскажем принципиально важное предположение. В Молчалине действительно были все те качества, о которых говорит влюбленная Софья: «умен, / Но робок» (1 д., 4 явл.); «Молчалин за других себя забыть готов, / Враг дерзости, — всегда застенчиво, несмело...» (1 д., 5 явл.); «дружбу всех он в доме приобрел: / При батюшке три года служит, / Тот часто без толку сердит, / А он безмолвием его обезоружит, / От доброты души простит» (3 д., 1 явл.). И она вполне разумно сама объясняет свою любовь:

Чудеснейшего свойства
Он наконец: уступчив, скромн, тих,
В лице ни тени беспокойства,
Ина душе проступков никаких,
Чужих и вкривь и вкось не рубит, —
Вот я за что его люблю.

Софья действительно видит в Молчалине человека, искреннего²⁹ в своей доброте, «праведника», в котором, по словам А. Баженова, воплотился ее «нравственный идеал — идеал, по сути, христианский, с его смирением, самоуничижением, любовью

²⁹ Е. Цимбаева объясняет искренность Молчалина по-другому: «...молчаливые юноши грибоедовской поры часто бывали искренни. Они искренне полагали важным в начале карьеры не иметь своего мнения ни о чем, чтобы легче впитывать мнение вышестоящих и, следовательно, более опытных особ; ни в коем случае им не противоречить, потому что те лучше знают служебную жизнь; быть со всеми в приятных отношениях, потому что в юности трудно решить верно, кто хорош, кто нет, оказывать всем небольшие услуги <...> Они искренне считали, что их долг молчать, слушать, слушаться» [67:31].

к ближнему и готовностью ради ближнего жертвовать собой <...> и нежеланием судить других» [5:19].

Для Софьи самое ценное качество в человеке — это **«доброта души»**. Именно это она сразу почувствовала, увидела в Молчалине: *«Вдруг милый человек, один из тех, кого мы / Увидим — будто век знакомы...»* (1 д., 4 явл.). Именно «доброта души» роднит Софью с Молчалиным: *«...можно доброй быть ко всем и без разбору»*. Вот с позиции этой идеи мы теперь и должны понять и объяснить в пьесе все слова и поступки избранника Софьи, должны осмыслить «сквозное действие образа» (если использовать терминологию К. Станиславского).

Молчалин, один из трех главных героев пьесы, всего произносит 54 реплики (соответственно по действиям: 5, 11, 24, 14), причем ключевыми являются два развернутых высказывания Молчалина в диалоге с Лизой (10 строк в 12-м явлении II действия и 13 строк в 12-м явлении IV действия). Последовательно проследим весь «путь» героя в его словах и поступках.

Впервые в пьесе Молчалин появляется в 4-м явлении I действия (когда Фамусов неожиданно для себя застаёт рано утром в гостиной Софью и своего секретаря) и произносит четыре коротких реплики: *«Я-с»*; *«Сейчас с прогулки»*; *«Я слышал голос ваш»*; *«С бумагами-с»* — и одну реплику, состоящую из трех стихов: *«Я только нес их для доклада, / Что в ход нельзя пустить без справок, без иных, / Противуречья есть, и многое не дельно»*.

Как эти слова (в соответствии со сверхзадачей героя) может произнести актер, исполняющий роль Молчалина, с какой интонацией и какой смысл тогда увидит в них зритель?

Прежде всего с чувством своей **вины** и перед Софьей, которую не любит, но боится обидеть и поэтому вынужден приходить на ночные свидания (именно она выбрала его, а он ни одного слова любви не произносит), и перед Фамусовым, своим благодетелем, которому он честно служит и искренне благодарен за то, что тот взял его на службу в Москву из «глуши», из Твери (*«Дал чин асессора и взял в секретари»*), и которого вынужден обманывать (другого выхода он просто не видит).

Наконец, с чувством **собственного достоинства** (а не лакейской угодливости), которое внешне проявляется в сдержанных движениях, в открытом взгляде и любезной улыбке. Именно такого Молчалина и могла полюбить Софья. И по мнению А. Дубровина, «в Молчалине полностью отсутствует лакейское подобоострастие» [20:64].

Из II действия со слов Скалозуба мы узнаем о падении Молчалина с лошади: *«Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, / А лошадь на дыбы, / Он об землю и прямо в темя»*. Это является предвестием его «падения» в заключительной мизансцене пьесы. Кроме того, нравственно-символический смысл этого падения заключается в ложном поведении Молчалина по отношению к Софье: он не может, не смеет, боится сказать Софье о своей нелюбви к ней и любви к ее служанке Лизе и вынужден играть роль влюбленного, тем самым обманывая Софью. Этот вынужденный обман и является первым «падением» Молчалина.

Во II действии Молчалин произносит 11 реплик в трех явлениях, причем в единственной реплике 9-го явления прямо выражено его **чувство вины** перед Софьей: *«Я вас перепугал, простите ради Бога»*. Видимо, именно это чувство к Софье доминирует в душе Молчалина. В 11-м явлении пять коротких реплик Молчалина в разговоре с Софьей отражают его стремление успокоить напуганную Софью (*«Платком перевязал, не больно мне с тех пор»*), отражают его опасение за нее и за себя из-за слишком открытого проявления ею своих чувств к нему (*«Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны»*; *«Не повредила бы нам откровенность эта»*), его понимание того, что наибольшая угроза исходит прежде всего от «красноречивого» Чацкого (*«Ах! злые языки*

страшнее пистолета»), наконец, его искреннее смирение перед Софьей («Я вам советовать не смею»).

А в 12-м явлении в диалоге с Лизой, когда Молчалин вдруг преображается и открыто проявляет свои чувства («Веселое создание ты! живое!»; «Какое личико твое! / Как я тебя люблю»), особое значение имеет высказывание Молчалина о подарках:

Есть у меня вещицы три:
 Есть туалет, прехитрая работа —
 Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри,
 Кругом все прорезь, позолота;
 Подушечки, из бисера узор;
 И перламутровый прибор —
 Игольничек и ножинки, как милы!
 Жемчужинки, растертые в белила!
 Помада есть для губ, и для других причин,
 С духами сткляночки: резеда и жасмин.

Обычно исследователи видят здесь только стремление Молчалина обольстить Лизу: «...он пытается соблазнить ее невесть где приобретенными подарками, расписывая их, словно приказчик галантерейной лавки» [67:30]. Но совершенно иной смысл приобретают слова Молчалина, если учитывать исторический комментарий современно-го культуролога А. Дубровина: «Трудно судить, насколько серьезны его намерения по отношению к Лизе, но подарок, который он обещает ей сделать, традиционно считался предсвадебным. Обычай дарить именно такой подарок накануне свадьбы записал в XVII веке Адам Олеарий. Во времена Грибоедова об этом же писал и П. П. Свиньин, встречавший его в местностях по верхнему течению Волги. Любовно описывая предметы подарка („ножички“, „жемчужинки“), Молчалин, тверской житель, делает своей избраннице по сути дела **предложение руки и сердца**» [20:88]³⁰.

Можно предположить, что бедный дворянин Молчалин из Твери, провинциал невысокого происхождения, полюбив Лизу, крепостную служанку Фамусова, удивительно жизнерадостную и остроумную девушку, действительно в какой-то момент был способен ради нее, ради возможного семейного счастья с ней отказаться от своей мечты о будущей карьере и богатстве и был искренен в своем обещании: «Я правду всю тебе открою» (2 д., 12 явл.).

В III действии 22 реплики (из 24-х) Молчалин произносит в диалоге с Чацким, в очень трудной для него ситуации. Как ему вести себя с человеком высокомерным, открыто выражающим свое презрение к собеседнику? Молчалин предельно сдержан («По-прежнему-с»; «День за день, нынче, как вчера»), скромно и трезво оценивает свои «таланты» («Умеренность и аккуратность»), которые действительно являются очень важными для чиновника, и чем выше ранг, тем ценнее становятся эти качества.

Отметим, что Молчалин, коллежский асессор, то есть чиновник 8-го класса, держится достойно и при этом еще как будто «дразнит» гордого и высокомерного Чацкого: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь...»; «Ведь надобно ж зависеть от других...»; «В чинах мы меньших». По словам А. Баженова, «с Чацким он разыгрыва-

³⁰ Культуролог И. Манкевич вслед за историком Е. Цимбаевой, но не ссылаясь на нее, дает другой комментарий к этому фрагменту пьесы: «...худородность генеалогического древа Молчалина <...> с головой выдают костюмно-парфюмерные аксессуары, которыми он пытается соблазнить служанку Софьи Лизу <...> Подобный приступ „галантерейной“ нежности в отношении крепостной девушки <...> свидетельствовал о лакейском воспитании провинциала Молчалина...» [41: 240].

ет роль того, кого хочет видеть в нем Чацкий (малоумный низкопоклонник, лишенный всякой самостоятельности)» [5:20]. Иначе играет эту сцену К. Лавров: «Чацкий, уверенный в своем уме и в ничтожестве Молчалина, острит, иронизирует и оскорбляет своего бывшего приятеля. Молчалин <...> слишком дальновиден и умен, чтобы обращать внимание на словесные эскапады Чацкого и обижаться на них. Спокойно, терпеливо он пытается помочь Чацкому, объяснить ему, как надо жить. Но это бесполезно. В самомнении и запальчивости, так свойственной молодости, Чацкий не способен внять трезвому голосу рассудка» [32:46–47].

В этом разговоре неожиданно обнаруживается сходство Молчалина с Лизой в отношении к Чацкому: **доброта** и **жалость** (Лиза: «Слезами обливался, / Я помню, бедный, он, как с вами расставался»; 1 д., 5 явл.; Молчалин: «Жалели вас»; 3 д., 3 явл.) и одновременно **проницательное** отношение (Лиза: «Где носится? в каких краях? / Лечился, говорят, на кислых он водах, / Не от болезни, чай, от скуки, — повольнее»; 1 д., 5 явл.).

Из последнего в пьесе диалога Молчалина с Лизой мы узнаем о том, на что он дальше надеется. Он уверен, что чувство Софьи к нему со временем пройдет: «Любила Чацкого когда-то, / Меня разлюбит, как его». И он готов ждать, когда это произойдет, когда он окажется свободным («Поди, / Надежды много впереди, / Без свадьбы время проволочим»). Он любит только Лизу, которой говорит правду и действительно ей открывает свою душу («Да что? открыть ли душу?»), что является убедительным доказательством искренности его чувства: «**Мой ангельчик**, желал бы вполнине / К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе; / Да нет, как ни твержу себе, / Готовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну» (4 д., 12 явл.).

Может быть, косвенным подтверждением этой искренности и любви Молчалина к Лизе может послужить удивительное совпадение: Грибоедов в последнем перед трагической гибелью письме к своей юной жене, письме, написанном 24 декабря 1828 года, с тревожным предчувствием и чувством бесконечной любви, жалости, нежности и грусти обращается к ней буквально теми же словами: «**ангельчик мой**».

Оказывается, вот в чем главная причина сдержанности и «робости» Молчалина во время его ночных свиданий с Софьей («Возьмет он руку, к сердцу жмет, / Из глубины души вздохнет, / Ни слова вольного, и так вся ночь проходит, / Рука с рукой, и глаз с меня не сводит»; 1 д., 6 явл.). И можно предположить, что отсутствие любви к Софье является главной причиной, почему Молчалин не собирается на ней жениться («Дай Бог ей век прожить богато...»). Можно сказать, что Молчалин, как и Евгений Онегин во время первого свидания с Татьяной, проявляет истинное «благородство» и не желает воспользоваться неопытностью девушки в выгодной для себя ситуации, но в отличие от Онегина не может прямо объясниться с Софьей, рискуя потерять все: и любимую Лизу, и положение в доме, и надежду на счастливое будущее.

Но почему же Софья еще раньше, до подслушанного разговора Молчалина с Лизой, не чувствует, не понимает, что ее избранник не любит ее?

Видимо, доброе отношение и искреннюю жалость Молчалина она принимает за ответное чувство, за любовь. Именно «доброту души», христианское отношение к другому, желание сделать что-нибудь приятное каждому, а не лакейское подбострастие можно увидеть в слове «угождать», в таком, казалось бы, саморазоблачающем высказывании Молчалина о «завещании» отца: «Мне завещал отец: / Во-первых, угождать всем людям без изъятия...» Слово «угожденье» еще раньше в своем страстном монологе, обращенном к Софье, произносит и Чацкий: «Чтоб мыслям были всем, и всем его делам / Душою — вы, вам угожденье?» Но если Чацкий в Москве любит только Софью и готов «угождать», делать добро только ей, то Молчалин проявляет искреннее и доброе отношение ко «всем людям без изъятия».

«Угождение», согласно «Полному церковно-славянскому словарю», является христианской добродетелью, а «угодник» есть праведник, служитель Богу и служитель людям [22:749]. Таким образом, в «завещании» отца Молчалина можно увидеть отражение христианского воспитания, требующего смирения и подавления в себе всяких проявлений гордости и высокомерия, чрезвычайно опасных для человеческой души.

Неожиданным комментарием к поведению Молчалина могут послужить «Записки» Екатерины II (1729–1796). Современный историк А. Каменский приводит важные для нашей работы фрагменты из этих «Записок», в которых рассказано, как принцесса из небольшого немецкого княжества, будучи невестой наследника престола (будущая русская императрица, которая провозгласит Россию «европейской державой» и будет 34 года разумно ею править), уже в 15-летнем возрасте самостоятельно установила для себя обязательные правила поведения:

Вот рассуждение, или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидела, что твердо основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу <...> поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность — все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 г. <...> Этот план в конце концов сложился в моей голове в пятнадцатилетнем возрасте, без чьего-либо участия, и самое большое, что я могу сказать, так это то, что он был следствием моего воспитания; но если я должна сказать искренно, что я думаю, то я смотрю на него, как на плод моего ума и моей души <...> И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы об их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености молодых людей, сама спрашивала их советы в разных делах и потом искренне их благодарила. Я узнала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разлилась по всей России [24:31, 32, 33].

Автор исторического исследования прямо проводит аналогию с грибоедовским героем и в результате приходит к следующему выводу:

Неужели Екатерина — это просто Молчалин в короне, Молчалин, которого мы привыкли считать ничтожеством? Но ведь если вчитаться в текст «Горя от ума», то обнаружится, что и Молчалин, в сущности, не так уж ничтожен. Он, быть может, и есть как раз самый умный и одновременно самый опасный из персонажей знаменитой комедии <...> Но почему же тогда Екатерина так смело выставляет напоказ свой цинизм и даже как будто щеголяет им? <...> дело, видимо, в том, что Екатерине, как и вообще людям ее поколения, подобная откровенность вовсе не резала слух, не казалась чрезмерной и циничной, для них она была нормальной [25:33, 34].

Легче всего в таком поведении Екатерины и Молчалина, людей незнатного происхождения, увидеть откровенный цинизм и только продуманный расчет, гораздо труднее обнаружить высокий христианский смысл в таком угождении, понять, что эти правила поведения успешно помогают преодолеть и победить в себе низкие и опасные чувства (гордыню и высокомерие, зависть и раздражение, обиду и недовольство другими, стремление к полной власти над ближними) и естественно связаны с душой и характером человека, искренне стремящегося по-христиански относиться к людям.

Именно **смирение** как важнейшая христианская добродетель является главным противоядием **гордыне**, самому опасному человеческому пороку. Кроме того, в таком стремлении «угождать» может бессознательно проявляться та «детская беспредельная потребность в любви», которую отмечает в ребенке Л. Толстой (вспомним Николеньку в повести «Детство»). Это естественное детское желание всех любить и быть любимым всеми. Стремление быть добрым, любить весь мир и чувствовать к себе доброе отношение других в разной степени сохраняется и у многих взрослых людей.

Подобная аналогия Молчалина с Екатериной позволяет увидеть в герое Грибоедова не столько расчетливый и откровенный цинизм, сколько задатки такого целеустремленного политического деятеля, который будет честно служить России и противостоять «обличителям» и «разрушителям» империи, разного рода «бесам» будущей революции, ставшей «**чумой**» XX века³¹.

Но вернемся к тексту пьесы, к точке кульминации в линии Молчалина. После гневных слов Софьи, подслушавшей разговор Молчалина с Лизой, следует самая главная, авторская, разоблачающая Молчалина ремарка: «*ползает у ног ее*». Из 210 ремарок (как подсчитал Н. Пиксанов) это самая тенденциозная ремарка в пьесе, отражающая прямое вторжение автора в текст произведения и прямо воздействующая на оценку Молчалина читателем. Эта ремарка и слова Софьи — «*Не подличайте, встаньте*» — как будто перечеркивают, отменяют нами предложенную интерпретацию Молчалина. Слово «*ползает*» прежде всего раскрывает сознательный **замысел автора** изобразить «**подлеца**», но многозначный текст произведения, в определенной степени «выросший из бессознательных бездн» и ставший результатом «подсознательного творчества», допускает появление иных трактовок образа Молчалина.

Режиссер спектакля все-таки может изменить ремарку и сделать так, что в этой мизансцене Молчалин просто встает на колени перед Софьей и смиренно принимает ее суд. Но литературовед не имеет права на эту «деконструкцию» текста и должен так или иначе объяснить разоблачительную авторскую ремарку. Ведь здесь мгновенно в Молчалине исчезает, гаснет лик человека, искажается человеческое лицо и проступает страшная личина.

В нашей интерпретации Молчалин — добрый человек, но далеко не идеальный герой, со своими «пятнами», ошибками и падениями. И у него бывают минуты досады и раздражения. Именно в такую минуту он говорит Лизе о Софье: «*Пойдем любовь делить плачевной нашей крали*». И в последней сцене несомненно его **нравственное падение** (предвестием чего как будто является реальное падение Молчалина с лошади), которое можно объяснить его внезапным **потрясением**, «затмением» человека, вдруг, кажется, потерявшего все, что имел.

Однако христианский взгляд на человека предполагает и после нравственного падения и временной духовной смерти возможность его **воскресения**, если он осознает свою вину, покается, со смирением примет заслуженное наказание, страданиями и молитвами очистит свою душу от греха. Последние слова Молчалина в пьесе — «*Как*

³¹ Нам близка позиция писателя Б. Ширяева (1889—1959), высказанная в статье «Карета Чацкого (1949): «На две половины раскола многогранная, глубоко национальная творческая личность А. С. Грибоедова. В одной половине жил трудоспособный, действенный Молчалин, он сумел равно ужиться и стать необходимым и „просвещенному“ другу декабристов Ермолову, и грубому, но честному солдату Паскевичу. Он, Грибоедов-Молчалин, гениально провидел духовные задачи России на Востоке и сформулировал их в своем Восточном проекте. Он погиб жертвою молчалинского выполнения своего долга, сам не понимая того. Во второй половине его жил прирожденный артистическими устремлениями протестант Чацкий. Он был полу-Грибоедовым, его полу-умом, самой опасной для общества формой однобокого мышления. Он погиб раньше в самом Грибоедове, вместе с сознанием его авторского бессилия, в поисках не удавшейся ему широко задуманной русской трагедии» [71:12—13].

вы прикажете» — все-таки оставляют у читателя надежду на его совестливое раскаяние и духовное покаяние, на то, что, подобно Софье, он сможет сказать: «Себя я, стен тыжусь»; оставляют надежду на его достойное будущее³². Проблема «падения» («преступления»), наказания и «воскресения» человека в русской литературе XIX века станет одной из центральных в творчестве Достоевского.

Открытый финал «бессмертной комедии» Грибоедова сохраняет **тайну** будущего ее главных героев — Чацкого, Софьи, Молчалина, их возможного «воскресения» после своего «милльона терзаний». **Мудрая Софья**, понимая прежде всего свою вину («*Не продолжайте, я виню себя кругом*», — говорит она Чацкому) и преодолев, обуздав свой естественный гнев как непосредственную реакцию обманутого в своих надеждах человека, возможно, благородно простит Молчалина за его вынужденный обман, в значительной степени признав определенную правоту слов Чацкого: «*Не грешен он ни в чем...*» Судьба Софьи (которой Чацкий после ее обморока сказал: «*Не знаю для кого, но вас я воскресил*») может сложиться примерно так же, как судьба пушкинской Татьяны, вышедшей замуж за достойного человека, князя Н., героя Отечественной войны 1812 года, «важного генерала», который честно служит Отечеству, в отличие от «вечного скитальца» Евгения Онегина, и рядом с которым Татьяна становится «неприступною богиней / Роскошной, царственной Невы».

И в заключение приведем два принципиально важных для нашей работы высказывания Достоевского о Молчалине. В «Дневнике писателя» за октябрь 1876 года писатель признается: «...я, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов комедии, Молчалина <...> (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная)» (19:XXIII, 144). Более подробно о Молчалине Достоевский так и не успел написать, но в рабочей тетради, содержащей записи к «Дневнику», очень ясно выражена главная идея: «Молчалин — это не подлец, Молчалин — это ведь святой. Тип трогательный» (19:XXIV, 240).

Литература

- Аверинцев С. С. Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка интерпретации // Новый мир. 2001. № 9.
- Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. 1. М., 1998.
- Алперс Б. В. «Горе от ума» в Москве и Ленинграде // «Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987.
- Аникин А. А. Тема «лишнего человека» в русской классике // Темы русской классики. М., 2000.
- Баженов А. М. К тайне «Горя» (А. С. Грибоедов и его бессмертная комедия). М., 1999.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Богданова О. В. Современный взгляд на русскую литературу XIX — начала XX вв. СПб., 2016.
- Васильев С. А. «Горе от ума» А. С. Грибоедова: роль библейских символов // V Пасхальные чтения. М., 2007.
- «Век нынешний и век минувший...»: Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» в русской критике и литературоведении. СПб., 2002.

³² Б. Голлер, видящий в Молчалине «вовсе не подлого», а только «несчастливого и жалкого» человека, высказывает следующее предположение: «Для этого Алексея Степановича — путь вверх оборвался. И он, скорей всего, не станет членом Государственного совета. И его ждет вернуться в Тверь. Письмоводителем <...> И если какая-нибудь шинель и ждала его, скорей, не генеральская, а шинель Башмачкина» [15:119].

Влащенко В. И. «Ум с сердцем не в ладу»: «Горе от ума» как драма Чацкого // «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...». СПб., 1995.

Влащенко В. И. Сны в произведениях Грибоедова и Пушкина («Горе от ума» и «Метель») // Литература в школе. 2007. № 9, 10.

Волошин М. А. Поэзия и революция // Александр Блок: pro et contra. СПб., 2004.

Вяземский П. А. Заметки о комедии «Горе от ума» // Новое литературное обозрение. № 38 (1999. № 4).

Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // Новое литературное обозрение. 1994. № 6.

Голлер Б. А. Драма одной комедии // Голлер Б. А. Девятая глава. СПб., 2012.

Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 1. СПб., 1995.

Грибоедов А. С. Горе от ума. Словарь языка комедии «Горе от ума». Л. М. Баш, Н. С. Зацепина, Л. А. Илюшина, Р. С. Кимягарова. М., 2007.

Доризо Н. «И гений, парадоксов друг...» (Полемическое прочтение) // Юность. 1986. № 7.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

Дубровин А. А. А. С. Грибоедов и художественная культура его времени. М., 1993.

Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 ч. Ч. 1–2. М., 2001.

Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. М., 2005.

Золотусский И. Прости, Отечество! // Литературная газета. 2005. № 1.

Ищук-Фадеева Н. Комедия о трагедии личности // Литература. 1997. № 27.

Каменский А. Б. «Под сению Екатерины...»: Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.

Касаткина Т. А. О творческой природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004.

Ключевский В. О. Об интеллигенции // Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983.

Костелянец Б. О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.

Котляревский Н. Литературные направления Александровской эпохи. М., 2000.

Кошелев В. А. «На всех московских есть особый отпечаток...» // А. С. Грибоедов. Хмелитский сборник. Смоленск, 1998.

Кунарев А. А. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 2004.

Лавров К. Что мне кажется важным... // Мастера сцены – самодеятельности. М., 1966.

Лебедев А. А. Куда влечет тебя свободный ум. М., 1982.

Лебедева О. Б. Мотивы и образы Священного писания в структуре комедии «Горе от ума» // Лебедева О. Б. Поэтика русской высокой комедии XVIII – первой трети XIX веков. М., 2014.

Летопись жизни и творчества Александра Сергеевича Грибоедова. 1790–1829. Сост. Н. А. Тархова. М., 2017.

Лицо и Гений. Зарубежная Россия и Грибоедов. М., 2001.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.

Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.

Льюис К. С. Размышления о псалмах. М., 2007.

Маймин Е. А. Опыты литературного анализа. М., 1972.

Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного: опыт культурологической интерпретации. СПб., 2011.

Манн Ю. В. Грибоедов: комедия об уме // Манн Ю. В. Тургенев и другие. М., 2008.

Маркович В. М. Комедия в стихах А. С. Грибоедова «Горе от ума» // Анализ драматического произведения. Л., 1988.

Медведева И. «Горе от ума» А. С. Грибоедова. М., 1974.

- Мильдон В. И. Вершины русской драмы. М., 2002.
- Моторин А. В. Эволюция художественного миропонимания в творчестве А. С. Грибоедова // Русская литература. 1993. № 1.
- Моторин А. В. Духовные направления в русской словесности первой половины XIX века. Новгород, 1998.
- Непомнящий В. О горизонтах познания и глубинах сочувствия // Новый мир. 2000. № 10.
- Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1951.
- Никишов Ю. М. Загадки «Горя от ума». М., 2017.
- Петров С. М. «Горе от ума» — комедия А. С. Грибоедова. М., 1981.
- Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». М., 1971.
- Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989.
- Радомская Т. И. Обретение Отечества: Русская словесность первой половины XIX века. М., 2004.
- Ранчин А. «Ум с сердцем не в ладу». Образ Чацкого и авторская позиция в «Горе от ума» // Новый мир. 2015. № 2.
- Самойлов Д. С. Книга о русской рифме. М., 1982.
- Солженицын А. И. Протеревши глаза. М., 1999.
- Степанов Л. А. Рука Молчалина // Грибоедов и Пушкин. Хмелитский сборник. Вып. 2. Смоленск, 2000.
- Строганов М. В. Об идейном составе «Горя от ума» // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск, 1994.
- Сухих И. Н. Русская литература для всех. От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова. СПб., 2017.
- Теория литературы: В 2 т. Т. 1. Под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2004.
- Толстой Л. Н. Путь к жизни. М., 1993.
- Томашевский Б. В. Стих «Горя от ума» // Томашевский Б. В. Стих и язык. М.; Л., 1959.
- Фомичев С. А. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. М., 1983.
- Фомичев С. А. Грибоедов. Энциклопедия. СПб., 2007.
- Хихадзе Л. Д. У истоков русского психологического романа // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск, 1994.
- Цимбаева Е. Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005.
- Черезова О. В. Стратегия режиссера: «Горе от ума» А. С. Грибоедова в постановке О. Меньшикова // Дергачевские чтения-2011. Т. 1. Екатеринбург, 2012.
- Шаврыгин С. М. О сюжете комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» // Русская литература. 1994. № 1.
- Шаргунов С. Космическая карета, или Один день панка // Литературная матрица: учебник, написанный писателями: В 2 т. Т. 1. СПб., 2010.
- Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники: статьи о русской литературе. СПб., 2016.
- Шмеман А., прот. Дневники. 1973—1983. 3-е изд. М., 2009.
- Шмеман А., прот. Духовные судьбы России // Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947—1983. 2-е изд. М., 2011.
- Юрский С. Ю. Кто держит паузу. Л., 1977.



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Анатолий СМИРНОВ

СТИВЕН КИНГ. МАСТЕРСТВО ЖУТКОГО

Говорят, что самый сильный страх — это страх неизвестного. К сожалению, в исследовании жанра ужасов руководствоваться таким расхожим мнением едва возможно. Мы не можем с ним согласиться, как минимум, по двум причинам. Во-первых, оно не позволяет ничего понять ни о природе страха, ни о художественных средствах выражения, которыми страх достигается. Во-вторых, в самом определении «страх неизвестного» заложено противоречие — чтоб чего-то бояться, это «что-то» должно быть дано сознанию каким-то образом, пусть даже и в отрицательной форме. Как следствие, само «неизвестное» превращается в свою противоположность — во вполне известное. Данный парадокс можно проиллюстрировать бородастым анекдотом:

- Чего ты боишься?
- Темноты и стоматологов.
- Ну, стоматологов-то понятно! А темноты почему?
- А мало ли сколько в ней стоматологов!

А вот чем мы можем руководствоваться, так это работой З. Фрейда «Жуткое» («Das Unheimliche» ориг.), в которой он показывает, что чувство жуткого (зловещего, буквально: «недомашнего») сопряжено именно с чем-то знакомым, тем, что когда-то было известно, но вследствие вытеснения стало забытым. Столкновение с «неузнанным» и есть «жуткое». Больше всего пугает известное, но известное, которое приходит с «иной» стороны, буквально — из потустороннего мира.

В современной литературе и кинематографе жанр ужасов негласно относят к низким жанрам. Бесчисленные монстры, потусторонние миры, призраки и проклятые мертве-

Анатолий Эдуардович Смирнов родился в 1991 году в городе Первомайский Харьковской области. Окончил Таврический национальный университет в Симферополе по направлению «Психология» и магистратуру СПбГУ по направлению «Когнитивные исследования». Публиковался в электронном журнале «Лаканалия» и в сборнике статей «Бог. Человек. Мир». Живет в Санкт-Петербурге.

цы уже не пугают зрителя, от чего создателям приходится прибегать к совсем уж скучным приемам — скримерам (когда зрителя пугают резким звуком или кадром), а то и вовсе компенсировать страх биологическим реализмом, способным вызвать разве что чувство отвращения. Оно и неудивительно: жуткое — чувство куда более тонкое, чем принято считать. Одной загробной жизни и чудищ различной степени уродливости недостаточно, чтоб вызвать у читателя ощущение страха. Не стоит думать, будто сам объект авторской фантазии обладает качеством «ужасность» наряду со всем прочим. Это в корне неверно. Уж если чем и страшен злобный монстр, так вовсе не тем, что он злобный и монстр.

Фрейд исследовал бессознательные процессы, отталкиваясь от художественного текста (сказки Гофмана «Песочный человек»), мы же предпримем движение обратное. Отталкиваясь от мысли Фрейда, постараемся понять, как жуткое воплощается в художественном пространстве, как автор пугает читателя, какие лингвистические и художественные приемы при этом использует.

Для решения вопроса мы обратимся к творчеству Стивена Кинга, а точнее, к его рассказу «Долгий джонт». Это один из многих его текстов, в котором объект страха и место страха художественно разнесены. В тексте нет жутких монстров, кошмарных историй, насилия и преступления, в этом смысле рассказ предельно чист. Но в то же время высокий уровень напряжения и действительно жуткая концовка не оставят равнодушным малодушного читателя. Нас же текст привлек разницей между формальной стороной (отсутствием «страшного») и тем переживанием, которое текст способен вызвать (жуткий ступор в конце). Очевидно, что Кинг затрагивает глубинные переживания читающего.

Сюжет

«Долгий джонт» — это небольшая фантастическая история, вкратце перескажу ее сюжет.

Семейство Оутсов ожидает отправки на Марс. Дабы скоротать время и успокоить взволнованных членов семьи, Марк рассказывает историю об ученом Викторе Каруне. Ученый нашел способ мгновенного перемещения, однако успешно перемещались только неодушевленные предметы. Живые организмы при телепортации погибали, но не от физического воздействия. Там, в телепортации, они видели нечто, от чего сходили с ума и умирали. Только будучи погруженными в состояния глубокого сна, живые существа переживали телепортацию.

Рассказ заканчивается трагедией, сын Рикки, наслушавшись историй отца, телепортируется в состоянии бодрствования. На Марсе отец видит обезумевшего сына и впадает в истерику.

Композиция и приемы

В «Долгом джонте» Кинг разворачивает две сюжетные линии: историю семейства Оутсов, что ожидает отправки на Марс, и историю Виктора Каруна, открывателя телепортации. Истории подаются поочередно, Кинг переключает читательское внимание то на семью Оутсов, то на эксперименты Каруна. Такая подача текста выполняет сразу несколько функций.

Первая — удержание внимания. Так как в самом «Долгом джонте» ничего фактически не происходит, очень трудно заставить читателя наблюдать за этим «ничего». Последовательное переключение с одной истории на другую не позволяет нам заскучать.

Вторая функция — смешение историй задает загадку, читатель не знает, в какой именно точке повествования случится событие, главный конфликт текста. Читатель не может предпочесть одну историю другой, он не знает, что обладает сюжетной важностью, а что — служит торможению повествования. Находка Кинга в том, что для понимания текста нужны оба фрагмента, а основной конфликт заложен между сюжетными линиями.

О наличии конфликта Кинг дает знать посредством повторения вопроса и умалчиванием ответа.

- Тогда Карун решил попробовать еще одну мышь, — сказал Марк.
- А что случилось с первой? — спросил Рикки.

(Далее в середине текста)

- А что же случилось с мышками, папа? — спросил Рикки.
- Такой же вопрос продолжал задавать себе Карун, — сказал Марк.

(Почти в самом конце)

- А мышки, папа? — нетерпеливо спросила Патти. — Что случилось с мышками?

Если воспользоваться терминологией Ролана Барта, то можно сказать, что герменевтический код формулирует вопрос и дает на него ответ в форме ускользания. Навязчивое вопрошание детей о том, что случилось с мышками, — загадка. Увиливания и умалчания Марка — разгадка; поведением Марк указывает на то, что с джонтом что-то неладное. И здесь возникает экивок, двойное прочтение (о нем мы поговорим немногим позже). Автор сообщает, что с телепортацией что-то неладное, но мы не можем правильно понять это сообщение: неладное потому, что технология телепортации опасна, или потому, что телепортация — объект желания самого Марка?

Для внушения чувства опасности и тревоги Кинг использует слова-маркеры:

1. Марк видел, что она волновалась.
2. ...Возможно, это отвлечет их... а то об этом джонте столько слухов.
3. Марк... задумался. Здесь нужно проявить осторожность, если он не хочет напугать детей...
4. Главное — убедить их, что все в порядке...
5. И т.д.

Несмотря на то, что в тексте ничего не происходит, упоминание слов-маркеров указывает читателю на наличие неназванной опасности, угрозы или приближающийся трагедии. Кинг вводит в текст глаголы ментальных состояний (волноваться, торопиться, тревожиться, пугаться), но не вводит объяснения их возникновения. Его персонажи волнуются, в то время как объективной причины для волнения нет.

Фокальным персонажем Кинг выбирает Марка, при том, что на роль героя последний не годится. В тексте мало прямых действий, персонажи никак не раскрываются. Кроме заметки в начале рассказа о том, что Марка перевели работать на Марс и поэтому вся семья переезжает, ничего о семействе Оутсов не говорится.

В таком случае непонятно, зачем Кинг передоверяет рассказ Марку, зачем опосредует историю персонажем? Почему не пишет от лица всевидящего ока автора? Ответ прост, потому что Марк — фигура ненадежного рассказчика. Вот только его ненадеж-

ность заключена не в том, что он говорит одно, а знает другое. Ненадежность в том, что сам Марк не знает, что он говорит.

Остранение

Кинг любит играть с читателем. В текстах он часто дает предельно точные описания вещей и событий. Кинг не обманывает, он говорит правду, вот только не указывает точку отсчета, которая выступила бы структурирующим элементом, залогом возможности понимания «правды». Такой способ повествования напоминает «остранение» Шкловского, при котором объекты даны как бы с другой стороны, даны таким образом, что мы не узнаем их.

Кинг достигает эффекта остранения посредством семантического смещения. Возьмем начальную сцену «Долгого джонта»:

— Заканчивается регистрация на джонт-рейс номер 701.

...

— Джонт-рейс до Уайтхед-Сити, планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею Голубого зала. Проверьте, все ли ваши документы в порядке. Благодарим за внимание.

Двух фраз достаточно для задействования у читателя сценария «аэропорт». Рейс, пассажиры, билеты, документы — это слова-маркеры, они задействуют читательский опыт, связанный с полетами на самолете или поездками поездом. Читателю необязательно описывать подробности прохождения таможенного контроля или ритуала проверки билетов, недостающие детали он готов домыслить из своего опыта. Но Кинг пресекает такую возможность, вводя в последовательность сценария инородные элементы.

Спальная галерея на втором этаже в отличие от самого зала вовсе не выглядела обшарпанной: ковер от стены до стены, белые стены с репродукциями, успокаивающие переливы света. На одинаковом расстоянии друг от друга по десять в ряд в галерее размещались сто кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт-службы.

Что за «спальная галерея»? Зачем успокаивающий свет? Кушетки, какие еще кушетки? И почему их так много в одном помещении?

Описание не позволяет понять «спальную галерею» как аналог «зала ожидания». Этому противятся и кушетки, которых слишком много для зала ожидания, и слова диктора, которая приглашает пассажиров пройти в зал непосредственно для отправки джонт-рейсом. Используя при описании спальной галереи и сообщения диктора слова разных семантических полей, Кинг достигает эффекта остранения.

В другом месте он использует повествования без указания контекста, в результате которого читателю даны действия, назначения которых не известны.

В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь, и появились двое служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны джонт-службы. Перед собой они катили столик на колесах: на столике лежал штуцер из нержавеющей стали, соединенный с резиновым шлангом. Марк знал, что под столиком, спрятанные от глаз пассажиров длинной скатертью, размещались два баллона с газом. Сбоку на крючке висела сетка с сотней сменных масок.

Отмечу, что это лишь начало рассказа. Мы, читатели, еще не знаем о механизме телепортации, не знаем, что для перемещения пассажиры должны пребывать в состоя-

нии глубокого сна, не знаем о джонте и экспериментах. И это незнание служит тому, что правильно понять эпизод невозможно. Но Кинг осознает эту невозможность, он играет на ней! Обратите внимание на это едва заметное уточнение: «*Марк знал....*» Если его исключить из фрагмента, то сцена превратится в простое, пусть и непонятное описание. Но включив уточнение в текст, автор тут же задает антитезу, как выразился бы Барт. Знание Марка отсылает нас к некоему незнанию, неведению других людей, пассажиров, членов семьи. Но что это за знание? Очевидно, что это знание является чем-то большим, нежели осведомленностью о тонкостях телепортации.

Экивок, или двойное понимание

Р. Барт понимает экивок как продукт переплетения двух голосов, двух коммуникационных линий, одна из которых отмечена истиной, а вторая — ложью. Сплетенность двух содержаний в одном сообщении и создает возможность двойного прочтения — экивока. Однако, как замечает Барт, не стоит понимать экивок в терминах многозначности, когда одно означающее имеет несколько означаемых. Экивок двойствен в силу того, что предполагает двух адресатов, каждый из голосов предназначен своему «слушателю». В силу того, что сюжет рассказа не предполагает нескольких адресатов, так как рассчитан на одного (читателя), то это значит, что сам читатель расщеплен на двух субъектов. Этими субъектами в нашем случае выступает сознательная и бессознательная части читателя, поверхностный и глубинные уровни.

Кинг нередко прибегает к экивоку, он намеренно конструирует фразу таким образом, чтоб на уровне поверхности содержание казалось самоочевидным и понятным, в то время как на глубинном уровне содержание было противоположным, обратным.

Возьмем отрывок из начала текста:

Марк посмотрел на жену и подмигнул. Мерилис подмигнула в ответ, хотя Марк видел, что она волновалась. По мнению Марка это было совершенно естественно: первый джонт в жизни для всех, кроме него. За последние шесть месяцев — с тех пор, как он получил уведомление от разведочной компании «Тексас Уотер» о том, что его переводят на Марс в Уайтхед-Сити, — они с Мерилис множество раз обсуждали все плюсы и минусы переезда с семьей и в конце концов решили, что на два года им расставаться не стоит. Сейчас же, глядя на бледное лицо Мерилис, Марк подумал, не сожалеет ли она о принятом решении.

А теперь вопрос: почему волновалась Мерилис? Ответ очевиден: потому что это первый джонт в ее жизни. И здесь начинается самое странное. По факту, Кинг не указывает точную причину волнения супруги, он не говорит: «Мерилис волновалась потому, что...» Вместо одной причины он дает сразу несколько:

1. Волнуется потому, что это первый джонт в жизни.
2. Волнуется потому, что переезжают жить на Марс.
3. Волнуется потому, что у джонта плохая репутация (вспомните фрагмент, где говорится о слухах).
4. Волнуется потому, что Марк понятие не имеет, почему она волнуется.

Предлагая читателю несколько вполне вероятных, психологически достоверных причин для волнения, Кинг тем самым имплицитно подталкивает к мысли, что истинная причина волнения Мерилис кроется совсем в другом. Обратите внимание на перемену модальности знания: «*Мерилис подмигнула в ответ, хотя Марк видел, что она волновалась*» и «*По мнению Марка это было совершенно естественно...*». Если первое

предложение точно, в нем говорится о том, что Мерилис действительно волновалась, здесь не может быть сомнения, так как Марк это *видел*. А вот относительно интерпретации волнения есть место для фантазии, так как психологическая мотивировка волнения (волноваться при первом полете на самолете нормально) есть лишь *мнение* Марка, его гипотеза.

Так образован эквивок. Выстроив в ряд несколько причин, Кинг создает впечатление, что они связаны друг с другом, что волнение и переезд относятся к одной ситуации, в то время как на скрытом уровне он указывает на то, что такое понимание неверное.

То же самое справедливо и для другого эпизода:

Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе, и Марк понял, что надо торопиться, иначе конец придется рассказывать, проснувшись уже на Марсе.

Кинг дает круговое объяснение: Марк торопился потому, что хотел успеть. Такая абсурдная логика при поверхностном прочтении оказывается достаточной, ведь мы сами часто прибегаем к подобной форме, когда объясняем собственные действия. Но в то же самое время алогичность построения указывает на истину — истину желания самого Марка. В его спешке, помимо простого желания успеть рассказать историю, есть что-то еще.

Интерпретация

«Что-то еще», «нечто», «иное» — таким избытком, вмешивающимся в форму действительности, направляющим поступки, является желание самого героя Марка. То, что его рассказ захвачен, что его рассказ находится в плену желания, не является секретом. Секретом является сам объект желания.

Чего хочет Марк? Что держит его воображение в плену? Чем увлечен он?

Джонтом, Марк увлечен джонтом и тайной, которую тот хранит. Его манит не мысль о мгновенном перемещении, но то, что происходит с этой мыслью, в 0,000. 000. 000. 067 секунды перемещения.

Марк много знает о джонте, о процессе телепортации и о тонкостях процедуры. Он знает историю Виктора Каруна и ход его исследований. Марк интересуется литературой о джонте, его привлекают слухи и истории, связанные с телепортацией (вспомните книгу Саммерса «Политика джонта», которую Марк читает). Он склонен верить в недостоверные сведения, как, например, в историю никогда не существовавшего заключенного Руди Фоггиа. Марк верит в сговор правительства, эксперименты над людьми, в домыслы, разоблачения. И все эти интересы выстроены вокруг одного плотно непроницаемого ядра, того мгновения, когда сознание проносится сквозь время и пространство, где оно сталкивается с каким-то знанием, которое столь невыносимо, что сводит человека с ума. Тайна безумия, тайна знания, тайна «той стороны» — вот что является объектом желания Марка. Тем объектом, которым он никогда не сможет обладать.

Пасуя перед своим желанием, Марк терпит поражение, он капитулирует перед неспособностью овладеть тайной. Вместо прыжка в безумие Марк предпочитает держаться от объекта желания на безопасном расстоянии, на дистанции, с которой он может спокойно созерцать. Вместо опыта Марк предпочитает знание, знание опосредованное, знание научное. Поэтому он увлекается джонтом, поэтому читает книги и верит слухам.

И теперь, когда он берется рассказывать детям историю, он уже не просто рассказывает байку, он буквально демонстрирует объект своего влечения, он соблазняет са-

мим рассказом. Рикки, бесстрашный мальчик, принимает соблазн. Воодушевленный влечением отца, мальчишка делает то, на что самому Марку не хватает духа. Он задерживает дыхание и встречает джонт с широко раскрытыми глазами.

Марк приходит в себя на Марсе, где его ожидает двойной ужас. Ужас несчастного случая, трагической случайности в виде обезумевшего сына, и ужас от осознания того, что все это он знал. Знал, но забыл.

Сам рассказ Марка, его форма и настойчивость демонстрируют, что отец бессознательно знал, чем все закончится. Подобно отцу из сновидения, описанного Фрейдом (который был жив лишь потому, что не знал, что уже умер), Марк верил в успешное путешествие на Марс, так как забыл, что трагедия уже случилась.

Признание знания внутри себя, знания потустороннего (бессознательного) вызывает у героя непереносимый ужас, сравнимый с ужасом самого безумия.

Заключение

Читатель повторяет путь персонажа Марка. Нет, читатель не переживает то же самое, он не отождествляется с героем, но буквально идет его дорогой.

Кинг выстраивает сложную структуру значений, намеков и оговорок. Текст «Долгого джонта» словно состоит из двух голосов, двух разных сообщений. Сообщение поверхности — это то, что читатель понимает на сознательном уровне, это знание (знание текста, сюжета) о котором он может дать себе отчет. Это описания событий, диалоги персонажей, история Виктора Каруна, путешествие на Марс и т. д.

Сообщение глубины — это знание бессознательное, знание, которое продиктовано самой формой повествования: эquivoками, ложной логикой, навязчивостью героя Марка, странным объектом его желания.

Самим текстом Кинг создает в читателе напряжение через разницу потенциалов, разницу между тем, что читателю доступно на сознательном уровне, и тем, что доступно на бессознательном. Читатель оказывается в ситуации Марка, когда он (читатель) не знает, что обладает неким знанием (знанием о том, чем все закончится). Именно для этого эффекта Кингу нужен Марк как фокальный персонаж, чтоб через призму его сознания преломить повествование.

В результате, когда читатель сталкивается с концовкой текста, его охватывает чувство жуткого. И это чувство подобно чувству Марка, но не потому, что есть общий объект, а потому, что есть общее место. Мы знаем концовку до самой концовки. Она оказывается неожиданной и неизбежной в одно и то же время.

* * *

Таково жуткое у Кинга, таков его «Долгий джонт». Простой рассказ с очень непростой историей.

Когда же на Марсе Марк встречает сумасшедшего сына, его поражает не сам факт того, что произошел несчастный случай, но то, что случай произошел до того, как они оказались на Марсе. Марк буквально встретился со своим собственным знанием, он знал, что будет именно так, и знал это своим рассказом; сам рассказ знал это вместо него самого. Марк знал, но не признавал. Эта неотвратимость его и поразила.

Парадоксально, но Кингу удается поставить читателя на место Марка. Нет, читатель не отождествляется с Марком, он не переживает его чувства, но, наоборот, читатель буквально повторяет судьбу Марка, самостоятельно проходим его дорогой.

В течение всего текста Кинг говорил с читателем на двух языках. На уровне поверхности он рассказывал якобы простую историю, понятную и незатейливую. Именно

здесь читателю все понятно, именно здесь концовка видится неожиданной. Но на уровне скрытом Кинг постоянно показывал, что дело нечисто, что желание Марка отмечено странной настойчивостью, что он чрезмерно активен. И именно здесь Кинг дает читателю предзнание о случившемся. В результате возникает напряжение между его сознательным и бессознательными знаниями. На уровне сознания — читатель наивен и ничего не знает. Но на бессознательном — знает все. Концовка оказывается не только концом рассказа, но и результатом прозрения. Подобно Марку, читатель понимает, что он все это знал, знал до того, как все произойдет, но подобно Марку, он это забыл. Известное приходит с другой стороны, и приходит оно в форме жуткого.

Таков текст Кинга, таково жуткое. Небольшим количеством приемов, на простом сюжете Кинг проделывает изящную работу.

Мастер.

РЕЦЕНЗИИ

ПОТЯСАЮЩАЯ КНИГА О ПОТЯСШИХ МИР

Елена Сазанович. Писатели, которые потрясли мир (сборник эссе). — М.: Издательские решения, 2019. — 194 с.

О потрясших мир книгах, оставшихся надолго (навсегда) в благодарной памяти человечества, написала потрясающе интересный сборник эссе писатель Елена Сазанович. Начало этого литературного проекта под названием «100 книг, которые потрясли мир» было положено в журнале «Юность» несколько лет назад, и его удачное воплощение уже оценили коллеги-профессионалы: автор получила Гран-при Всероссийского фестиваля СМИ «Патриот России», а также золотую медаль в номинации «Мы — россияне!».

Книги, о которых идет речь в проекте, удивительны не только талантом и судьбой авторов, но и силой воздействия на судьбы общества. Но чтобы обрести эту силу, авторское слово должно быть прочитано и услышано, оно должно быть на виду. Небольшие, но емкие и глубокие эссе Елены Сазанович словно указывают дорогу к нему, дают ориентиры в море литературного творчества, являясь своеобразными маяками, высвечивающими шедевры и облегчающими путь к ним. Очень точно написано в предисловии к книге:

100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые стоит прочитать. Но эту сотню книг почитать стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей. И еще — чтобы уважать себя...

Эти эссе, чей уровень, на мой взгляд, соответствует высоте поставленной задачи, можно еще рассматривать и как литературную мини-энциклопедию, автор которой щедро делится информацией по многим интересным вопросам. К примеру, кто «самый переводимый автор в мире, чьи книги были напечатаны на ста сорока восьми языках, и кого сам Папа Римский благодарил за нравственную чистоту произведений» (это Жюль Верн). Или кто «открыл для Англии бессмертную лирику великого Шевченко? И чей роман за годы Советской власти был издан 155 раз общим тиражом более 9 миллионов экземпляров, был переведен на 24 языка народов СССР, были написаны три опе-

ры и осуществлены три киноэкранизации?» (Этель Лилиан Войнич). А чьи книги «издавались сотни и сотни раз. На 85 языках мира тиражом свыше 54 миллионов экземпляров. Практически все они экранизированы» (Аркадий Гайдар). Наконец, что перед смертью прошептал Николай Гоголь? (Он прошептал: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» Он всю жизнь шел по этой лестнице. Которая все выше, выше, ступенька за ступенькой вела его к бессмертию...)

Вопросы и ответы можно продолжать достаточно долго, но лучше прочитать этот сборник эссе и узнать обо всем, что называется, из первых уст. Елена Сазанович, известный автор многих романов, впервые опубликованных в журнале «Юность» (роман «Прекрасная мельничиха» был признан в свое время лучшей книгой года и переведен на несколько европейских языков), постаралась, чтобы повествование было интересным всем. И тем, для кого чтение — способ познания мира, истории и культуры, и тем, для кого это — эстетическое удовольствие, получаемое в процессе знакомства с книгами и их героями. И, конечно с авторами, превращающими свой дар в волшебство творчества и сотворчества. Именно автор лучше других может рассказать о своем произведении. И потому в качестве иллюстрации — цитаты из книги. Вот как Елена Сазанович говорит о писателе Иване Гончарове и его великом романе «Обломов»:

О, О, О!.. Или — Об, Об, Об!.. «Об-ыкновенная история». Обыкновенного «Об-ломова». Которая заканчивается обыкновенным «Об-рывом». Вернее — краем обрыва. На котором почти всегда стоит Россия. И, кстати, удерживается. На краю... Это поразительный роман. Медлительный и терпеливый. Словно о смене времен года. Весна. Обломов просыпается (на пару сотен страниц просыпается!) Летом влюбляется. Осенью скучает. Зимой засыпает... В каждом из нас неизбежно живет Обломов. Даже если мы такие деятельные, как Штольц, даже если мы такие идеалисты, как Ольга Ильинская. Даже если мы европейцы или азиаты. Есть такая партия — имени Обломова. И Гончаров ее создал своим бесспорным талантом. Общество, в котором жил Гончаров было далеко не справедливим. Пушкина и Лермонтова довело до могилы. Шевченко забрало в солдаты. Чаадаева объявило сумасшедшим... А Гончаров пишет роман о скуке и о потере смысла жизни.

Может быть, для того, чтобы нам удалось преодолеть скуку и найти смысл в жизни? Даже, если на диване. Впрочем, сегодня этот роман современен как никогда. Увы, но общество все конкретнее делится на обломовых и штольцев. Только обломовы гораздо менее чисты и непорочны. А штольцы более наглые и безнравственные.

Как сказать о Владимире Маяковском кратко, но подробно, подчеркнув его яркую гениальность, которая со временем не меркнет, его поэтические открытия, которые и сегодня кажутся недостижимыми вершинами? Елене Сазанович это удастся. Не просто, но и просто:

«Быть Маяковским очень трудно», — точно изрек Корней Чуковский. Еще как трудно! Как трудно быть красивым, смелым, совестливым, и как трудно по-настоящему любить свою родину. Как трудно быть, в конце концов, гениальным! А если все это в одном лице? А если все это вмещается в одну жизнь? Эпоха, которую пел Маяковский, ушла в прошлое. А он ушел в будущее. И в прошлом, и в будущем остался «Владимир Маяковский», который запросто умел сыграть на «Флейте-позвончике», который четко знал «Что такое хорошо и что такое плохо?» и где «Война и мир». И в прошлом, и в будущем остался его «Владимир Ильич Ленин» и посвящение его погибшему «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». И даже при этом Маяковский «Во весь голос» заявлял: все будет «Хорошо!» Маяковский нас учит гордиться своей страной. «Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче. Всем залом. Всем веком», —

писала Марина Цветаева. И так — за веком век. «Послушайте! / Ведь если звезды зажигают — / значит — это кому-нибудь нужно?..» Его звезда одна из самых ярких на поэтическом небосклоне. И загасить ее не получается. И не получится.

Точно так же она находит нужные и неизбежные слова для характеристики каждого автора и произведений, о которых пишет. Прочитайте книгу, и вы убедитесь в этом. А также в том, что книга хоть и несет в себе черты энциклопедии, но главное ее качество — стильность и оригинальность изложения, острота мысли, ясная авторская концепция и стремление к красоте и изысканности в реализации замысла. Вот как сказано о великом Пушкине:

С детства он верил в сказочную любовь «Руслана и Людмилы». В юности был в плену вместе с «Кавказским пленником». И так хотел понять личность «Бориса Годунова». Он видел битву под «Полтавой». И пережил «Маленькие трагедии». Дружил с «Дубровским». Изучал «Историю Пугачева». А еще играл с «Пиковой дамой» в русскую рулетку. А «Медный всадник» не давал ему покоя по ночам. И не хотел, чтобы знали, кому он посвятил «...чудное мгновенье». А еще верил «Пророку». Много писал «К Чаадаеву», своему вольнолюбивому товарищу. Обожал «Зимнее утро», когда «мороз и солнце...» И вместе со своими лучшими друзьями — декабристами «Во глубине сибирских руд» хранил «гордое терпенье». Его — как и всех гениев — мучили «Бесы». Но он не сдавался. Потому что воздвиг себе «памятник нерукотворный». На века.

Этот памятник — в книгах, в нашей памяти. Невзирая ни на что, книги издаются и читаются. Пусть не только в бумажном формате, но и в электронном. Здесь ключевое слово — читаются. Хотя, безусловно, смотреть мультики, играть в компьютерные игры, пролистывать сообщения и ставить «лайки» в фейсбуке, инстаграме и других социальных сетях намного проще, чем читать. Это занятие не требует особых затрат умственной энергии, напряженной работы мысли, воображения, сотворчества, сопереживания. Но только чтение может помочь расширить кругозор, научить ясно формулировать и выражать мысли, обогатить внутренний мир и речевой запас, сделать человека, в конце концов, грамотнее, умнее, образованнее... Выводы банальные, но продолжающие быть актуальными. Но как выбрать из миллионов книг и авторов тех, которые потом станут мудрыми и верными друзьями на всю жизнь, давая стимул для развития и совершенствования? Вот тут и может прийти на помощь книга Елены Сазанович, рекомендуя лучшие образцы литературы, ее вершины, с которых море книг видится более ясно, некоторые вопросы становятся более понятными, а авторы, о которых идет речь, ближе и доступнее.

А ведь они, авторы, не только гениальные рассказчики и выдумщики. Они — провидцы, иногда заглядывающие в будущее, чтобы потом поделиться увиденным в своих книгах. Как сделал это, к примеру, Жюль Верн. И об этом тоже пишет Сазанович:

...Большие подводные лодки, способные длительное время находиться в плавании («Двадцать тысяч лье под водой»). Самолет («Властелин мира»). Самолет с переменным вектором тяги («Необыкновенные приключения экспедиции Барсака»). Вертолет («Робур Завоеватель»). Космические корабли и пилотируемые полеты в космос, в том числе на Луну («С Земли на Луну»). Он точно описал размеры ракеты, место старта и даже экипаж: три человека, как это и было впоследствии в программе NASA. Башня в центре Европы (до строительства Эйфелевой башни) — описание весьма похоже. Межпланетные путешествия («Гектор Сервадак»), запуски космических аппаратов доказывают возможность межпланетных путешествий. Видеосвязь и телевидение («Париж в XX веке»). Строительство Турксиба («Клодиус Бомбарнак»).

Великие писатели, о которых идет речь в книге, не боялись ставить вечные жизненные вопросы и искать на них ответы. И в этот поиск они приглашали и приглашают своих читателей. Мы вместе с ними продолжаем искать ответы до сих пор. И иногда находим. В том числе благодаря им. Тем, которые потрясли мир... Не зря ведь сказано: *«Прочитано так мало, читается так трудно. Дорога от вокзала уходит прямо в будни. А мир вокруг великий. И снова зреет завязь. Листаю дни, как книги. Никак не начитаюсь»*.

Владимир СПЕКТОР

НА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОГАХ XX ВЕКА

Борис Клетинич. Мое частное бессмертие. — ArsisBook, 2019.

Судьба главного героя романа Бориса Клетинича «Мое частное бессмертие» Виктора Пешкова вплетена в узор, который из поколения в поколение создает каждый человеческий род, окруженный близкими друзьями, которые тоже вплетают свои узоры в общую картину, меняющуюся точно в калейдоскопе. И так продолжается — пока не засохнет одно древо и не начнет расцветать из упавшего в землю семени второе...

Сейчас во всем мире, не только в России, проявляется огромный интерес к своим корням, люди отправляют данные на генеалогические сайты, находят дальних родственников, устанавливают благодаря ДНК-тесту свои этнические истоки, миграцию рода, некоторые затем начинают путешествовать по местам, где когда-то жили их предки. Внешняя канва жизни Бориса Клетинича, автора романа «Мое частное бессмертие», противоположна: покинув Молдавию, страну детства, где остались родные могилы, и землю своих пращуров — Израиль, он обосновался в Канаде, став там известным певцом. Но канва самого романа в определенном смысле — все-таки именно попытка восстановить родовой узор, охватывающий большой период — от начала 30-х годов прошлого века. Перед нами фактически история одной семьи с еврейскими корнями и рассказ о судьбах ее близких и дальних друзей — удивительное переплетение их радостей и бед, расставаний и встреч на трагически тяжелых дорогах XX века. Хотя в этическом смысле для Бориса Клетинича «нет ни эллина, ни иудея», для него важна трагедия любой человеческой жизни.

Несколько географических названий служат опознавательными знаками романа: Кишинев, Москва, Харьков и Ленинград (советские годы), Палестина... И почти незнакомые: Оргеев и Гусятин, в которых еще в XIX веке были очень многочисленные еврейские общины. Семейная сага (роман можно представить и так) сплетена из близких автору судеб людей, связанных с этими местами.

В Оргееве живет Шантал, которая верит в Иерусалим, в море и в Грету Гарбо, Шантал одарена чувством жизни — радость бытия переполняет ее: Борису Клетиничу удалось создать яркий живой образ. Убедительны и другие характеры: бегущих из Молдавии в Россию (тогда СССР) в белых простынях по белому льду Софьи и Хволы, выпускника Горного института Волгина, цадика Идл-Замвла из Садово, отчима главного героя. Именно отчим в начале повествования подбрасывает 12-летнему Витьке Пешкову общую тетрадь и велит писать хроники, «чтоб от Геродота не зависеть!», и оставить вечности неповторимые мгновения своей жизни. Кто-то из родового клана должен стать летописцем, чтобы счастливые и горькие страницы жизней не разлетелись, не стали прахом.

Впрочем, пишущие в романе есть и кроме Витьки Пешкова — это и его отчим, и его дед, тов. Ильин (Шор) П. Ф., «один из основателей молдавской советской литературы, член Союза писателей СССР с 1947 г., секретарь Правления Союза писателей МССР,

лауреат Госпремии МССР по литературе (1952 г.)». Правда, с именем деда связана неприятная история — мало того, что он служил в НКВД, так еще и авторство его книги ставится под сомнение.

Но кроме «корневой» и биографической темы, в романе есть и тема, как бы к главным не относящаяся: Борис Клетинич пытается понять, что стоит за индивидуальной, «частной» жизненной победой. Однако именно этот вопрос является основным для психологии Витьки Пешкова. Поэтому одна из самых важных и, на мой взгляд, полноценно проявленных линий романа — линия шахматного противостояния 1978—1981 годов — Карпов—Корчной. Корчной у Бориса Клетинича — Виктор Корчняк. Автор предлагает очень умное, интересное объяснение, почему гроссмейстер Виктор Корчняк уступил первенство: Карпова как бы «выдвинули» сами народные силы Зауралья. То есть, рассуждает Корчняк, Карпов уже как потенциальный чемпион е с т ь, а «кто выдвинул его?», существует ли д е й с т в и т е л ь н о он сам как человек и как чемпион-шахматист, совпадают ли его имя и его суть? Тайная психическая атака на Корчняка с советской стороны точно попадает в психологическую брешь Корчняка: «с целью дальнейшей деморализации — развернуть по месту проведения матча (Baguio Convention Center) выставку — наглядный стенд о присоединении к России земель Поволжья, Урала и Сибири (включая Дальний Восток), организовать демонстрацию художественного фильма „Ермак“ (с английскими субтитрами)». Вот она — сила, стоящая за Карповым, которая его «выдвинула»! И попытка внушить Корчняку, что его род и все близкие к этому роду выдвинули его, оказывается много слабее. Автор романа доказывает, что высокие победы (в любом деле, в искусстве, в науке и пр.) — это результат коллективной силы, носителем и выразителем которой становится один человек (та же идея, иначе представленная, в известной повести В. Маканина «Там, где сходились небо с холмами»).

Образ почти гениального шахматиста — удача Бориса Клетинича. Человек, живущий только шахматами, воспринимающий и реальный мир исключительно через сложную сеть шахматных ходов (конечно, ассоциация с «Защитой Лужина» возникает), подчиняет свою жизнь не бытовым нормам и правилам, а лишь интеллектуальным композициям.

Судьба Виктора Корчняка вплетена в историю семьи Витьки Пешкова. И не случайно, что великого шахматиста и главного героя зовут одинаково: имя отсылает к римской богине победы, это как бы аванс на то, что, несмотря на фамилию «Пешков» (горьковский оттенок здесь вряд ли есть), герой все-таки может к «личной победе» прорваться, ведь, по мнению Бориса Клетинича, для игры рока люди — шахматные фигуры: одному суждено остаться пешкой, а кому-то, как Шантал, быть выбранной в королевы. Выйти из пешек в победители гораздо труднее, чем победить, будучи изначально королем или ферзем (то есть имея гениальность или талант). По сути, для Бориса Клетинича и сам роман — некий прорыв в большую литературу, хотя построен он, несмотря на повествовательные и дневниковые приемы, скорее по кинематографическим законам (смена кадров, времени, места действия), чем по законам романа. Но «прозаическая генетика» тоже проглядывает: автобиографическая книга А. Бруштейн, минималистская поэтика Леонида Добычина, а из современных авторов — Анатолия Гаврилова.

Некоторые судьбы автор намеренно не открывает, обрывает их линии, теряет — это не только некое подобие реальности (ведь порой люди исчезают из наших жизней бесследно), но и дань постмодернистской стилистике. Не только внешняя канва, но и тайный психологический ландшафт определяет дороги жизни каждого героя романа — и последний, возможно, более сильно, чем реальные события. Именно потому окончание романа — это апология личности, имеющей право на существование, независимое от коллективной воли и обстоятельств. Главное, как Хвола-Ольга, которая

выкормила в блокаду мальчика, будущего гроссмейстера, — быть не поддавши мисья. «Если бы я в свое время поддалась, — признается она сама себе в мыслях, — если бы плыла по течению в городке Резена, где несколько поколений Московичей скоротало век, то меня бы Адольф Гитлер прикончил между Днестром и Южным Бугом (как маму с папой)».

Правда — «это то, что я сам знаю о себе./ А я-то знаю, что я есть!» — внезапно понимает Виктор Пешков. А значит, он уже не просто фигурка в шахматной игре судеб, пешка, которую смахнут со стола и о которой скоро забудут, он стал гроссмейстером своей собственной жизни независимо от того, выдвинули его или нет. Он тоже — не поддавши сья. Он реально существует, неповторим и верен только своему личному хронографу — своему частному бессмертию.

Мария БУШУЕВА

ОТРЯСАЯ РЕАГЕНТ (Новые стансы к Москве Евгения Лесина)

Лесин Евгений. Кормление уток на берегу реки Сходни. — М: ИПО «У Никитских ворот», 2018. — 100 с.

Не читавшие книгу Е. А. Лесина «Кормление уток на берегу реки Сходни», поди, даже не представляют, что течение столь тяжелой социопатии может быть записано в таких бодрых, даже бойких ритмах:

Хорошо, когда есть дело,
Затаился и молчи.
И Москва похорошела,
Жаль мешают москвичи.
Вот бы их куда поближе
К пеплу, яме и траве.
Патриоты все в Париже,
А предатели — в Москве.
Улетели птичьи стаи,
Кошки выгнали собак.
Покидают нас трамваи,
Остается только мрак...

Вместо законно ожидаемых читателем надрыва, блюза — под обложкой книги рок-н-ролл. Причем настоящий: я нарочно попробовал пропеть этот стих (и еще несколько) под «Rock Around the Clock» Билла Хэйли — прекрасно ложится при небольшом проглатывании окончаний строк, что, кстати, принято и в зарубежной эстраде.

Пауки не лезут в банки,
До утра закрыты рынки,
От Ходынки до Хованки,
От Хованки до Ходынки.
Жизнь ушла, а я на базе.
Давят круглые томаты
То китайцы на Кавказе,
То в Китае азиаты.

Мир как воля для тростинки,
 Пир души и дело блуда,
 От Хованки до Ходынки.
 Как отсюда и дотуда.
 Не ходите в комитеты
 Где решаются решенья.
 Да какие там бюджеты?
 Ну какие улучшенья?
 Вы на Кипре и на Крите,
 Там и плюйте, дорогие,
 Вы, товарищи, пилите,
 Гири точно золотые.
 Вы пилите, вам зачтется
 В избирательной кабинке,
 От Хованки Русь несется
 До Ходынки без запинки.

Неопытный в поэзии и психологии читатель (о нем далее) ошибочно определил основной тон книги Лесина «агрессивная ностальгия, плач по утраченной Москве, мизантропия...».

Нет, как раз к *антропам*, сиречь людям, автор относится довольно терпимо, но вот окружающий «экзистенциальный порядок вещей»... Что ж, рассмотрим список предметов и обстоятельств, об утрате (или порче, или «уже не те») которых он выразительно сожалеет: снег, лед, московский район Тушино, трамваи (особенно польские), немного троллейбусы, утки (видно и по титулу книги), водка.

И список новшеств, вызывающих его неприятие: новостройки, реагент, съплюющий на улицы (съедающий любимые снег и лед), телеканалы (все), благоустройство улиц и дворов, саранча из Бирюлева (интересно, о ком это?), дождь.

И что мы видим на страницах книги? Ведь известно: «Ностальгия — тоска, печаль по утраченному». Примерами настоящей ностальгии Анна Наринская, спецкор ИД «Коммерсантъ» (им ли не знать!), называет «Другие берега» Набокова, прозу Бунина, Шмелева.

Но у Лесина и об утраченном (список 1) говорится с той же злой веселостью, что и о реагенте. Так что это: социопатия, как и было сказано...

Одна бывшая моя студентка, увидев книгу, взяла почитать. Я преподавал когда-то журналистику, встретились мы на скучнейшей пресс-конференции (что-то о новых технологиях в строительстве). Собственно, вышеупомянутый «читатель» и была она, симпатичная троечница, а не как выражаются в переносном смысле: «*сегодня наш зритель/читатель*». Это она обвинила Е. Э. Лесина в «ностальгии, мизантропии», возвращая книжку в конце мероприятия. С популярным ныне у молодежи выражением лица, словно жалеет о пропущенных новостях строительного комплекса.

Что ж, «преподов бывших не бывает» (сейчас ветераны практически всех профессий применяют к себе этот бодрый штамп), и я вспомнил, как настаивал на «*введении в ткань репортажа, очерка цитат, аллюзий, примеров из литературы. Даже если они в принципе не могут быть знакомы аудитории вашего СМИ, все равно эта зацепка будет будоражить*»... В общем, принялся за старое.

— Видишь ли, Оля. Это не Лесин Е. Э. гонит москвичей к яме, пеплу, а его «лирический герой» (без этого посредника опять не обойтись!). Это он, Г. Лирический, на засыпанных тротуарах и опустевших трамвайных линиях выискивает, конденсирует по каплям истерию «москвичей», предугадывая (!), за несколько месяцев до... (кни-

га вышла весной) — митинги, визги. Ну, как... лирический герой «Записок из подполья» — это ж не Достоевский. А у Лесина Е. Э. как раз одна книга и называлась «Записки из похмелья».

— А почему утки?

— Ну-у, Оля... Это как «Утиная охота» Вампилова, но наоборот. Не разговорной прозой, а в рифму, не в Иркутске, а в Москве, не с двумя охотничьими двустволками, а четырьмя буханками хлеба уткам. А так все сходится: там распалась семья, и герой идет на утиную охоту, тут расстроилась свадьба...

Видно свадьбу отметить решили,
А невеста, убив жениха,
Убежала с любовником в Чили,
Продавать дорогие меха.
Не случилось разгула и пьянки,
Вот и вынесли свадебный стол.
Взял я хлеба четыре буханки
И на Сходню к оврагу побрел.
Где-то плещется теплое пиво,
Кто-то в спину стреляет врагу.
Утки, крикая нетерпеливо,
Ждут меня на моем берегу.
Плохо — не было свадьбы и пьянки.
Утки злобно в ответ: «Хорошо!».
Я скормил им четыре буханки
И еще за добавкой пошел.

А по существу разбираемой книги могу сказать следующее. С оценкой Евгением Лесиним примеров нынешнего благоустройства я решительно не согласен. Более того, являясь некоторым образом экспертом по городской инфраструктуре, автором многих очерков в «НГ-Наука» (спросите у А. Ваганова) и даже пяти статей по этой теме в научных, ваковских изданиях, могу утверждать: последние 10 лет — один из самых успешных периодов в истории города, сравнимый с концом XIX века, когда в Москве под руководством городского головы/мэра князя В. М. Голицына в считанные годы появились: канализация, электричество, трамвай, телефон... Автор и сам неожиданно признает высокий уровень комфорта МЦК, хотя в поездке и распивает спиртные напитки (впрочем, может, и благодаря им).

Однако при полном онтологическом несогласии с Евгением Лесиним не могу не отметить следующее. Строки, рифмы ложатся прочно. Как тротуарная плитка под киянкой опытного гастарбайтера:

В квартире чепуха,
Отметили победу.
Я до ВДНХ
Из Бабушкина еду.

И это постукивание индуцирует два невольных поворота настроения, последовательно: сначала сожалеешь о снеге ушедшем, об этих польских трамваях, а затем в опустошающем ритме, отупев от нескончаемого перечня несущихся городской фактур, словно машешь рукой: Да и катись они!

Заразительность ритма рецензируемой книги, если кратко — я могу доказать, пожалуй, лишь собственными двумя четверостишиями, невольно индуцированными, шамански навеянными (кормление — камлание) ее, книги, чтением:

Не терплю больше этот Содом,
Тут и жители все: содомиты.
Знаю, что с ними станет потом —
Не пророки, но лыком не шиты!

Не хотел их судьбу разделить,
Переехал, за прессой слежу.
Скоро-скоро!
Тут соседи: ОК! Можно жить.
Да и город уютный... Гомор-ра!

Лот, кстати, тоже встречается на страницах книги... Не хотел особо кромсать «Кормления уток на реке Сходне», но слишком уж момент был подходящ, и слишком мне интересен любой опыт общения с другим, новым поколением, которое как ни крути, но сменит нас. О своем преподавании истории (в другом универе) публиковал очерки и даже как-то раз стихи. Что там у них на уме? Порой кажется, один только рэп (наличие в их поколении исполнителей и слушателей (!!)) этого словесного дерьма — аргумент против попыток поиска всяких взаимопониманий, но все же любопытство пересиливает.

P. S.

Вот и свою экс-студентку, аттестовавшую Лесина Е. А. «ностальгирующий мизантроп... добренький только с утками», я тогда немножко поддразнил. Не без элементов зондажа, «литературного теста» (или «квеста»?): как наше слово отзовется? И вообще. Объяснил Оле, что это «Кормление на Сходне...» было только «Прикармливание...», что скоро, вот-вот выйдет и продолжение «На Сходне-2», и уж там, собрав всю стаю, он, Лесин Е. А., им покажет! Никаких сантиментов, только дробь № 8 и десятый калибр...

Не очень разбираясь в словаре современных молодежных гримас... не уверен, что Олю заинтересовал мой самозванный «сиквел» — потому и оставляю его за пределами статьи, в постскрипуме.

Игорь ШУМЕЙКО

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Евгения Некрасова. Калечина-Малечина. Роман. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. — 279 с. — (Роман поколения).

Роман, о котором спорят. История, хотя и со сгущенным окрасом, до грусти банальна. Главная героиня, десятилетняя Катя, живет с родителями в «лилипутском» городке вблизи мегаполиса в панельной многоэтажке и, как это часто бывает, постоянно находится дома одна. Родители рано утром спешат на электричку — в «Гулливе-

рию» (читай Москва), на работу, приезжают поздно вечером, уставшие и измотанные. Катя сама собирается в школу, идет туда, возвращается обратно в одиночестве, разогревает в микроволновке еду, обменивается эсэмэсками с мамой. Когда-то за ней приглядывала бабушка, но она умерла. Маме постоянно некогда, вечером — домашние дела, готовка, да еще плетение тугих косичек дочери, утром некогда. Неудивительно, что в школу Катя приходит растрепанная и с «петухами» на голове. На все реплики дочери ответ один: «Не придумывай». С отцом еще хуже: он постоянно кричит, что дочь дебилка и позорит его перед людьми, с его точки зрения, дочь все делает слишком медленно и неправильно, доходит и до рукоприкладства. Запрещено все: хороший мобильник, телевизор, компьютер, — а вдруг сломает. Неудивительно, что девочка радуется, когда она дома одна, и с ужасом ждет вечера. В школе не лучше: Катю травят сверстники, в травле участвует и классная учительница, смеется со всеми над Катей только из-за того, что та пишет на доске стихотворение не в столбик, а в строчку. Единственная подруга, благополучная Лара, переключила внимание на одноклассников и даже на главного «вредителя» Кати. А ведь у Лары дома можно было посмотреть мультики, попрыгать под музыку рекламных роликов, поесть вкусности, и — а чудо! — Лара свободно говорила с родителями, опыт, который Кате дома повторить не удалось. Чтобы справиться с отчаянием и страхами, девочка постоянно прокручивает в голове считалку «Катя катится-колошматится». Она отнюдь не бесталанна. Да, не расторопна, но необычно видит и мыслит, так, потолочные подтеки для нее вырисовываются то в горы, то в облака, то в меховую рукавицу, поддерживающую младенца. Ей не хватает внимания, любви и заботы, а как только маленький лучик доброты и ласки, исходящий от учительницы летнего лагеря, прикоснулся к девочке, Катя начала писать чудные тексты, приобрелась к чтению и научилась радоваться муми-троллям, Гулливеру, Пеппи Длинный Чулок. Кризис разразился, когда за математическое задание, записанное в стихотворной форме, и за недовязанные варежки (урок труда) классная руководительница пообещала Кате отправить ее в спецшколу для отстающих. Ради «себяспасения» Катя вязала всю ночь, но вместо корявых варежек, которые она несла в школу, в пакете оказались перепутанные нитки. В драматическое повествование включается мистика. И странные явления, происходящие в доме: пропажа вещей и внезапно возникающий беспорядок, путанные клубки вместо неуклюжих варежек, — получают объяснение. В доме за плитой живет домовая кикимора, создательница, похожее на старушку и ребенка одновременно. Кикимора поможет связать красивые варежки, но до учительницы отнести их не удастся — отнимут мальчишки. Тогда, чтобы заслужить признание мамы-папы, Катя и кикимора отправятся в деревню, к дяде Юре за деньгами за дачу бабушки, которые он, оформив купчую, не отдал отцу Кати. Ритм ускоряется, теперь для Кати главное ничего не вспоминать, но действовать, и из сложных ситуаций она находит выход, не раз исправляет злобные проделки кикиморы, падкой на жутковатые чудеса. Само присутствие пусть странного, но друга рядом меняет ее мироощущение девочки. Две контрастные сценки: Катя катается с горки одна, не принятая в компанию других детей, и вторая, когда она приходит туда вместе с кикиморой, и они вместе радостно присоединяются к другим. «Я тоже устала, но мы дети и должны играть», — поясняет она кикиморе. О книге спорят критики, интернет-сообщество. Диаметрально рознятся оценки своеобразного слога: необычные метафоры, причудливые слова и словообразования, злоупотребление вместо слова ребенок — «невывросший», а вместо взрослый — «выросший». Повествование ведется языком ребенка, который видит окружающий мир по-своему и, чтобы выжить в нем, изобретает свой уникальный язык, языком девочки, которая «плохо обертывала мысли и ощущения в простую и симпатичную упаковку». Споры вызывает концентрация зла, атмосфера

нелюбви вокруг одной маленькой девочки: родители, одноклассники, учителя, соседи, просто люди вокруг. Критики обсуждают, как фольклорные (домашние кикиморы — бывшие, не пригодившиеся никому дети) и фантастические мотивы уживаются с современностью, указывают на множественность литературных корней. Само название «Калечина-Малечина», восходит к стихотворению А. Ремизова, которое кикимора превратила в песню, вызвавшую у Кати улыбку. Финал вполне благополучный: Катя с мамой уехали и зажили обычной жизнью, они разговаривают каждый вечер. Эта книга о ребенке, но не для детей: есть не совсем подходящие моменты. Она для родителей, которым вот так, в художественной, полусказочной форме предлагается посмотреть на своих детей, на то, в каких ситуациях и обстоятельствах им приходится жить.

Ирина Чайковская. Путешествие с Панаевой. СПб.: Алетейя, 2019. — 258 с. — (Серия «Италия—Россия»).

Ирина Чайковская, филолог-славист, выехала с мужем и двумя детьми в Италию в 1992 году и прожила там семь лет. Жили четвером на крохотный грант, вокруг не было русскоязычной среды, будущее оставалось неопределенным. Трудности и горести скрашивались аурой красоты и добра, создававшей вокруг семьи своеобразный щит. Вынужденная в силу обстоятельств переехать в США, она испытала там психологический шок. Спасением, источником силы стали задуманные ею рассказы об Италии: на расстоянии Италия выглядела как сгусток красоты и человечности. Практически все произведения, вошедшие в сборник, написаны в США. Место действия — небольшой город в бухте, освоенной в незапамятные времена еще греками. Бесчисленные холмы, брусчатые наклонные улочки, главный храм Дуомо, выстроенный из остатков древнего храма Афродиты тысячу лет тому назад, старинное Еврейское кладбище. Проводя своих героев по заповедным улочкам и площадям, по шумным рынкам города, И. Чайковская дает прочувствовать очарование старинного городка с характерными итальянскими приметами: море, пинии, изнуряющий зной, благотворный воздух, — дает прочувствовать прелесть неторопливой, размеренной жизни. Прототипами ее героев являются реальные люди. Среди них — «праведники» Италии, носители высоких нравственных принципов, появляющиеся в ряде произведений. Это и стойкая к невзгодам малограмотная крестьянка Лючия, в старости посвятившая свою жизнь служению людям. И влюбленный в Чехова, похожий на русского земского врача, великий альтруист доктор Милиотти. И такое знакомое: «Наши с женой отцы-крестьяне лелеяли мечту об образовании для детей». Он — врач, жена — педагог. Но уже их дети и супруги детей легкомысленны, беспечны, инфантильны. Судьбе каждого из них посвящена отдельная новелла. Доктор надеется, что достойное место в обществе займут внуки. И у него есть мечта, навеянная посещением России: «И еще мне хотелось бы, перед тем как навечно смежить веки, узреть залитый майским солнцем сад в Севильяно, и в нем — кусты крыжовника, усыпанные крупными, невиданными здесь ягодами». Для него крыжовник — отнюдь не символ пошлости и мещанства. Праведником является и мудрый и человечный дон Агостино, волею родителей ставший священником, но в душе мечтающий иметь свою семью, что в католичестве для священника невозможно. Кров у него находят герои многих рассказов. И. Чайковская повествует об обыденной жизни рядовых итальянцев, ее интересует человек, его чувства, мечты, эмоции. В Италии она преподавала русский язык, и каждый из ее многочисленных учеников — своеобразная личность с особой судьбой. Но у молодежи Италии есть и общая проблема: безработица, невозможность работать по специальности даже при наличии диплома, отсюда — посещение всевозможных курсов, в надежде, что что-то пригодится. Ценится

любая работа, удивление одного из итальянцев вызвало то, что беженец-армянин не захотел, не смог работать на войне. Среди героев — неизменно русские, чаще женщины с ребенком. Принятые местным обществом, они несут в себе и груз неопределенности будущего, и тоску по родине. «Болит, разрывается душа, плачет и стонет, проклятая Россия, ты не отпускаешь, не отпускаешь, не отпускаешь...» И что остается? Петь сыну русские романсы, песни пионерского детства, в надежде, что дети будут петь их и своим детям и внукам. «Сейчас принято говорить о подлом обмане советского народа, о подлоге, о различных мифах, в том числе и о мифе „счастливого детства“ советских детей. На расстоянии, возможно, все так; наверное, нас обманули; но у меня действительно было счастливое детство. Когда мы с сестрой пели в пионерском лагере „До чего же хорошо кругом! / Под деревьями счастливый дом...“, мы именно так и ощущали окружающее». Одной из сквозных тем сборника является «еврейская тема». Именно вспышки антисемитизма в России в начале 90-х годов стали решающей причиной отъезда семьи Чайковской на Запад. К очередям, к дороговизне можно было привыкнуть. Терзал страх за детей. И в Италии пришлось столкнуться с неприятием евреев в крестьянской среде, хотя там, как и вообще на Западе, под словом «еврей» подразумевается вероисповедание, а не национальность, а ко всем выходцам из России применяется слово русский. С собой в Италию И. Чайковская увезла любовь к русской литературе и языку. И неудивительно, что на страницах книги есть рассказы, где она обучает своего ученика русским идиомам; что юный любитель Лермонтова Паоло имеет облик лермонтовского демона; что несостоявшийся роман итальянского юноши Андре и русской девушки Наташи — аллюзия сюжетной линии «Войны и мира» Л. Толстого. Квинтэссенцией литературной «русскости» является повесть «Путешествие с Панаевой». Место действия — тот же городок у моря. Герои — бывший питерец, ныне гражданин США и итальянец, объединенные интересом к судьбе невенчанной спутницы Н. Некрасова. Для русского американца Панаева — спасительное лекарство, благодаря чему он ускользает от своих неприятных ощущений, от мыслей о жизни, от самой жизни. Роль Панаевой здесь подсобная. Это современное произведение, где присутствует и террорист-албанец, и теракт, унесший жизни детей и старого священника, и «крамольные» — для Запада — размышления, вложенные автором в уста героев. Наверное, автору, живущему в США, нужна смелость, чтобы так резко выступить против противоестественных гомосексуальных связей, так пронзительно обозначить «европейскую перспективу». «Пойдем прахом, и „новеньким“, азиатам или арабам уже не будет до европейцев дела... Кто из нас помнит шумеров, хеттов, финикийцев, скифов? Что сохранилось в нашем сознании от предшествующих цивилизаций? Ноль. Практически ничего. Так будет и у них». Нежные, лирические рассказы И. Чайковской о любви, порой переходящие в красочные очерки, таят в себе глубокие смыслы.

Святой Димитрий Донской. Сборник. М.: Абрис, 2019. — 256 с.: ил. — (История России).

Димитрий Донской (1350—1389) стал почитаться в народе как избранник Божий почти сразу после Куликовской битвы. В 1988 году на Поместном Соборе РПЦ провозглашен святым. В сборник вошли «Слово о житии и преставлении князя Дмитрия Ивановича» (XIV—XV века), первый стихотворный перевод древнерусской песни «Задонщина» (XIV век), исторические исследования русских авторов XVIII—XX столетий А. Манкиева, В. Татищева, А. Казадаева, Н. Савельева-Ростиславича, Н. Троицкого и архимандрита Леонида (Кавелина). Их труды не переиздавались с момента первой публикации. А личности они были значительные. Русский историк и дипломат А. Ман-

киев, плененный в 1700 году под Нарвой, свою книгу писал в шведской тюрьме, пользуясь библиотекой «непозволительно близкого к москвитам» шведского ученого. В. Татищев располагал документами, не дошедшими до нас, его книга содержит переписку Олега, Мамаю и Ягайло. Академик А. Казадаев — один из самых образованных людей своего времени. Оригинальные мысли Н. Савельева-Ростиславича созвучны философии евразийства. Краткие биографические очерки представлены в книге. Собранные под одной обложкой исторические изыскания дают многомерную картину далекого прошлого. Русь времен Дмитрия Донского: постоянное противостояние Орде и Литве; распри русских князей, выливающиеся в войны с Москвой; церковные споры; моровая язва; засуха; пожар 1365 года, превративший Москву в пепел, после чего князь Димитрий принял решение отстраивать город из камня. Летом 1378 года московское войско нанесло поражение татаро-монголам в битве на реке Вожа. И фактический правитель Золотой Орды Мамай начал готовиться к большому походу на Русь. Москва отказывалась платить дань на прежних условиях, ярлыки на княжение, выдаваемые ханами, утратили силу: князья самостоятельно решали, кому и где править. Мамай нашел поддержку у литовского князя Ягайло и рязанского князя Олега. Историки сосредотачиваются на самых ярких эпизодах судьбоносного события. Это и процесс сбора войск по Руси, когда Димитрий сумел «возбудить» местных князей, «употребив и власть, и благоприветливые внушения: одних обласкал любочестие, других подвигнул обещанием наград, иных прелестью свое добродетели и пользою России преклонил» (А. Казадаев). Пришли не все, не все подчинялись Москве: не было полков смоленских, нижегородских, новгородских, рязанских, тверских. Подчеркивается религиозная составляющая события, в том числе роль Сергия Радонежского: на все свои деяния великий князь получал благословение Церкви, перед решающим сражением посетил Троицкую обитель, где преподобный Сергий предсказал победу его христианскому воинству и отрядил в помощь двух иноков — Ослябю и Пересвета. После битвы, в которой потери с обеих сторон были огромны, именно в Троицкой обители князь начал всенародное поминовение убиенных воинов, поминальная Димитровская суббота утвердилась на века. Подробно изложен весь ход Куликовской битвы, состоявшейся на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча 8 (21) сентября 1380 года и длившейся с полудня до заката солнца. А началась она поединком Пересвета и татарского богатыря Челубея. В битве участвовал и сам великий князь, на увещания оставаться в безопасном месте отвечал: «Как я скажу: братья, потягнем вкупе, когда сам стану укрывать лицо свое? Словом и делом хочу быть впереди всех, и перед всеми главу свою положить, да и прочие примут дерзновение». Из текста в текст воспроизводится драматическая сцена, как уже после битвы израненного князя нашли его соратники. Из текстов вырисовывается выразительный портрет Димитрия, ставшего великим князем Владимирским и Московским в восемь лет. Он рано поставил цель, к которой шел последовательно: свергнуть иго орды и восстановить самобытность Руси. Первым из московских князей возглавил вооруженную борьбу народа против татар. Н. Савельев-Ростиславич заключает, что Куликовская битва привела к ментальному объединению Руси и положила начало формированию великорусской нации: если на Куликово поле шли, будучи москвитянами, владимирцами, Можайцами, серпуховчанами и новгородцами, то возвращались оттуда русскими. А сливали все русские княжества в одно государственное тело, даже против желания их властителей, язык и религия. Впечатляющую картину, созданную историками, дополняют включенные в книгу поэтические произведения. Превосходна поэтика первого стихотворного перевода древнерусской воинской песни «Задонщина» (около 1383 года), выполненного составителем сборника Евгением Лукиным: «То не быстрые соколы перелетали за Дон, / То не яс-

требы на лебединую стаю слетали, / То набросились воины, кречеты ратных времен, / На татарскую рать.: харалужные копыя трещали / И стучали щиты, и гремели о шлемы клинки. / Закипел бой на поле у тихой Непрядвы-реки». Пронзительны песни вдов: «Эти песни, что птицы поют, / Так похожи на плачи и стоны. / По убитым в далеком краю / Голосят воеводские жены». Именно в этой древнерусской песни сказано, что сражались «за землю Русскую, за веру христианскую, за обиду великого князя», что потом превратилось в боевой клич: «За веру, царя и Отечество». К подвигу прадедов на Куликовском поле не раз в трудные минуты обращались потомки. Актуальной в 1812 году стала пьеса В. Озерова «Дмитрий Донской»: «России миру нет, доколь в пустыню / Свирепостью своей враги не превратят / Иль, к рабству приучив, сердец не развратят / И не введут меж нас свои злочестны нравы». В 1942 году Д. Кедрин писал: «Не испить врагу шеломом Дона! / Русские не склонятся знамена! / Будем биться так, чтоб видно было: / В мире нет сильнее русской силы!» («Дума о России»). Завершает сборник драматическая поэма современного петербургского поэта Е. Лукина «Непобедимая воевода». В основе ее события 1591 года, когда огромное войско крымского хана Гирея подошло к Москве и по инициативе царя Федора Иоанновича к месту будущей битвы вынесли икону Донской Богородицы, образ, что «являлся воинам / Благоверного князя Дмитрия / На кровавом поле Куликовом / В час великой битвы с Мамаем». Царя поддержал и Б. Годунов: «Воистину: твердыне грош цена, / Когда духовной мощи лишена. / Я как-то выпускать из виду стал, / Что Слово есть начало всех начал». Войско Гирея бежало, не приняв битвы. Выпущенная к знаменательным датам (в 2020 году 670-летие со дня рождения Дмитрия Донского и 640-летие со дня победы в Куликовской битве) книга богато иллюстрирована: иконы, древнерусские миниатюры, фрески, картины известных русских художников.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ОБИТЕЛИ АФОНА

Часть 6

СВЯТО-ПАВЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Согласно преданию, монастырь построен в X веке Павлом Ксиропотамитом, основателем обители Ксиропотама. В XV веке материальное состояние обители при содействии сербских царей заметно улучшилось. В XVI и XVII веках братство монастыря состояло из греков и сербов.

Россия издавна помогала этой обители. «В 1584 году царский посланник Мешенин вручил игумену сего монастыря Гавриилу и 50 братьям 100 рублей да 30 скитникам 8 рублей, — пишет о. Порфирий (Успенский). — В мае месяце 1629 года прибыл в Москву Павловский архимандрит Савва и привез с собою государю и патриарху мощи св. Григория Богослова, а получил от государя сорок соболей в 20 рублей и деньгами 15 рублей, от патриарха же столько же соболей и 10 рублей»¹.

В 1643 году в Москву приехал архимандрит афонского Павловского монастыря Никодим со старцем Исайей. Прожив год в Симоновом монастыре, они вернулись на Афон². Возможно, они привезли в свою обитель иконы московского письма. В записках А. Н. Муравьева (1849 г.) есть интересное сообщение: «Мне показали икону Покрова Богоматери, с ангелами царского семейства Алексея Михайловича, письма изящного; ей приписывали великую древность, но я отыскал подпись и снял очарование старины с сего богатого вклада благочестивых царей наших»³.

Архимандрит Порфирий (Успенский): «В 1645 году, 28 марта, приказал Михаил Феодорович быть у себя всем приехавшим или уже находившимся в Москве властям за милостыней и в числе их Павловского монастыря архимандриту Савватию. Государь принимал их в столовой избе, которую приказал устлать коврами. Савватий получил обычное жалованье»⁴.

Василий Григорович-Барский (1744 г.): «Окрест же весь храм удобрен прекрасными великороссийскими иконами; наипаче же тамо обретаются дванадцать месяцев

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 900.

² Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в XI—XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 152.

³ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 298.

⁴ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 900.

святыи, удивительно хитростью живописанны»⁵. К середине XVIII века монастырь перешел полностью к грекам, о чем пишет А. Н. Муравьев: «Еще в начале XVIII столетия Хиландар, Зограф, Руссик и Св. Павел были совершенно славянские монастыри, без примеси греческой <...> Недавно, однако, греки населили сию обитель: паломник наш Барский, в первое свое странствование в 1726 году, застал еще там сербов и болгар, как и в Руссике, а в 1744 году видел в обоих только одних греков <...> Можно сказать, что весь почти западный берег Афона, кроме Дохиара, Ксиропотама и Дионисиата, был в полном смысле славянский, и все это изменилось; остались только для нашего племени Хиландар, Зограф и треть Руссика, а между тем милостыня доселе течет на Св. Гору из Болгарии и России, а не из Греции»⁶.

Указом Синода в 1742 году была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям: Московская синодальная контора обязывалась выдавать Свято-Павловскому монастырю по 35 рублей в год. Однако в XVIII веке из-за русско-турецких войн эти суммы поступали нерегулярно, но в XIX веке деньги монастырям выплачивались аккуратно, в том числе за прошедшие годы. Так, монастырю Св. Павла было выплачено за 20 лет — 600 рублей⁷.

Архимандрит Порфирий (Успенский): «В 1754 году, 13 мая императрица Елисавета Петровна пожаловала Павло-Георгиевскому монастырю три тысячи рублей, да архимандриту Анатолию, поднесшему ей ковчег с животворящим древом, — тысячу рублей. От сего древа она отделила часть, а остальное отдала сему архимандриту, прежнюю же милостынную грамоту высочайших предков своих заменила новою великолепную, в которой повелено «для получения милостыни во всероссийскую Империю приезжать из того монастыря трем или четверем монахам с одним служителем так, как и прежде было, в пятый год, и получать из Св. Синода в оной монастырь то число, что по штату положено, и во время проезда их в Империю и обратно за границу не токмо свободно и без задержания их везде пропускать, но в потребном случае и возможное вспоможение им показывать и перевозу и мостовщины и с их вещей пошлины не брать»⁸.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1860 г.)

Мы пробывли в гостеприимной и богатой занимательными предметами обители полтора дня, и обозрели все, представлявшееся вниманию нашему. Видели церковь св. Константина и Елены в старом отделении монастыря, выстроенную и расписанную в 1708 г.⁹ <...> Видели икону Покрова Пресвятой Богородицы русского письма, на которой предполагались изображенными лица царского семейства Алексея Михайловича, но ничего подобного на ней не оказалось. Видели старый помяник обители славянского времени с именами в нем *великого князя Ивана, князя Василия, Соломониши, монаха Варлаама* и пр. Видели между хрисовулами грамоту царя *Алексея*, скрепленную потом Петром Великим, и великолепную грамоту *Елисаветы*, вправленную еще в более великолепный футляр.

А в гостиной игуменской в ряду изображений ктиторов монастыря встретили и портрет в Бозе почившего Императора Александра I, писанный лет 30 назад тому. На осведомление наше о сем портрете, и о ктиторском значении изображенного на нем, нам рассказали, что в бытность Александра Павловича в 1819 г. в Италии в городе *Люблянах* (Лайбах?), к нему представилась депутация от монастыря Св. Павла, по святогорскому обычаю — с частицами животворящего Древа и св. мощей. Она

⁵ Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 2004. С. 391.

⁶ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 295—296.

⁷ Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII—XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

⁸ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 900.

⁹ Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 264.

была принята Государем благосклонно, и по совершении обычного водосвятия, одарена щедро. Государю угодно было потом спросить старцев, чем они благословят его? Старцы отвечали, что все, что у них есть, принадлежит ему — и самая святыня. Он поблагодарил их за то, и сказал, что подарок их дарит им обратно, и спросил, не желают ли еще чего?

Тогда старейший из депутации дерзнул попросить его выстроить им в монастыре их церковь соборную, на что Государь, по предстательству графа *Каподистриа*, охотно согласился, и дал в руки их письмо от себя к нашему посланнику в Константинополе об оказании нужного монастырю к постройке церкви содействия. На данные же тогда Императором деньги старцами куплены в Венеции медные стойники для церкви, полиелей (паникадило) и колокол. Но последовавшее вслед за тем восстание Греции, кончина государя и война наша с Турцией препятствовали монастырю воспользоваться письмом Благословенного. С 1835 г. монастырь возобновлял не раз дело об обещанном содействии, и до сих пор не перестает питать себя надеждой на желанный исход его¹⁰.

Во время греческой революции 1821 года из-за репрессий со стороны турок монахи были вынуждены покинуть монастырь. Возвращение монашеской общины в обитель сопровождалось щедрой помощью со стороны русских царей Александра I и Николая I. Так, кафоликон был отстроен вновь в 1839–1844 годах, частично на средства российского императора Николая I¹¹, о чем пишет А. Н. Муравьев: «Братия Св. Павла имели причину быть благосклонными к русским, потому что новый великолепный собор их Сретения построен отчасти милостынею русской»¹².

Алексей Смирнов (1886 г.): «Предупрежденные о нашем приезде, монахи греческого общежительного монастыря св. Павла, с игуменом во главе, встретили нас у ворот. Под колокольные и ружейные выстрелы повели нас в собор приложиться ко святыням, длинный ряд коих в серебряных ларцах был расставлен на столе; мы видели тут ногу св. Григория Богослова, старинную икону, расколотую надвое во время волнений иконоборства, и дары волхвов — золото, ливан и смирну, поднесенные ими Младенцу Иисусу. Потом нам предложили глико и чай в фондарики, увешанном портретами, среди которых я заметил старинные, писанные масляными красками изображения наших императоров Александров I и II и Николая. Игумен, еще молодой, лет около сорока человек, проводил нас до ворот, где мы и простились с ним под звон колоколов»¹³.

Из записок С. Ф. Шарапова (1889 г.)

Пройдя широкую луговину перед стенами монастыря, мы взобрались наверх, миновав журчащие из горы ключи и устроенный для монастыря водопровод. Нас встретили очень радушно и проводили в кафоликон, где мы застали конец вечерни. Затем, пройдя целую грудку деревянных лестниц и галерей, мы попали в архондарик, маленькую комнатку с расписанным белыми и коричневыми полосами потолком и турецким диваном кругом стен. Последовало неизбежное глико с чашкой турецкого кофе; затем нас повели ужинать в трапезную <...>

Кушания за ужином очень бедные: лапша с деревянным маслом не первой свежести. Соус из помидоров с травками. Отваренные в воде довольно безвкусные ломтики тыквы и жареные кабачки, нечто вроде фасоли. С самого начала ужина нашелся для меня собеседник, старичок грек необыкновенно симпатичного вида, прислу-

¹⁰ Там же. С. 265–266. «С удовольствием мы осведомляемся, что старцам Свято-Павловской обители дозволен милостынный сбор в России на их прекрасную церковь» (Замечание о. Порфирия, 1860. С. 266).

¹¹ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 157.

¹² Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 295.

¹³ Смирнов Алексей. Две недели на Святой Горе. М., 1887. С. 53.

живавший за столом. Он бывал раньше в Таганроге и Бердянске и кое-как говорит по-русски. Больше, впрочем, пришлось объясняться с ним по-итальянски, так как за тридцать лет пребывания на Афоне русский язык он почти позабыл¹⁴.

С 1941-го по 1946 год духовником монастыря был русский старец Софроний (Сахаров).

Из записок игумена N (1997 г.). Беседа с учеником старца Софрония

В гостиную вошел невысокий пожилой монах лет семидесяти, с широкой седой бородой, и поздоровался с нами по-русски. Это и был отец Ириней, ученик старца Софрония (Сахарова). Когда-то и сам блаженный отец Софроний — истинный делатель Иисусовой молитвы — возрастал духовно на Святой Горе, у ног преподобного Силуана Афонского, о котором, как благодарный ученик, он написал известную теперь во всем мире книгу «Старец Силуан». Отец Софроний скончался в 1993 году в созданном им Иоанно-Предтеченском монастыре недалеко от Лондона в возрасте 97 лет. Вместе с его учеником, отцом Иринеем, мы вышли на длинный балкон, тянувшийся вдоль стены архондарика¹⁵ <...>

— Могли бы вы, отче, рассказать что-нибудь о жизни отца Софрония на Афоне? — попросили мы отца Иринея. Старец закрыл глаза, подняв вверх голову. Он что-то вспоминал, а может быть, снова переживал события своей молодости, как бы перелистывая год за годом листы книги, где вписаны ушедшие в вечность жизни людей, которых давно уже нет с нами.

— После смерти своего старца, — продолжал свой рассказ отец Ириней, — ныне уже прославленного преподобного Силуана, отец Софроний, тогда еще иеродиакон, получил благословение игумена и духовника Свято-Пантелеимоновской обители на отшельничество в пустынных скалах Карули. Там, кстати, до сих пор еще сохранилась его маленькая келья. В ней он прожил, если не ошибаюсь, два года — с 1939 по 1941. Сейчас там один серб живет. А в начале 1941 года ему предложили стать священником и духовником греческого монастыря святого Павла. Это был первый случай, когда греки пригласили русского в качестве духовника! В феврале 41-го он был возведен в иеромонахи, а на следующий год по особому чину отец Софроний был поставлен духовником для окормления братии. Есть такой специальный краткий чин с особой молитвой, который совершается епископом для поставления духовника.

Итак, в 1941 году отец Софроний перешел в обитель святого Павла. Впоследствии, уже будучи духовником, он решил поселиться в уединении и около трех лет прожил в пещерке-каливе Святой Троицы высоко над морем, недалеко от Свято-Павловского монастыря по направлению к Новому Скиту. Оттуда он приходил в монастырь для исповеди монахов, а иногда братья ходили на откровение помыслов к нему в каливу Святой Троицы. Он был большой подвижник, постник и молитвенник, но слабенький здоровьем. Во время зимних дождей его пещерку сильно заливало. Случалось, что из воды выступало только его каменное ложе, а все остальное оказывалось под водой. Прожив в таких условиях несколько лет, отец Софроний нажил себе туберкулез. Впоследствии, уже во Франции, он перенес операцию по поводу язвы желудка. Представляете? У него от желудка осталась только одна четвертая часть! И что интересно: при всех этих страшных болезнях он дожил до 97 лет! Кажется, невероятно! Но в этом был особый промысл Божий.

Шла вторая мировая война. Во время немецкой оккупации, в 1941 году, Священный Кино́т Святой Горы направил Адольфу Гитлеру письмо с просьбой сохранить монастыри от разрушения. Это общеизвестный факт, который упоминает даже в своем путеводителе по Афону г-н Панаетис Цацинидис. Вскоре на Афон прибыла группа немецких офицеров. Для того чтобы вести с ними переговоры, нужен был монах, знающий немецкий язык, а на Афоне в те времена грамотных монахов было очень мало. Но отец Софроний знал несколько европейских языков. Его-то и попросили сопро-

¹⁴ Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 2. СПб., 1892. С. 128—129.

¹⁵ N, игумен. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 59.

вождать офицеров, чтобы убедить их в необходимости сохранения Святой Горы от разрушения. Своей образованностью, воспитанием и скромностью отец Софроний так поразил немцев, что рапорт, который они подали в ставку Гитлера после посещения Афона, был самым благожелательным. Ответ ставки также был положительным. В результате ни один из монастырей Афона во время оккупации не пострадал и не лишился своего самоуправления. Более того, немецкий гарнизон перекрыл доступ на Афон всем мирянам.

Хуже было во время гражданской войны 1946—1949 годов. Малограмотные и мало духовные монахи-националисты (а скорее всего те, кто стоял за ними) стали распространять слухи о сотрудничестве отца Софрония с немцами. При этом они несправедливо порочили его честное имя. Вот так обычно в жизни и бывает. Вместо благодарности за помощь в сохранении святынь Афона (по просьбе самих же святогорцев) его обвинили в грязном пособничестве оккупантам. Именно эта немилосердная травля и являлась главной, но мало кому известной причиной вынужденного отъезда отца Софрония со Святой Горы. Но, как говорится: «...любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). Даже зло! По воле Божией даже оно в конечном итоге приводит праведника к добру. Так случилось и с отцом Софронием. Сначала он вынужден был уйти в Андреевский скит, а затем уехать во Францию <...>

Но если бы дьявол не изгнал о. Софрония с Афона, неизвестно, смог бы он закончить и издать свою рукопись. Проблематичным было бы тогда и прославление старца Силуана. Вероятно, не было бы написано и множество других его книг, не существовало бы его бесед, которые теперь тщательно собираются и издаются.

<...> Со временем, конечно, клеветнические наветы на старца рассеялись как бы сами собой, и сейчас на Афоне слово о. Софрония является непререкаемым. Если в духовных вопросах возникают здесь какие-то недоумения, а у о. Софрония находят некое мнение на этот счет, то его принимают без обсуждения. До смерти старца в 1993 году многие афонские духовники считали необходимым советоваться с ним. Ему писали и звонили по телефону. В 1965 году я приехал из Англии на Афон и 18 месяцев, до середины 1967 года, жил в монастыре святого Павла, где он когда-то был духовником. Там я убедился, что отца Софрония помнят и уважают старые монахи, которые служили с ним или окормлялись у него в те годы¹⁶.

Дары волхвов

Одна из главных святынь монастыря — Дары, преподнесенные волхвами Богомладенцу Иисусу. В эпоху средневековья они оказались в руках турецкого султана. В монастырь Св. Павла, который принадлежал в то время сербам, они попали благодаря супруге султана Мурата I. Его жена Мария (Маро) была христианкой, дочерью сербского правителя Георгия Бранковича — большого благодетеля монастыря. Она преподнесла *Дары волхвов* сербскому монастырю в 1470 году, и на том месте, где состоялась передача, был поставлен памятник в виде арки с изображением этой встречи¹⁷. По преданию, когда сюда с дарами пришла сербская правительница, ее остановила Богородица, напомнившая о запрете входить в Ее удел другим женщинам. В память об этом за монастырской оградой сооружена церковь¹⁸.

С. Ф. Шарпов (1889 г.): «В числе святынь монастыря св. Павла есть одна очень редкая — это часть даров, принесенных волхвами Младенцу Иисусу: золото, ливан и смирна. Последняя представляет небольшие черненькие кусочки, золото — пластинку в форме трапеции, покрытой мелкой чеканкой и размером не больше четвертака. Спрашиваю: что значит эта форма? Объяснить никто не мог.

¹⁶ N, игумен. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 61—64.

¹⁷ N, игумен. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 164.

¹⁸ Талалай М. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 157.

Другая очень замечательная в археологическом отношении святыня — большой на- престольный крест, принадлежавший, по преданию, Константину Великому. Крест этот помещен в роскошном ковчеге. В нем вделано до 50-ти маленьких медальонов, представляющих нарисованные на пергаменте по золотому полю иконы. Каждая из них покрыта стеклышком, вделанным в крест заподлицо. К сожалению, из 50-ти икон сохранилось лишь несколько, остальные совершенно слиняли. Ковчег выложен чудной финифтью»¹⁹.

Греки, подобно волхвам,
Снова явили нам милость,
Чтобы великим дарам
Матушка Русь поклонилась.

Не испугались зимы
Наши афонские братья.
Братьям раскроем и мы
Щедрые наши объятя.

Нам не страшны холода;
Крепнут надежда и вера.
Видишь, сияет Звезда —
Та, что взошла над пещерой.

Верим, Святая гора
К нам благосклонна, и все же
Золота и серебра
Милость Господня дороже²⁰.

ПАНТОКРАТОР

Пантократоров (то есть Вседержителей) монастырь был учрежден в XIV веке. Основателями монастыря считаются византийские военачальники Алексей и Иоанн, прибывшие на Афон в середине XIV века. Проживая сначала в одноименной келье Пантократора, они затем расширили ее и превратили в монастырь. Один из его основателей, инок Иоанн, был в родстве с византийским императором Иоанном V Палеологом, и это способствовало быстрому возвышению обители. Примечательно, что портреты двух ктиторов (основателей) монастыря сохранились и находятся в России, в Эрмитаже. После утверждения турок на Балканах (1453 г.) монастырь пережил сильный экономический кризис. В этот сложный для монастыря период неопределимой была помощь со стороны греков — господарей дунайских княжеств. Немаловажную роль в сохранении обители сыграли и русские цари.

В 1584 году царский посланец Мешенин дал игумену Пантократорской обители Макарию и 150 братьям 100 рублей и 26 скитникам 3 рубля. В марте 1586 года приехал в Москву пантократорский игумен Роман с братией и просил царя Феодора Ивановича обновить им братскую трапезу, которая от многих лет разрушилась до основания, поднеся ему св. мощи великомученика Феодора Стратилата, обложенные серебром. В ноябре 1627 года явился в Москву пантократорский архимандрит Вениамин

¹⁹ Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 2. СПб., 1892. С. 132.

²⁰ Егорова Татьяна. Дары волхвов // Афонская свеча. Сборник. СПб., 2016. С. 83.

и принес с собой часть главы св. великомученика Прокопия. Надо полагать, что он получил обычную милостыню²¹.

Кир Бронников (1821 г.): «В Пантократоре братии до пятидесяти человек, все греки; из русских нет ни одного человека; а вкладов от россиян много; общего жития не имеет»²².

А. Н. Муравьев (1849 г.): «В обители Пантократора отыскал я драгоценное сокровище: совершенно нечаянно попалась мне в руки старая икона Вседержителя, с такой надписью на обороте: «Никиты Романовича Юрьева». Вы можете себе представить мое изумление и радость: я желал найти древнюю икону, для знаменитого гостя афонского и обрел благословение первого родоначальника царствующего Дома, брата царицы Анастасии, отца патриарха Филарета!»²³

Екатерина II специальным указом 1762 года разрешила монахам монастыря организовать сбор пожертвований в России²⁴.

«В 1841 году московские жители Владимир Николаевич *Трикиакоф* (Третьяков?) и жена его Ульяна Алексеевна и Иоанн Назарович с сынами Николаем и Павлом пожертвовали в Пантократор Евангелие, и потир, и дискос с принадлежностями, серебряно-позолоченные под чернь, — пишет архимандрит Порфирий (Успенский). — Александр Петрович и жена его Вера из Курской губернии прислали в Пантократор икону Богоматери Коренной и 500 рублей на устройство параклиса во имя Всесвятой. Николай Иванович и Иоанн из Харьковской губернии прислали туда же серебряную ризу на икону св. Николая Чудотворца и серебряно-позолоченные под чернь потир и дискос с принадлежностями. Русский монах Игнатий, которого я видал на Афоне, собрал в России много подаваний деньгами и церковными вещами и в 1842 году с основания перестроил всю восточную часть монастыря и соорудил в нем придел во имя Богоматери Курско-Знаменской. Он-то склонил вышепрописанных господ к пожертвованиям»²⁵.

Архимандрит Порфирий (Успенский) (1846 г.): «Вступив в сей монастырь, помолвившись Богу в соборном храме его, приложившись тут к св. мощам и к чудотворной иконе Богоматери, называемой *Геронтисса*, т. е. Старица, и поместившись в опрятной гостинной горнице, я благоприятно познакомился с главным епитропом обители Феоκληстом и с иеромонахом Каллиником из молдаван, который в офицерских чинах служил в нашей армии <...> В Пантократоре подвизается иеромонах Иосиф, из русских дворян Екатеринославской губернии. Он в 1841 году устроил знаменитую келью, называемую *Достойно есть*, после того, как она лет двадцать находилась в запустении, и передал ее болгарину. Феофилакт в 1843 году»²⁶.

Соборный храм Преображения Господня построен основателями монастыря и сохраняет фрески XIV века.

Из записок А. Н. Муравьева (1849 г.)

Ах, что сделали в Пантократоре с чудной древней живописью! Не могу смотреть на это равнодушно, хотя и во второй раз вижу <...> Во всю его стену было колоссальное изображение Господа славы на Херувимах, с четырьмя архангелами, Богоматерью и Предтечей по сторонам; по счастью уцелели лики, хотя местами и залиты изве-

²¹ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 900–901.

²² Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кириллом Бронниковым. М., 1824. С. 214.

²³ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 344–345.

²⁴ Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 122–123.

²⁵ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 901.

²⁶ Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 1846 г. М., 1880. С. 170.

стью. Я открыл глаза разорителям собственного сокровища, и теперь они сами сожалеют о своем деле; обещали не касаться живописи, пока не пришлют к ним из России опытного художника. Внутри церкви остались еще кое-где лики мучеников и преподобных, но, слава Богу, сохранился вполне на западной стене чудный образ Успения: лик Спасителя чрезвычайно хорош; апостолы окружают одр Божией Матери, а сверху они же изображены летящими в прозрачных облаках. Под сей картиной был спящий Младенец Христос, кисти второго Панселина, XIV века, но его сбили также для поднятия дверей; однако я собрал части сломанной штукатурки и везу его, хотя кусками, в Россию²⁷.

Архимандрит Антонин (Капустин) (1859 г.): «Отъезжая из Пантократора, я долго был под впечатлением беседы одного из соотчичей, славного причудами на всю Св. Гору, обитающего уже несколько лет в ней одиноко на правах *проэстога* и в звании архимандрита, — стихотворца, певца и знатока многих языков человеческих и даже некоторых нечеловеческих»²⁸.

С. Ф. Шарапов (1889 г.): «В 6 часов вечера показался Пантократор, маленький скромный монастырь, построенный у самого моря на низеньком мысу. В кафоликоне этого монастыря уцелели лучшие произведения кисти великого Панселина, спасенные от греческого варварства А. Н. Муравьевым. Этот путешественник застал своеобразную реставрацию. Чудную живопись безжалостно соскабливали со стен. Вмешательство просвещенного знатока остановило дальнейшее разрушение и, таким образом, были спасены замечательные лики Пантократора (Вседержителя), главной иконы, состоящей из группы Спасителя на престоле, Богоматери и Иоанна Предтечи по сторонам»²⁹.

С. Германов (1912 г.): «В алтаре, обычно разделенном на три части, виден второй, более древний мраморный иконостас, закрытый со стороны храма другим деревянным иконостасом более позднего происхождения, но также высокой художественной работы, с большими старинными местными иконами. Два обширных нартекса — внутренний, с тройными входными арками и наружный дополняют общее расположение храма. В первом нартексе прекрасно сохранилась фресковая живопись работы Панселина. Именно: чудные, полные жизни и красок лики Господа Вседержителя (Пантократора), Пречистой Матери Его и Иоанна Крестителя. В самом храме, на западной стене, находится большая картина Успения Богоматери, также принадлежащая кисти Панселина и сохранившая изящество очертаний и мягкость тонов, но уже утратившая живость красок. Высокие произведения замечательного византийского художника сохранились, как нам передавали, только благодаря настояниям нашего соотечественника, Андрея Николаевича Муравьева, убедившего старцев обители при реставрации собора прекратить уничтожение древних драгоценных фресок знаменитого живописца <...> В библиотеке в общей массе книг на греческом языке, нашлось несколько древнеславянских и русских сравнительно недавнего происхождения, очевидно оставленных кем-либо из почивших соотечественников, принявших здесь иночество и здесь скончавшихся»³⁰.

В монастыре есть множество сосудов из мастерских русских ювелиров XIX века, пожертвованных монахам из Пантократора, собиравшим в России милостыню. Среди них — святой потир 1818 года из Москвы, украшенный образами в технике чернения, или *ниелло*, Евангелие 1810—1819 годов с рельефным изображением Успения Богородицы на одной стороне и два энколпиона, украшенных эмалью высочайшего образца³¹.

²⁷ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 345—346.

²⁸ Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 78.

²⁹ Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 2. СПб., 1892. С. 143.

³⁰ Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 400, 402.

³¹ Пасхалидис Симеон. Святой монастырь Пантократор. Святая Гора, 2017. С. 147.

Собрание икон монастыря является одним из самых значительных на Афоне. Особняком среди них стоит икона Божией Матери «Старица», именуемая по-гречески «Геронтисса». Серебряную ризу на икону изготовили в Москве в 1847 году. Это был дар одной знатной константинопольской дамы в ответ на просьбу Богородицы посвятить Ей ризу. Копия иконы, посланная в Москву, сохранилась до наших дней³².

Среди других святынь обители: мощи вмч. Феодора Стратилата, святых бесребреников Космы и Дамиана, а также частица Животворящего Креста, часть щита св. Меркурия³³.

РУМЫНСКИЙ СКИТ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Архимандрит Антонин (Капустин) (1859 г.): «Мы увидели перед собой на высоте холма возводимое здание, довольно обширное для пустыни. Когда мы приблизились к нему, окрестность огласилась веселым, хотя и нестройным, звоном, которым нас приветствовало молдавское братство нового скита. С первого раза было видно, что скит сей взял за образец себе наш русский „Серай“ или скит св. апостола Андрея. С первого же раза долгом человеколюбия было пожелать ему и серайских успехов. В настоящее время он пока состоит из старого дома с малой церковью, половины нового дома и выведенного до окон нового „собора“, украшаемого с роскошью, неожиданной для начинающегося скита. Под убогим кровом преобразуемой в ските келлии провели мы исполненную глубокой тишины пустынной ночь»³⁴.

Иеромонах Паисий (1867 г.): «Мы поспешили в Молдавский скит св. Иоанна Предтечи, где предположили отдохнуть в часы жаркого полудня. Час езды до этой обители хотя казался утешительным, тем более, что вся поездка была утренняя, но еще любезнее, утешительнее был прием молдаван, живущих в обители этой. Этот вновь устрояющийся скит, по архитектуре имеет во всем подражание нашим русским монастырям; а потому еще издали он предрасположил мое к нему внимание, а когда вошли мы в растворенный в то время, к нашему утешению, соборный храм, то я невольно как-то в душе своей говорил, что молдаване превзошли, кажется, все афонские обители»³⁵.

Посещение Афона епископом Полтавским Александром (1868 г.): «9 июля. Отправились из Лавры и вечером прибыли в Молдавский скит, где, за отсутствием игумена, делал подобающую встречу владыке русский иеромонах из Киево-Печерской Лавры, которого просил о том игумен <...> Вечером спутники владыки посетили пещеры преп. Афанасия и ученика его Феодора, но сам владыка не мог туда пойти, по усталости и трудности спуска к оним пещерам»³⁶.

Иеросхимонах Антонин (1880 г.): «Мы ездили в Лавру св. Афанасия, с намерением из Молдавского скита отправиться на вершину Афона, но в ночь двадцатого октября, когда мы ночевали в Молдавском скиту, погода переменилась. Утром с вершины Афона, как будто занимающая весь горизонт планета, навалилась на скит и замкнула нас в оном. Самая же вершина, как бы превратилась в планетную влагу, представляя сим невозможность для нас вступить в борьбу со стихией. Добрые и св. отцы дозволи-

³² Пасхалидис Симеон. Святой монастырь Пантократор. Святая Гора, 2017. С. 73.

³³ Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 123.

³⁴ Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 215–216.

³⁵ Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока Саровской пустыни иеромонаха Паисия 1866 года. Казань, 1881. С. 29.

³⁶ Посещение Афона русским архипастырем Александром, бывшим епископом Полтавским, а прежде настоятелем Соловецкого монастыря во время бомбардирования оного англичанами // Херсонские епархиальные ведомости, 1869, сентябрь. С. 625.

ли мне отслужить Божественную литургию; один клирос пел на русском, а другой на молдавском наречии; иеродиакон, служивший со мной, тоже не знал русского языка, как и я молдавского, но мы безошибочно держались последовательности, от которой друг в друге понимали действие»³⁷.

Арсений (Стадницкий) (1883 г.): «Было уже поздно, когда мы подъехали к запертой порте скита; портарь впустил нас и позаботился о мулах. Мы пошли в архондарик. Его стены были обвешены портретами румынской королевской четы, румынских вождей и картинами из бывшей войны русско-турецкой, в которой принимали участие и румыны, причем, конечно, румыны везде выставлены на первом плане. Здесь также есть портреты нашего покойного императора и ныне царствующего. Нас встретили в архондарике добродушнейшие молдавские старцы, которые сильно возрадовались, когда я с ними завел беседу на их языке, который я несколько знаю»³⁸.

Из записок С. Германова (1912 г.)

В момент нашего прибытия, в соборе, в сослужении иеромонаха и двух диаконов, совершалось малое повечерие, которое мы прослушали с большим любопытством. Чтение на странном молдавском (румынском) языке, в котором слышатся немало измененных славянских слов, было интересно.

В небольшой уютной комнатке архондарика заботливый о. Г., успел приготовить чай, в котором принял участие и посетивший нас скитский духовник, о. Анастасий, свободно объяснявшийся по-русски и сообщивший нам в кратких словах впечатления, вынесенные после долговременного пребывания на св. Горе и из путешествия по Святой Земле. В сообщениях о своей родине, Румынии, о. Анастасий не преминул упомянуть в теплых словах братство румын по оружию с русским народом в минувшую русско-турецкую кампанию <...>

Он поведал нам краткую историю скита, основанного в 1852 году старцем Нифонтом исключительно на средства румынских граждан. Скит, состоящий в номинальной зависимости от Лавры св. Афанасия, первоначально устроился вокруг древней церкви Иоанна Крестителя и называл Предтеченским. В настоящее время древняя церковь Предтечи после построения нового соборного храма Богоявления, переименована в усыпальницу. Братство скита — более ста человек — состоит преимущественно из выходцев Румынии и подчинено строгому общежительному уставу. Затем общий разговор коснулся единства веры с Россией, русских обычаев, и т. п., причем более всего интересовались Москвой...³⁹

РУССКО-МОЛДАВСКАЯ ОБИТЕЛЬ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Обитель расположена рядом с молдавской обителью Св. Иоанна Богослова, в местности лавры Св. Афанасия. Возобновил келью в 1874 году иеромонах Феодорит Ходорожа, после которого настоятельством иеромонах Антоний. *Следующий настоятель*, уроженец Бессарабской губернии, прибыл на Афон в 1879 году и много потрудился над устройством своей обители.

В храме имелись две старинные иконы Усекновения главы Иоанна Предтечи и св. Николая⁴⁰.

³⁷ Антонин, иеросхимонах. Воспоминания душевных впечатлений при поклонении святыни на Востоке. М., 1880. С. 40.

³⁸ Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афоне. М., 2014. С. 170.

³⁹ Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афоне. М., 1912. С. 467.

⁴⁰ Павловский А. А. Иллюстрированный путеводитель по святым местам Востока. Книга первая. Афон. СПб., 1903. С. 180.

Contents

Prose and Poetry

- Yevgeny Matveev.** Poems • 3
Alina Mitrofanova. Return. Worship Online. *Short stories* • 6
Pavel Pushkin. Poems • 12
Alexey Lukavin. Applications. *Short story* • 15
Maria Zatonskaya. Poems • 22
Alexey Komarov. „Liverpool“ Will Score First. Distant Stars Are Clear. *Short stories* • 26
Aman Rakhmetov. Poems • 38
Ivan Katkov. Maniac. *Story* • 42
Roxana Naydenova. Poems • 74
Alexander Pyatkov. Behind Peat Bogs. Devil. Cheremshanka. Hayfields. *From Pyshma Short Stories* • 77
Kirill Safronov. Poems • 91
Vitaly Ashirov. The Freed Word. *Short story* • 96
Artyom Tretyakov. Poems • 103
Ivan Volosyuk. Poems • 107

Memory of Victory

- Nina Orlova-Markgraf.** God is Not a Fraer. *Story* • 110

Universe of Childhood

- Dmitry Lagutin.** Copper Hoop. *Story* • 131

Journalistic Writings

- Alexander Vinnichuk.** The Main Issue of Metaphysics and the „Limiters of Reality“ • 170

Criticism and Essays

- To the 100th Anniversary of Fedor Abramov. **Oleg Trushin.** „Prizes are a Business...“ • 177
To the 230th Anniversary of Alexander Griboedov. **Vyacheslav Vlashchenko.** „God Knows What Secret is Hidden in Him...“ (*New Interpretation of the Image of Molchalin*) • 200

Petersburg Bookman

- Art of Reading.** *Anatoly Smirnov.* Stephen King. Skill of Horrible. **Reviews.** *Vladimir Spektor.* Awesome Book about Those Who Shook the World. *Maria Bushueva.* On the Hard Roads of the 20th Century. *Igor Shumeyko.* Shaking off Reagent. **Book Island.** *Elena Zinovieva's Publication* • 224

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Monasteries of Mount Athos. *Part 6* • 245

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 26.12.2019. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 729
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СТР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28